

РУССКАЯ ЛИТЕРАТУРА **Р** БОЛЬШИЕ КНИГИ

Константин  
Паустовский

ПОВЕСТЬ  
О ЖИЗНИ

« А З Б У К А »

Русская литература. Большие книги

Константин Паустовский

**Повесть о жизни**

«Азбука-Аттикус»

1963



УДК 821.161.1  
ББК 84(2Рос-Рус)6-44

## **Паустовский К. Г.**

Повесть о жизни / К. Г. Паустовский — «Азбука-Аттикус»,  
1963 — (Русская литература. Большие книги)

ISBN 978-5-389-21788-1

Константин Паустовский – выдающийся русский писатель, чьи романы, повести, рассказы и очерки по праву считаются классикой отечественной литературы XX века и неоднократно переводились на многие языки мира, автор замечательной лирико-автобиографической прозы, исполненной любви к русской природе и русской культуре. Для советских читателей Паустовский – это олицетворение человеческого и писательского благородства, совесть эпохи. Он неоднократно номинировался на Нобелевскую премию в области литературы и только по политическим причинам не получил эту почетную награду. Над «Повестью о жизни», одним из главных своих произведений, Паустовский работал 18 лет. По словам Константина Кедрова, «в первых главах „Повести о жизни“ Бунин угадал возрождение русской литературы». Перед нами проходит жизнь писателя – с детских лет и до того времени, когда он осознает свой литературный успех. Автобиографизм, интимно-личное соединяются здесь с историческим и общезначимым, размышления о прошлом – с днем сегодняшним.

УДК 821.161.1  
ББК 84(2Рос-Рус)6-44

ISBN 978-5-389-21788-1

© Паустовский К. Г., 1963

© Азбука-Аттикус, 1963

## Содержание

Несколько слов	8
Книга первая	9
Смерть отца	9
Дедушка мой Максим Григорьевич	14
Караси	18
Плеврит	21
Поездка в Ченстохов	23
Розовые олеандры	27
Шарики из бузины	33
Святославская улица	38
Зимние зрелища	42
Гардемарин	47
Как выглядит рай	50
Брянские леса	53
Кишата	57
Вода из реки Лимпопо	62
Первая заповедь	68
Липовый цвет	73
Я был, конечно, мальчишкой	79
Красный фонарик	85
Пустынная Таврида	89
Крушение	96
Артиллеристы	101
Великий трагик Кин	105
Один на большой дороге	109
Дикий переулок	111
Осенние бои	114
«Живые» языки	117
«Господа гимназисты»	121
Горбоносый король	125
Из пустого в порожнее	128
Корчма на Брагинке	132
Сон в бабушкином саду	142
«Золотая латынь»	147
Преподаватели гуманитарных наук	150
Выстрел в театре	154
Разгуляй	158
Рассказ ни о чем	167
Аттестат зрелости	170
Воробьиная ночь	175
Маленькая порция яда	180
Книга вторая	183
«Здесь живет никто»	183
Небывалая осень	186
Медная линия	191
Мимо войны	197

Старик со сторублевым билетом	201
Лефортовские ночи	205
Санитар	207
Россия в снегах	211
Конец ознакомительного фрагмента.	213

# **Константин Паустовский**

## **Повесть о жизни**

© К. Г. Паустовский (наследники), 2022

© Оформление. ООО «Издательская Группа „Азбука-Аттикус“», 2022

Издательство АЗБУКА®

## Несколько слов

Недавно я перелистывал собрание сочинений Томаса Манна и в одной из его статей о писательском труде прочел такие слова:

«Нам кажется, что мы выражаем только себя, говорим только о себе, и вот оказывается, что из глубокой связи, из инстинктивной общности с окружающим, мы создали нечто сверхличное... Вот это сверхличное и есть лучшее, что содержится в нашем творчестве».

Эти слова следовало бы поставить эпиграфом к большинству автобиографических книг.

Писатель, выражая себя, тем самым выражает и свою эпоху. Это – простой и неопровержимый закон.

В книге помещено шесть автобиографических повестей: «Далекие годы», «Беспокойная юность», «Начало неведомого века», «Время больших ожиданий», «Бросок на юг» и «Книга скитаний». Все они связаны общим героем и общностью времени. Повести эти относятся к последним годам XIX века и к первым десятилетиям века нынешнего.

Для всех книг, в особенности для книг автобиографических, есть одно святое правило – их следует писать только до тех пор, пока автор может говорить правду.

По существу творчество каждого писателя есть вместе с тем и его автобиография, в той или иной мере преображенная воображением. Так бывает почти всегда.

Итак, написано шесть автобиографических книг. Впереди я вижу еще несколько книг такого же рода, но удастся ли их написать – неизвестно.

Я хочу закончить это маленькое введение одной мыслью, которая давно не дает мне покоя.

Кроме подлинной своей биографии, где все послушно действительности, я хочу написать и вторую свою автобиографию, которую можно назвать вымышленной. В этой вымышленной автобиографии я бы изобразил свою жизнь среди тех удивительных событий и людей, о которых я постоянно и безуспешно мечтал.

Но независимо от того, что мне удастся написать в будущем, я бы хотел сейчас, чтобы читатели этих шести повестей испытали бы то же чувство, которое владело мной на протяжении всех прожитых лет, – чувство значительности нашего человеческого существования и глубокого очарования жизни.

*К. Паустовский*



## Книга первая

### Далекие годы

*Жизнь моя, иль ты приснилась мне?*  
*Сергей Есенин*

### Смерть отца

Я был гимназистом последнего класса киевской гимназии, когда пришла телеграмма, что в усадьбе Городище, около Белой Церкви, умирает мой отец.

На следующий день я приехал в Белую Церковь и остановился у старинного приятеля отца, начальника почтовой конторы Феоктистова. Это был длинноротый близорукий старик в толстых очках, в потертой тужурке почтового ведомства со скрещенными медными рожками и молниями на петлицах.

Кончался март. Моросил дождь. Голые тополя стояли в тумане.

Феоктистов рассказал мне, что ночью пошел лед на бурной реке Рось. Усадьба, где умер отец, стояла на острове среди этой реки, в двадцати верстах от Белой Церкви. В усадьбу вела через реку каменная плотина – гребля.

Полая вода идет сейчас через греблю валом, и никто, конечно, не согласится переправить меня на остров, даже самый отчаянный балагула – извозчик.

Феоктистов долго соображал, кто же из белоцерковских извозчиков самый отчаянный. В полутемной гостиной дочь Феоктистова, гимназистка Зина, старательно играла на рояле. От музыки дрожали листья фикусов. Я смотрел на бледный, выжатый ломтик лимона на блюдечке и молчал.

– Ну что ж, позовем Брегмана, отпетого старика, – решил наконец Феоктистов. – Ему сам черт не брат.

Вскоре в кабинет Феоктистова, заваленный томами «Нивы» в тисненном золотом переплете, вошел извозчик Брегман – «самый отпетый старик» в Белой Церкви. Это был плотный карлик-еврей с редкой бородкой и голубыми кошачьими глазами. Обветренные его щеки краснели, как райские яблоки. Он вертел в руке маленький кнут и насмешливо слушал Феоктистова.

– Ой, несчастье! – сказал он наконец фальцетом. – Ой, беда, пане Феоктистов! У меня файтон легкий, а кони слабые. Цыганские кони! Они не перетянут нас через греблю. Утопятся и кони, и файтон, и молодой человек, и старый балагула. И никто даже не напечатает про эту смерть в «Киевской мысли». Вот что мне невыносимо, пане Феоктистов. А поехать, конечно, можно. Отчего не поехать? Вы же сами знаете, что жизнь балагулы стоит всего три карбованца, – я не побожусь, что пять или, положим, десять.

– Спасибо, Брегман, – сказал Феоктистов. – Я знал, что вы согласитесь. Вы же самый храбрый человек в Белой Церкви. За это я вам выпишу «Ниву» до конца года.

– Ну уж если я такой храбрый, – пропищал, усмехаясь, Брегман, – так вы мне лучше выпишите «Русский инвалид». Там я, по крайности, почитаю про кантонистов и георгиевских кавалеров. Через час кони будут у крыльца, пане.

Брегман ушел.

В телеграмме, полученной мною в Киеве, была странная фраза: «Привези из Белой Церкви священника или ксендза – все равно кого, лишь бы согласился ехать».

Я знал отца, и потому эта фраза тревожила меня и смущала. Отец был атеист. У него происходили вечные столкновения из-за насмешек над ксендзами и священниками с моей бабушкой, полькой, фанатичной, как почти все польские женщины.

Я догадался, что на приезде священника настояла сестра моего отца, Феодосия Максимовна, или, как все ее звали, тетюшка Дозя.

Она отрицала все церковные обряды, кроме отпущения грехов. Библию ей заменял спрятанный в окованном сундуке «Кобзарь» Шевченко, такой же пожелтевший и закапанный воском, как Библия. Тетюшка Дозя доставала его изредка по ночам, читала при свече «Катерину» и поминутно вытирала темным платком глаза.

Она оплакивала судьбу Катерины, похожую на свою собственную. В сырой роще-леваде за хатой зеленела могила ее сына, «малесенького хлопчика», умершего много лет назад, когда тетюшка Дозя была еще совсем молодой. Этот хлопчик был, как тогда говорили, «незаконным» ее сыном.

Любимый человек обманул тетюшку Дозю. Он бросил ее, но она была ему верна до смерти и все ждала, что он возвратится к ней, почему-то непременно больной, нищий, обиженный жизнью, и она, отругав его как следует, приютит наконец и пригреет.

Никто из священников не согласился ехать в Городище, отговариваясь болезнями и делами. Согласился только молодой ксендз. Он предупредил меня, что мы заедем в костел за святыми дарами для причащения умирающего и что с человеком, который везет святые дары, нельзя разговаривать.

На ксендзе было черное длиннополое пальто с бархатным воротником и странная, тоже черная, круглая шляпа.

В костеле было сумрачно, холодно. Поникнув, висели у подножия распятия очень красивые бумажные розы. Без свечей, без звона колокольчиков, без органных раскатов костел напоминал театральные кулисы при скудном дневном освещении.

Сначала мы ехали молча. Только Брегман чмокал и понукал костлявых гнедых лошадей. Он покрикивал на них, как кричат все балагулы: не «но», а «вьё!». Дождь шумел в низких садах. Ксендз держал завернутую в черную саржу дароносицу. Моя серая гимназическая шинель промокла и почернела.

В дыму дождя подымались, казалось – до самого неба, знаменитые Александрийские сады графини Браницкой. Это были обширные сады, равные по величине, как говорил мне Феофтистов, Версалию. В них таял снег, заволакивая холодным паром деревья. Брегман, обернувшись, сказал, что в этих садах водятся дикие олени.

– Эти сады очень любил Мицкевич, – сказал я ксендзу, забыв, что он должен молчать всю дорогу.

Мне хотелось сказать ему что-нибудь приятное в благодарность за то, что он согласился на эту трудную и опасную поездку. Ксендз улыбнулся в ответ.

В раскисших полях стояла дождевая вода. В ней отражались пролетающие галки. Я поднял воротник шинели и думал об отце, о том, как мало я его знал. Он был статистиком и прослужил почти всю жизнь на разных железных дорогах – Московско-Брестской, Петербургско-Варшавской, Харьковско-Севастопольской и Юго-Западной.

Мы часто переезжали из города в город – из Москвы в Псков, потом в Вильно, потом в Киев. Всюду отец не уживался с начальством. Он был очень самолюбивый, горячий и добрый человек.

Год назад отец уехал из Киева и поступил статистиком на Брянский завод в Орловской губернии. Прослужив недолго, отец неожиданно, без всякой видимой причины, бросил службу и уехал в старую дедовскую усадьбу Городище. Там жили его брат Илько, сельский учитель, и тетюшка Дозя.

Необъяснимый поступок отца смутил всех родственников, но больше всего мою мать. Она жила в то время с моим старшим братом в Москве.

Через месяц после приезда в Городище отец заболел и вот теперь умирает.

Дорога пошла вниз по оврагу. В конце его был слышен настойчивый шум воды. Брегман заерзал на козлах.

– Гребля! – сказал он упавшим голосом. – Теперь молитесь Богу, пассажиры!

Гребля открылась внезапно за поворотом. Ксендз привстал и схватил Брегмана за красный вылинявший кушак.

Вода легко неслась, зажата гранитными скалами. В этом месте река Рось прорывалась, беснуясь, через Авратынские горы. Вода шла через каменную плотину прозрачным валом, с грохотом падала вниз и моросила холодной пылью.

За рекой, по ту сторону гребли, как бы взлетали к небу огромные тополя и белел маленький дом. Я узнал усадьбу на острове, где жил в раннем детстве, – ее левады и плетни, коромысла колодцев-журавлей и скалы у берега. Они разрезали речную воду на отдельные могучие потоки. С этих скал мы когда-то с отцом ловили усатых пескарей.

Брегман остановил коней около гребли, слез, поправил кнутовищем сбрую, недоверчиво осмотрел свой экипаж и покачал головой. Тогда впервые ксендз нарушил обет молчания.

– Езус-Мария! – сказал он тихим голосом. – Как же мы переедем?

– Э-э! – ответил Брегман. – Откуда я знаю как? Сидите спокойно. Потому что кони уже трясутся.

Гнедые лошади, задрав морды, храпя, вошли в стремительную воду. Она ревела и сбивала легкую коляску к неогороженному краю гребли. Коляска шла боком, косо, скрежетала железными шинами. Лошади дрожали, упирались, почти ложились на воду, чтобы она не сбивала их с ног. Брегман вертел кнутом над головой.

Посередине гребли, где вода шла сильнее всего и даже звенела, лошади остановились. Пенистые водопады бились около их тонких ног. Брегман закричал плачущим голосом и начал немилосердно хлестать лошадей. Они попятились и сдвинули коляску к самому краю гребли.

Тогда я увидел дядю Илько. Он скакал на серой лошади от усадьбы к гребле. Он что-то кричал и размахивал над головой связкой тонкого каната.

Он въехал на греблю и швырнул Брегману канат. Брегман торопливо привязал его где-то под козлами, и трое коней – два гнедых и серый – выволокли наконец коляску на остров.

Ксендз перекрестился широким католическим крестом. Брегман подмигнул дяде Илько и сказал, что долго еще люди будут помнить такого балагулу, как старый Брегман, а я спросил, как отец.

– Еще жив, – ответил Илько и поцеловал меня, исцарапав бородой. – Ждет. А где мама – Мария Григорьевна?

– Я послал ей телеграмму в Москву. Должно быть, приедет завтра.

Дядя Илько посмотрел на реку.

– Прибывает, – сказал он. – Плохо, милый мой Костик. Ну, может быть, пронесет. Пойдемте!

На крыльце нас встретила тетушка Дозя, вся в черном, с сухими, выплуканными глазами.

В душевных комнатах пахло мятой. Я не сразу узнал отца в желтом старике, заросшем серой щетиной. Отцу было всего пятьдесят лет. Я всегда помнил его немного сутулым, но стройным, изящным, темноволосым, с необыкновенной его печальной улыбкой и серыми внимательными глазами.

Сейчас он сидел в кресле, трудно дышал, смотрел не отрываясь на меня, и по сухой его щеке сползла слеза. Она застряла в бороде, и тетушка Дозя вытерла ее чистым платком.

Отец не мог говорить. Он умирал от рака гортани.

Всю ночь я просидел около отца. Все спали. Дождь кончился. Звезды угрюмо горели за окнами. Все громче шумела река. Вода быстро подымалась. Брегман с ксендзом не смогли переправиться обратно и застряли на острове.

Среди ночи отец зашевелился, открыл глаза. Я наклонился к нему. Он попытался обнять меня за шею, но не смог и сказал свистящим шепотом:

– Боюсь... погубит тебя... бесхарактерность.

– Нет, – тихо возразил я. – Этого не будет.

– Маму увидишь, – прошептал отец. – Я виноват перед ней... Пусть простит...

Он замолчал и слабо стиснул мою руку.

Я не понял тогда его слов, и только гораздо позже, через много лет, мне стало ясно их горькое значение. Также намного позже я понял, что мой отец был по существу совсем не статистиком, а поэтом.

На рассвете он умер, но я не сразу об этом догадался. Мне показалось, что он спокойно уснул.

На острове у нас жил старый дед Нечипор. Его позвали читать над отцом псалтырь.

Нечипор часто прерывал чтение, чтобы выйти в сени покурить махорку. Там он шепотом рассказывал мне незамысловатые истории, потрясшие его воображение: о бутылке вина, выпитой им прошлым летом в Белой Церкви, о том, что он видел под Плевной самого Скобелева так близко, «як до того плетня», и об удивительной американской веялке, работающей от громоотвода. Дед Нечипор был, как говорили на острове, «легкий человек» – враль и болтун.

Он читал псалтырь весь день и всю следующую ночь, отщипывая черными ногтями нагар со свечи, засыпал стоя, всхрапывал и, очнувшись, снова бормотал невнятные молитвы.

Ночью на другом берегу реки кто-то начал махать фонарем и протяжно кричать. Я вышел с дядей Илько на берег. Река редела. Вода шла через греблю холодным водопадом. Ночь стояла поздняя, глухая, ни единой звезды не было над головой. В лицо дуло дикой свежестью разлива, оттаявшей земли. И все время кто-то махал на том берегу фонарем и кричал, но слов за шумом реки нельзя было разобрать.

– Должно быть, мама, – сказал я дяде Илько.

Но он мне ничего не ответил.

– Пойдем, – сказал он, помолчав. – Холодно на берегу. Простудишься.

Я не захотел идти в дом. Дядя Илько помолчал еще немного и ушел, а я стоял и смотрел на далекий фонарь. Ветер дул все сильнее, качал тополя, нес откуда-то сладковатый дым соломы.

Утром отца хоронили. Нечипор и дядя Илько выкопали могилу в роще на краю оврага. Оттуда были далеко видны леса за Росью и белесое мартовское небо.

Гроб вынесли из дома на широких вышитых рушниках. Впереди шел ксендз. Он смотрел серыми спокойными глазами прямо перед собой и говорил вполголоса латинские молитвы.

Когда гроб вынесли на крыльцо, я увидел на том берегу реки старую коляску, распряженных и привязанных к ней лошадей и маленькую женщину в черном – маму. Она стояла неподвижно на берегу. Она видела оттуда, как выносили отца. Потом она опустила на колени и упала головой на песок.

К ней подошел высокий, тощий извозчик, наклонился над ней и что-то говорил, но она все так же лежала неподвижно.

Потом она вскочила и побежала вдоль берега к гребле. Извозчик схватил ее. Она бесильно опустилась на землю и закрыла лицо руками.

Отца несли по дороге в рощу. На повороте я оглянулся. Мать сидела все так же, закрыв лицо руками.

Все молчали. Только Брегман хлопывал кнутовищем по сапогу.

Около могилы ксендз поднял серые глаза к холодному небу и внятно и медленно сказал по-латыни:

– Requiem aeternam dona eis, Domine, et lux perpetua luceat eis!

«Вечный покой и вечный свет даруй им, Господи!»

Ксендз замолчал, прислушался. Шумела река, и над головой в ветвях старых вязов пересвистывались синицы. Ксендз вздохнул и снова заговорил о вечной тоске по счастью и о долине слез. Слова эти удивительно подходили к жизни отца. У меня от них сжалось сердце. Потом я часто испытывал это стеснение сердца, сталкиваясь с жаждой счастья и с несовершенством человеческих отношений.

Шумела река, осторожно свистели птицы, и гроб, осыпая сырую землю и шурша, медленно опускался на рушниках в могилу.

Мне было тогда семнадцать лет.

## Дедушка мой Максим Григорьевич

После похорон отца я прожил еще несколько дней в Городище.

Только на третий день, когда сошла вода, мать смогла переехать через плотину.

Мать осунулась, почернела, но уже не плакала, только часами сидела на отцовской могиле.

Живых цветов еще не было, и могилу убрали бумажными пионами. Их делали девушки из соседней деревни. Они любили вплетать эти пионы в свои косы вместе с шелковыми разноцветными лентами.

Тетушка Дозя старалась утешить меня и развлечь. Она вытащила из чулана – каморы – сундук, полный старинных вещей. Крышка его открывалась с громким звоном.

В сундуке я нашел пожелтевшую, написанную по-латыни гетманскую грамоту – «универсал», медную печать с гербом, Георгиевскую медаль за турецкую войну, «Сонник», несколько обкуранных трубок и черные кружева тончайшей работы.

«Универсал» и печать остались у нас в семье от гетмана Сагайдачного, нашего отдаленного предка. Отец посмеивался над своим «гетманским происхождением» и любил говорить, что наши деды и прадеды пахали землю и были самыми обыкновенными терпеливыми хлеборобами, хотя и считались потомками запорожских казаков.

Когда Запорожская Сечь при Екатерине Второй была разогнана, часть казаков поселили по берегам реки Рось, около Белой Церкви. Казаки неохотно сели на землю. Буйное их прошлое еще долго докипало в крови. Даже я, родившийся в конце девятнадцатого века, слышал от стариков рассказы о кровавых сечах с поляками, походах «на Туретчину», об уманской резне и чигиринских гетманах.

Наслушавшись этих рассказов, я играл с братьями в запорожские битвы. Играли мы в овраге за усадьбой, где густо рос около плетня чертополох – будяк. Красные его цветы и листья с колючками издавали в жару приторный запах. Облака останавливались в небе над оврагом – ленивые и пышные, настоящие украинские облака. И такова сила детских впечатлений, что с тех пор все битвы с поляками и турками были связаны в моем воображении с диким полем, заросшим чертополохом, с пыльным его дурманом. А самые цветы чертополоха были похожи на сгустки казацкой крови.

С годами запорожская буйность потускнела. Во времена моего детства она сказывалась только в многолетних и разорительных тяжбах с графиней Браницкой из-за каждого клочка земли, в упорном браконьерстве и казачьих песнях – думках. Их пел нам, своим внучатам, дед мой Максим Григорьевич.

Маленький, седой, с бесцветными добрыми глазами, он все лето жил на пасеке за левадой – отсиживался там от гневного характера моей бабки – турчанки.

В давние времена дед был чумаком. Он ходил на волах в Перекоп и Армянск за солью и сушеной рыбой. От него я впервые услышал, что где-то за голубыми и золотыми степями «Катеринославщины» и Херсонщины лежит райская крымская земля.

До того как дед стал чумаком, он служил в николаевской армии, был на турецкой войне, попал в плен и привез из плена, из города Казанлыка во Фракии, жену – красавицу-турчанку. Звали ее Фатьма. Выйдя за деда, она приняла христианство и новое имя – Гонората.

Бабушку-турчанку мы боялись не меньше, чем деда, и старались не попадаться ей на глаза.

Дед, сидя около шалаша, среди желтых цветов тыквы, напевал дребезжащим тенорком казачьи думки и чумацкие песни или рассказывал всяческие истории.

Я любил чумацкие песни за их заунывность. Такие песни можно было петь часами под скрип колес, валяясь на возу и глядя в небо. Казачьи же песни всегда вызвали непонятную



грусть. Они казались мне то плачем невольников, закованных в турецкие цепи – кайданы, то широким походным напевом под топот лошадиных копыт.

Чего только не пел дед! Чаше всего он пел любимую нашу песню:

Засвистали казаченьки  
В поход с полуночи.  
Заплакала Марусенька  
Свои ясны очи.

А из дедовских рассказов нам больше всего нравилась история лирника Остапа.

Я не знаю, видели ли вы когда-нибудь украинскую лиру. Сейчас, должно быть, ее можно найти только в музее. Но в те времена не только на базарах в маленьких городках, но и на улицах самого Киева часто встречались слепцы-лирники.

Они шли, держась за плечо босоногого маленького поводыря в посконной рубаше. В холщовой торбе у них за спиной были спрятаны хлеб, лук, соль в чистой тряпочке, а на груди висела лира. Она напоминала скрипку, но к ней были приделаны рукоятка и деревянный стержень с колесиком.

Лирник вертел рукоятку, колесико кружилось, терлось о струны, и они жужжали на разные лады, будто вокруг лирника гудели, аккомпанируя ему, добрые ручные шмели.

Лирники почти никогда не пели. Они говорили певучим речитативом свои думки, «псалмы» и песни. Потом замолкали, долго слушали, как жужжит-затихает лира, и, глядя перед собой незрячими глазами, просили милостыню.

Просили они ее совсем не так, как обыкновенные нищие. Я помню одного лирника в городе Черкассах. «Киньте грошик, – говорил он, – слепцу и хлопчику, потому что без того хлопчика слепец заплутается и не найдет дорогу после своей кончины в божий рай».

Я не помню ни одного базара, где бы не было лирника. Он сидел, прислонившись к пыльному тополи. Вокруг него теснились и вздыхали жалостливые бабы, бросали в деревянную миску позеленевшие медяки.

Представление о лирниках навсегда связалось у меня с памятью об украинских базарах – ранних базарах, когда роса еще блестит на траве, холодные тени лежат поперек пыльных дорог и синеватый дым струится над землей, уже освещенной солнцем.

Запотевшие кувшины – глечики – с ледяным молоком, мокрые бархатцы в ведрах с водой, гречишный мед в макотрах, горячие ватрушки с изюмом, решета с вишнями, запах тарани, ленивый церковный перезвон, стремительные перебранки баб-«покотух», кружевные зонтики молодых провинциальных щеголих и внезапный гром медного котла – его тащил на плечах какой-нибудь румын с дикими глазами. Все «дядьки» считали своей обязанностью постучать по котлу кнутовищем, попробовать, хороша ли румынская медь.

Историю лирника Остапа я знал почти наизусть.

– Случилось то в селе Замощье, под городом Васильковом, – рассказывал дед. – Остап был в том селе ковалем. Кузня его стояла на выезде под черными-пречерными вербами по-над самой рекой. Не знал Остап неудачи – ковал коней, гвозди, ковал оси для чумацких возов.

Как-то к летнему вечеру раздувал Остап угли в кузне, а на дворе прошла в тот час гроза, раскидала по лужам листья, повалила трухлявую вербу. Раздувал Остап угли и вдруг слышит – топают ногами горячие кони, останавливаются около кузни. И чей-то голос – женский, молодой – зовет коваля.

Вышел Остап и замер: у самых дверей кузни пляшет черный конь, а на нем женщина небесной красоты, в длинном бархатном платье, с хлыстом, с вуалькой. Глаза ее смеются из-под вуальки. И зубы смеются. А бархат на платье мягкий, синий, и блискаются на нем капли

– падают после дождя с черных верб на ту женщину. И рядом с ней на другом коне – молодой офицер. В ту пору в Василькове стоял полк улан.

«Коваль, голубчик, – говорит женщина, – подкуй мне коня, потеряла подкову. Очень скользкая дорога после грозы».

Женщина сошла с седла, села на колоду, а Остап начал ковать коня. Кует и все поглядывает на женщину, а она вдруг сделалась такая смутная, откинула вуаль и тоже смотрит на Остапа.

«Не встречал я вас до сей поры, – говорит ей Остап. – Не из наших вы, мабудь, мест?»

«Я из Петербурга, – отвечает женщина. – Очень хорошо ты куешь».

«Что подковы! – говорит ей тихо Остап. – Пустое дело! Я для вас могу сковать из железа такую вещь, что нету ее ни у одной царицы на свете».

«Какую же это вещь?» – спрашивает женщина.

«Что хотите. Вот, к примеру, я могу сковать самую тонкую розу с листьями и шипами».

«Хорошо! – так же тихо отвечает женщина. – Спасибо, коваль. Я за ней через неделю приеду».

Остап помог ей сесть в седло. Она подала ему руку в перчатке, чтобы опереться, и Остап не удержался – жарко прильнул к той руке. Но не успела она отдернуть руку, как офицер ударил Остапа наотмашь хлыстом поперек лица и крикнул: «Знай свое место, мужик!»

Кони взвились, поскакали. Остап схватил молот, чтобы кинуть в того офицера. Но не сдужил. Ничего не видит кругом, кровь по лицу льется. Повредил ему офицер один глаз.

Однако перемогся Остап, шесть дней работал и сковал розу. Смотрели ее разные люди, говорили, что такой работы не было, должно быть, даже в итальянской земле.

А на седьмой день ночью кто-то тихо подъехал к кузне, сошел с коня, привязал его к пряслу.

Остап боялся выйти, показать свое лицо – закрыл руками глаза и ждал.

И слышит легкие шаги и дыхание, и чьи-то теплые руки обнимают его, и падает ему на плечо одна-единственная ее слеза.

«Знаю, все знаю, – говорит женщина. – Сердце у меня изболелось за эти дни. Прости, Остап. Из-за меня случилась твоя великая беда. Я прогнала его, моего жениха, и уезжаю теперь в Петербург».

«Зачем?» – спрашивает Остап тихо.

«Милый мой, сердце мое, – говорит женщина, – все равно не дадут нам люди счастья».

«Ваша воля, – отвечает Остап. – Я простой человек, коваль. Мне о вас думать – и то радость».

Взяла женщина розу, поцеловала Остапа и уехала шагом. А Остап вышел на порог, глядел ей вслед, слушал. Два раза останавливала женщина коня. Два раза хотела вернуться. Но не вернулась. Звезды играли над ярами, падали в степь, будто само небо плакало над их любовью. Так-то, хлопчик!

В этом месте дед всегда замолкал. Я сидел, боясь пошевелиться. Потом я спрашивал шепотом:

– Так они и не виделись больше?

– Нет, – отвечал дед. – Это верно, не виделись. Остап начал слепнуть. Надумал он дойти тогда до Петербурга, чтобы увидеть ту женщину, пока он еще не совсем ослеп. Дошел он до царской столицы и узнал, что она умерла, – мабудь, не выдержала разлуки. Нашел Остап на кладбище ее могилу из белого мрамора-камня, глянул, и сердце у него сорвалось – на камне лежала его железная роза. Завещала та женщина положить розу на ее могилу. Навеки. А Остап начал лирничать и, мабудь, так и помер на шляху или на базаре под возом. Аминь!

Косматый пес Рябчик с репьями на морде громко зевал, слушая дедовский рассказ. Я толкал его от негодования в бок, а Рябчик ничуть не обижался и лез ко мне ласкаться, высунув горячий язык.

В пасти у Рябчика торчали обломки зубов. Прошлой осенью, когда мы уезжали из Городища, он вцепился в колесо – хотел остановить коляску – и поломал зубы.

Ах, дед Максим Григорьевич! Ему я отчасти обязан чрезмерной впечатлительностью и романтизмом. Они превратили мою молодость в ряд столкновений с действительностью. Я страдал от этого, но все же знал, что дед прав и что жизнь, созданная из трезвости и благоразумия, может быть, и хороша, но тягостна для меня и бесплодна. «На всякого человека, – как говаривал дед, – другая пропорция».

Может быть, поэтому дед и не уживался с бабкой. Вернее, прятался от нее. Ее турецкая кровь не дала ей ни одной привлекательной черты, кроме красивой, но грозной наружности.

Бабка была деспотична, придирчива. Она выкуривала в день не меньше фунта крепчайшего черного табака. Курила она его в коротких раскаленных трубках. Она ведала хозяйством. Ее черный глаз замечал малейший беспорядок в доме.

По праздникам она надевала атласное платье, отороченное черными кружевами, выходила из дому, садилась на завалинку, дымила трубкой и смотрела на быструю реку Рось. Изредка она громко смеялась своим мыслям, но никто не решался спросить ее, чему она смеется.

Единственной вещью, которая немного примирила нас с бабкой, был твердый розовый брусок, похожий на мыло. Он был спрятан у нее в комод. Она изредка вынимала его и с гордостью давала нам нюхать. Брусок издавал тончайший запах роз.

Отец рассказал мне, что долина вокруг Казанлыка – родного города бабки – называется Долиной роз, что там добывают розовое масло и чудесный брусок – это какой-то состав, пропитанный этим маслом.

Долина роз! Самые эти слова меня волновали. Я не понимал, как в таких поэтических местах мог появиться человек с такой суровой душой, как у моей бабки.

## Караси

Сейчас, задержавшись в Городище после смерти отца, я вспомнил раннее свое детство, то время, когда мы, веселые и счастливые, приезжали сюда на лето из Киева. Тогда отец и мать были еще молоды и еще не умерли дед и турчанка-бабка. Тогда и я был еще совсем маленьким мальчиком и выдумывал всякие небылицы.

Поезд из Киева приходил в Белую Церковь вечером. Отец тотчас нанимал на вокзальной площади крикливых извозчиков.

В Городище мы добирались ночью. Сквозь дремоту я слышал надоедливое дребезжание рессоры, потом шум воды около мельницы, лай собак. Фыркали лошади и скрипели плетни. Ночь сияла незакатными звездами. Из сырой темноты тянуло бурьяном.

Тетушка Дозя вносила меня, сонного, в теплую хату, устланную разноцветными половиками. В хате пахло топленым молоком. Я открывал на минуту глаза и видел около своего лица пышную вышивку на белоснежных рукавах тетушки Дози.

Утром я просыпался от жаркого солнца, бившего в белые стены. Красные и желтые мальвы-монашки покачивались за открытым окном. Вместе с ними заглядывал в комнату цветок настурции; в нем сидела мохнатая пчела. Я, замерев, следил, как она сердито пятится и выбирается из тесного цветка. По потолку без конца бежали светлые струи, легкие волны – отражения реки. Река шумела тут же, рядом.

Потом я слышал, как насмешливый дядя Илько говорил кому-то:

– Ну конечно, солнце не успело пригреть, а уже появилась процессия! Дозя, ставь на стол вишневку и пироги!

Я вскакивал, подбегал босиком к окну и видел: с того берега по гребле, постукивая суковатыми посохами, медленно надвигались на усадьбу старики в больших соломенных шляпах – брилях. Медали бренчали и поблескивали на их коричневых свитках.

Это шли приветствовать нас и поздравить с благополучным приездом почтенные деды из соседней деревни Пилипчи. Впереди шел щербатый староста Трофим с медной бляхой на шее.

В хате начиналась суета. Тетушка Дозя взмахивала над столом скатертью. Ветер пронесился по комнате. Мама торопливо накладывала на блюдо пироги, резала колбасу. Отец откупоривал бутылки с домашней вишневкой, а дядя Илько расставлял граненые стаканчики.

Потом тетушка Дозя и мама убегали переодеваться, а отец и дядя Илько выходили на крыльцо, навстречу старикам, приближавшимся торжественно и неотвратимо, как судьба.

Старики наконец подходили, молча целовались с отцом и дядей, садились на завалинку, все сразу вздыхали, и тогда староста Трофим, предварительно откашлявшись, произносил свою знаменитую фразу:

– Честь имею покорнейше вас поздравить, Георгий Максимович, с приездом до нас, в нашу тихую местность.

– Спасибо! – говорил отец.

– Да-а! – отвечали сразу все старики и облегченно вздыхали. – Оно так, конечно...

– Да-а! – повторял Трофим и поглядывал через окно на стол, где поблескивали бутылки.

– Вот оно, значит, как слагается, – произносил старый николаевский солдат с бугристым носом.

– Понятное дело! – вступал в разговор маленький и очень любопытный старик Недоля, отец двенадцати дочерей.

От старости он позабыл их имена и мог насчитать по пальцам не больше пяти: Ганна, Парася, Горпына, Олеся, Фрося... Потом старик сбивался и начинал счет сначала.

– Так! – говорили старики и надолго замолкали.

В это время из хаты выходил дедушка Максим Григорьевич. Старики вставали, низко кланялись ему. Дедушка кланялся им в ответ, и старики, шумно вздохнув, снова садились на завалинку, кричали, молчали и смотрели в землю. Наконец по каким-то неувимым признакам дядя Илько догадывался, что в хате все готово для угощения, и говорил:

– Ну, спасибо вам за разговор, добрые люди. Пожалуйста теперь откушать чем Бог послал.

В хате стариков встречала мама в летнем нарядном платье. Старики целовали ей руку, а она в ответ целовала их коричневые руки – таков был обычай. Тетушка Дозя в синем платье и в шали с пунцовыми розами, румяная, красивая, рано поседевшая, кланялась старикам в пояс.

После первого стаканчика липкой вишневки Недоля, мучимый любопытством, приступал к расспросам. Все вещи, привезенные нами из Киева, вызывали его недоумение, и он, показывая на них, спрашивал:

– Що воно, для чого воно и яка в нем словесность?

Отец объяснял ему, что вот это – духовой утюг, а это – мороженица, а там на комод – складное зеркало. Недоля с восхищением крутил головой:

– На всячину свое средство!

– Оно так, конечно! – соглашались старики, выпивая.

Лето в Городище вступало в свои права, – жаркое лето с его страшными грозами, шумом деревьев, прохладными струями речной воды, рыбной ловлей, зарослями ежевики, с его сладостным ощущением беззаботных и разнообразных дней.

Остров, на котором стояла дедовская хата, был, конечно, самым таинственным местом на свете.

За домом лежали два огромных глубоких пруда. Там всегда было сумрачно от старых ив и темной воды.

За прудами, вверх по склону, подымалась роща с непролазным орешником. За рощей начинались поляны, заросшие по пояс цветами и такие душистые, что от них в знойный день разбаливалась голова.

За полянами на пасеке курился слабый дымок около дедовского шалаша. А за дедовским шалашом шли неизведанные земли – красные гранитные скалы, покрытые ползучими кустами и сухой земляникой.

В углублениях этих скал стояли маленькие озера дождевой воды. Трясогузки, подрагивая пестрыми хвостами, пили теплую воду из этих озер. Неуклюжие и нахальные шмели, свалившись с размаху в озера, кружились и гудели, тщетно взывая о помощи.

Скалы обрывались отвесной стеной в реку Рось. Туда нам запретили ходить. Но мы изредка подползали к краю скал и смотрели вниз. Тугим прозрачным потоком, кружа голову, неслась внизу Рось. Под водой, навстречу течению, медленно шли, вздрагивая, узкие рыбы.

На том берегу подымался по скату заповедный лес графини Браницкой. Солнце не могло прорваться сквозь мощную зелень этого леса. Лишь изредка одинокий луч прорезал наискось чащу и открывал перед нами потрясающую силу растительности. Как сверкающие пылинки, влетали в этот луч маленькие птицы. Они с писком гонялись друг за другом и ныряли в листву, будто в зеленую воду.

Но самым любимым моим местом были пруды.

Каждое утро отец ходил туда удить рыбу. Он брал меня с собой.

Мы выходили из дому очень рано и осторожно шагали по тяжелой мокрой траве. Тихими золотеющими пятнами светились среди темной, еще ночной листвы ветки ив, озаренные первым солнцем. В глухой воде плескались караси. Заросли кувшинок, рдеста, стрелолиста и водяной гречиши висели, казалось, над черной бездной.

Таинственный мир воды и растений раскрывался передо мной. Очарование этого мира было так велико, что я мог просиживать на берегу пруда с восхода до захода солнца.

Отец бесшумно закидывал удочки и закуривал. Табачный дым плыл над водой и запутывался среди прибрежных веток.

Я набирал в ведро воды из пруда, бросал в эту воду траву и ждал. Красные поплавки неподвижно стояли в воде. Потом один из них начинал вздрагивать, пускал легкие круги, внезапно нырял или быстро плыл в сторону. Отец подсекал, леска натягивалась, ореховое удище сгибалось в дугу, и в тумане над прудом начиналось бульканье, плеск, возня. Вода разбегалась, качая кувшинки, торопливо удирали во все стороны жуки-водомеры, и наконец в загадочной глубине появлялся бьющийся золотой блеск. Нельзя было разобрать, что это такое, пока отец не выволакивал на примятую траву тяжелого карася. Он лежал на боку, отдувался и шевелил плавниками. От его чешуи шел удивительный запах подводного царства.

Я пускал карася в ведро. Он ворочался там среди травы, неожиданно бил хвостом и обдавал меня брызгами. Я слизывал эти брызги со своих губ, и мне очень хотелось напиться из ведра, но отец не позволял этого.

Мне казалось, что вода в ведре с карасем и травой должна быть такой же душистой и вкусной, как вода грозových дождей. Мы, мальчишки, жадно пили ее и верили, что от этого человек будет жить до ста двадцати лет. Так, по крайней мере, уверял Нечипор.



## Плеврит

Грозы в Городище бывали часто. Они начинались на Ивана Купала и длились весь июль, обкладывали остров разноцветными громадами туч, блистали и гремели, сотрясая наш дом, и пугали до обморока тетушку Дозю.

С этими грозами связано воспоминание о моей первой детской любви. Мне было тогда девять лет.

В день Ивана Купала девушки из Пилипчи приходили нарядной стайкой к нам на остров, чтобы пускать по реке венки. Они плели венки из полевых цветов. Внутри каждого венка они вставляли крестовину из щепочек и прилепляли к ней восковой огарок. В сумерки девушки зажигали огарки и пускали венки по реке.

Девушки гадали, – чья свеча заплывет дальше, та девушка будет счастливее всех. Но самыми счастливыми считались те, чей венок попадал в водоворот и медленно кружился над омутом. Омут был под крутояром. Там всегда стояло затишье, свечи горели на таких венках очень ярко, и даже с берега было слышно, как трещат их фитили.

И взрослые, и мы, дети, очень любили эти венки на Ивана Купала. Один Нечипор пренебрежительно кричал и говорил:

– Глупство! Нема в тех венках ниякой рации!

С девушками приходила Ганна, моя троюродная сестра. Ей было шестнадцать лет. В рыжеватые пышные косы она вплетала оранжевые и черные ленты. На шее у нее висело тусклое коралловое монисто. Глаза у Ганны были зеленоватые, блестящие. Каждый раз, когда Ганна улыбалась, она опускала глаза и подымала их уже не скоро, будто ей было тяжело их поднять. Со щек ее не сходил горячий румянец.

Я слышал, как мама и тетушка Дозя жалели Ганну за что-то. Мне хотелось узнать, что они говорят, но они всегда замолкали, как только я подходил.

На Ивана Купала меня отпустили с Ганной на реку к девушкам. По дороге Ганна спросила:

– Кем же ты будешь, Костик, когда вырастешь большой?

– Моряком, – ответил я.

– Не надо, – сказала Ганна. – Моряки тонут в пучине. Кто-нибудь да проплачет по тебе ясные свои очи.

Я не обратил внимания на слова Ганны. Я держал ее за горячую смуглую руку и рассказывал о своей первой поездке к морю.

Ранней весной отец ездил на три дня в командировку в Новороссийск и взял меня с собой. Море появилось вдали, как синяя стена. Я долго не мог понять, что это такое. Потом я увидел зеленую бухту, маяк, услышал шум волн у мола, и море вошло в меня, как входит в память великолепный, но не очень ясный сон.

На рейде стояли черные броненосцы с желтыми трубами – «Двенадцать апостолов» и «Три святителя». Мы ездили с отцом на эти корабли. Меня поразили загорелые офицеры в белых кителях с золотыми кортиками, маслянистое тепло машинных отделений. Но больше всего удивил меня отец. Я таким никогда его не видел. Он смеялся, шутил, оживленно говорил с офицерами. Мы даже зашли в каюту к одному корабельному механику. Отец пил с ним коньяк и курил турецкие папиросы из розовой бумаги с золотыми арабскими буквами.

Ганна слушала, опустив глаза. Мне стало почему-то жаль ее, и я сказал, что когда сделаюсь моряком, то непременно возьму ее к себе на корабль.

– Кем же ты меня возьмешь? – спросила Ганна. – Стряпкой? Или прачкой?

– Нет! – ответил я, загораясь мальчишеским воодушевлением. – Ты будешь моей женой.

Ганна остановилась и строго посмотрела мне в глаза.

– Побожись! – прошептала она. – Поклянись сердцем матери!

– Клянусь! – ответил я, не задумываясь.

Ганна улыбнулась, зрачки ее сделались зелеными, как морская вода, и она крепко поцеловала меня в глаза. Я почувствовал жар ее рдеющих губ. Всю остальную дорогу до реки мы молчали.

Свеча Ганны погасла первой. Из-за леса графини Браницкой подымалась дымная туча. Но мы, увлеченные венками, ее не заметили, пока не ударил ветер, не засвистели, нагибаясь к земле, ракиты и не хлестнула, взорвавшись ослепительным громом, первая молния.

Девушки с визгом бросились под деревья. Ганна сорвала с плеч платок, обвязала им меня, схватила за руку, и мы побежали.

Она тащила меня, ливень настигал нас, и я знал, что до дому мы пробежать все равно не успеем.

Ливень догнал нас невдалеке от дедовского шалаша. До шалаша мы пробежали промокшие насквозь. Деда на пасеке не было.

Мы сидели в шалаше, прижавшись друг к другу. Ганна растирала мои руки. От нее пахло мокрым ситцем. Она все время испуганно спрашивала:

– Тебе холодно? Ой, заболеешь ты, что я тогда буду делать!

Я дрожал. Мне было действительно очень холодно. В глазах Ганны сменялись страх, отчаяние, любовь.

Потом она схватилась за горло и закашлялась. Я видел, как билась жилка на ее нежной и чистой шее. Я обнял Ганну и прижался головой к ее мокрому плечу. Мне захотелось, чтобы у меня была такая молодая и добрая мама.

– Что ты? – растерянно спрашивала Ганна, не переставая кашлять, и гладила меня по голове. – Что ты? Ты не бойся... Нас громом не убьет. Я же с тобой. Не бойся.

Потом она слегка оттолкнула меня, прижала ко рту рукав рубахи, вышитый красными дубовыми листьями, и рядом с ними по полотну расплзлось маленькое кровавое пятно, похожее на вышитый дубовый листок.

– Не надо мне твоей клятвы! – прошептала Ганна, виновато взглянула на меня исподлобья и усмехнулась. – Это я пошутила.

Гром гремел уже за краем огромной земли. Ливень прошел. Только шумели по деревьям частые капли.

Ночью у меня начался жар. Через день приехал из Белой Церкви на велосипеде молодой доктор Напельбаум, осмотрел меня и нашел, что у меня плеврит.

От нас Напельбаум ходил в Пилипчу к Ганне, вернулся и сказал в соседней комнате моей матери тихим голосом:

– У нее, Мария Григорьевна, скоротечная чахотка. Она не доживет до весны.

Я заплакал, позвал маму, обнял ее и заметил, что у мамы на шее бьется такая же нежная жилка, как и у Ганны. Тогда я заплакал сильнее и долго не мог остановиться, а мама гладила меня по голове и говорила:

– Что ты? Я же с тобой. Не бойся.

Я выздоровел, а Ганна умерла зимой, в феврале.

На следующее лето я пошел с мамой на ее могилу и положил на зеленый маленький холмик цветы ромашки, перевязанные черной лентой. Такие цветы Ганна вплетала в свои косы. И мне было почему-то неловко, что рядом со мной стоит мама с красным зонтиком от солнца и что я пришел к Ганне не один.

## Поездка в Ченстохов

В Черкассах, на Днепре, жила другая моя бабушка – Викентия Ивановна, высокая старуха, полька.

У нее было много дочерей, моих тетушек. Одна из этих тетушек, Евфросиния Григорьевна, была начальницей женской гимназии в Черкассах. Бабушка жила у этой тетушки в большом деревянном доме.

Викентия Ивановна всегда ходила в трауре и черной наколке. Впервые она надела траур после разгрома польского восстания в 1863 году и с тех пор ни разу его не снимала.

Мы были уверены, что во время восстания у бабушки убили жениха – какого-нибудь гордого польского мятежника, совсем не похожего на угрюмого бабушкиного мужа, а моего деда, – бывшего нотариуса в городе Черкассах.

Деда я помню плохо. Он жил в маленьком мезонине и редко оттуда спускался. Бабушка поселила его отдельно от всех из-за невыносимой страсти деда к курению.

Изредка мы пробирались к нему в комнату, горькую и мутную от дыма. На столе горами лежал табак, высыпанный из коробок. Дед, сидя в кресле, набивал трясущимися жилистыми руками папиросу за папиросой.

С нами он не разговаривал, только взъерошивал тяжелой рукой волосы у нас на затылке и дарил лиловую глянцевую бумагу из табачных коробок.

Мы часто приезжали из Киева погостить к Викентии Ивановне. У нее существовал твердый порядок. Каждую весну Великим постом она ездила на богомолье по католическим святым местам в Варшаву, Вильно или Ченстохов.

Но иногда ей приходило в голову посетить православные святыни, и она уезжала в Троице-Сергиевскую лавру или в Почаев.

Все ее дочери и сыновья посмеивались над этим и говорили, что если так пойдет дальше, то Викентия Ивановна начнет навещать знаменитых еврейских цадиков и закончит свои дни паломничеством в Мекку к гробу Магомета.

Самое крупное столкновение между бабушкой и отцом произошло, когда бабушка воспользовалась тем, что отец уехал в Вену на конгресс статистиков, и взяла меня с собой в одно из религиозных путешествий. Я был счастлив этим и не понимал негодования отца. Мне было тогда восемь лет.

Я помню прозрачную виленскую весну и каплицу Острая Брама, куда бабушка ходила к причастию.

Весь город был в зеленоватом и золотистом блеске первых листьев. В полдень на Замковой горе стреляла пушка времен Наполеона.

Бабушка была очень начитанная женщина. Она без конца мне все объясняла.

Религиозность удивительно уживалась в ней с передовыми идеями. Она увлекалась Герценом и одновременно Генрихом Сенкевичем. Портреты Пушкина и Мицкевича всегда висели в ее комнате рядом с иконой Ченстоховской Божьей Матери. В революцию 1905 года она прятала у себя революционеров-студентов и евреев во время погромов.

Из Вильно мы поехали в Варшаву. Я запомнил только памятник Копернику и кавярни, где бабушка угощала меня «пшевруцонной кавой» – «перевернутым кофе»: в нем было больше молока, чем кофе. Она угощала меня и пирожными – меренгами, таявшими во рту с маслянистой холодной сладостью. Нам подавали вертлявые девушки в гофрированных передниках.

Из Варшавы мы поехали в Ченстохов, в знаменитый католический монастырь Ясна Гура, где хранилась «чудотворная» икона Божьей Матери.

Впервые я тогда столкнулся с религиозным фанатизмом. Он потряс меня и напугал. С тех пор страх перед фанатизмом и отвращение к нему вошли в мое сознание. Я долго не мог избавиться от этого страха.

Поезд пришел в Ченстохов рано утром. От вокзала до монастыря, стоявшего на высоком зеленом холме, было далеко.

Из вагона вышли богомольцы – польские крестьяне и крестьянки. Среди них были и городские обыватели в пыльных котелках. Старый тучный ксендз и мальчишки-причетники в кружевных одеяниях ждали богомольцев на вокзале.

Тут же, около вокзала, процессия богомольцев выстроилась на пыльной дороге. Ксендз благословил ее и пробормотал в нос молитву. Толпа рухнула на колени и поползла к монастырю, распевая псалмы.

Толпа ползла на коленях до самого монастырского собора. Впереди ползла седая женщина с белым иступленным лицом. Она держала в руках черное деревянное распятие.

Ксендз медленно и равнодушно шел впереди этой толпы. Было жарко, пыльно, пот катился по лицам. Люди хрипло дышали, гневно оглядываясь на отстающих.

Я схватил бабушку за руку.

– Зачем это? – спросил я шепотом.

– Не бойся, – ответила бабушка по-польски. – Они грешники. Они хотят вымолить прощение у пана Бога.

– Уедем отсюда, – сказал я бабушке.

Но она сделала вид, что не расслышала моих слов.

Ченстоховский монастырь оказался средневековым замком. В стенах его торчали ржавые шведские ядра. В крепостных рвах гнила зеленая вода. На валах шумели густые деревья.

Подъемные мосты на железных цепях были опущены. Мы въехали в извозничьем экипаже по такому мосту в путаницу монастырских дворов, переходов, закоулков и аркад.

Служка-монах, подпоясанный веревкой, провел нас в монастырскую гостиницу. Нам отвели холодную сводчатую комнату. Неизменное распятие висело на стене. На пробитые гвоздями латунные ноги Христа кто-то повесил венок из бумажных цветов.

Монах спросил бабушку, не страдает ли она болезнями, требующими исцеления. Бабушка была очень мнительная и тотчас пожаловалась на боли в сердце. Монах достал из кармана коричневой рясы горсть маленьких, сделанных из серебра сердец, рук, голов и даже игрушечных младенцев и высыпал их горкой на стол.

– Есть сердца, – сказал он, – на пять рублей, на десять и на двадцать. Они уже освященные. Остается только повесить их с молитвой на икону Божьей Матери.

Бабушка купила маленькое пухлое сердце за десять рублей.

Бабушка сказала, что ночью мы пойдем в костел на торжественную службу, напоила меня чаем с варшавскими черствыми булочками и прилегла отдохнуть. Она уснула. Я смотрел в низкое окно. Прошел монах в блестящей выгоревшей рясе. Потом два польских крестьянина сели в тени у стены, достали из узелков серый хлеб и чеснок и начали есть. У них были синие глаза и крепкие зубы.

Мне стало скучно, и я осторожно вышел на улицу. Бабушка велела, чтобы в монастыре я не разговаривал по-русски. От этого мне было страшно. По-польски я знал всего несколько слов.

Я заблудился, попал в узкий проход между стенами. Он был вымощен треснувшими плитами. В трещинах цвел подорожник. К стенам были привинчены чугунные фонари. Их, должно быть, давно не зажигали – в одном фонаре я разглядел птичье гнездо.

Узкая калитка в стене была приоткрыта. Я заглянул в нее. Яблоневый сад, весь в солнечных пятнах, спускался по склону холма. Я осторожно вошел. Сад отцветал. Часто падали пожелтевшие лепестки. Жидкий, но мелодичный звон долетал с костельной колокольни.

Под старой яблоней сидела на траве молоденькая польская крестьянка и кормила грудью ребенка. Ребенок морщился и хрипел. Рядом с женщиной стоял бледный, опухший крестьянский парень в новой фетровой шляпе. На шляпе была нашита синяя атласная лента и за нее заткнуто павлинье перо. Парень смотрел себе под ноги круглыми глазами и не шевелился.

Низенький плешивый монах с садовыми ножницами в руке присел на пне против женщины. Он внимательно посмотрел на меня и сказал:

– Нех бендзи похвалёны Езус Христус!

– На веки векув! – ответил я так, как меня учила бабушка.

Сердце у меня остановилось от страха.

Монах отвернулся и снова стал слушать женщину. Пряди белых волос падали ей на лицо. Она отбрасывала их нежной рукой и жалобно говорила:

– Как сыночку пошел пятый месяц, Михась застрелил аиста. Он принес его в нашу халупку. Я заплакала и сказала: «Что ты наделал, глупец! Ты же знаешь, что за каждого убитого аиста Бог отнимает у людей по одному ребенку. Зачем же ты его застрелил, Михась?»

Парень в фетровой шляпе все так же безразлично рассматривал землю.

– И с того дня, – продолжала крестьянка, – сыночек наш посинел и болезнь начала его душить за горло. Поможет ему Божья Матка?

Монах уклончиво смотрел в сторону и ничего не отвечал.

– Ох, тенскнота! – сказала женщина и начала царапать себя рукой по горлу. – Ох, тенскнота! – закричала она и прижала к груди ребенка.

Ребенок тарашил глаза и хрипел.

Я вспомнил про игрушечных серебряных младенцев, которых показывал бабушке служка в монастырской гостинице. Мне было жаль эту женщину. Я хотел сказать ей, чтобы она купила за двадцать рублей такого младенца и подвесила его к ченстоховской иконе. Но у меня не хватало польских слов, чтобы дать такой сложный совет. Кроме того, я боялся монаха-садовника. Я ушел из сада.

Когда я вернулся, бабушка еще спала. Я лег не раздеваясь на жесткую койку и тотчас уснул.

Бабушка меня разбудила среди ночи. Я умылся холодной водой в большом фаянсовом тазу. Я дрожал от возбуждения. За окнами проплывали ручные фонари, слышалось шарканье ног, перезванивали колокола.

– Сегодня, – сказала бабушка, – будет служить кардинал, папский нунций.

С трудом мы добрались в темноте до костела.

– Держись за меня! – сказала бабушка в неосвещенном притворе.

Мы ошупью вошли в костел. Я ничего не увидел. Не было ни одной свечи, никакого проблеска света среди душного мрака, скованного высокими костельными стенами и наполненного дыханием сотен людей. Кромешная эта темнота сладковато пахла цветами.

Я почувствовал под ногой стертый чугунный пол, сделал шаг и тотчас наткнулся на что-то.

– Стой спокойно! – сказала шепотом бабушка. – Люди лежат крестом на полу. Ты наступишь на них.

Она начала читать молитву, а я ждал, держась за ее локоть. Мне было страшно. Люди, лежавшие крестом на полу, тихо вздыхали. Печальный шелест разносился вокруг.

Внезапно в этом тяжелом мраке раздался, сотрясая стены, рыдающий гром органа. В ту же минуту вспыхнули сотни свечей. Я вскрикнул, ослепленный и испуганный.

Большая золотая завеса, закрывавшая икону Ченстоховской Божьей Матери, начала медленно раздвигаться. Шесть старых ксендзов в кружевном облачении стояли на коленях перед иконой, спиной к толпе. Их руки были воздеты к небу. Только худой кардинал в пурпурной сутане с широким фиолетовым кушаком, стягивавшим его тонкую талию, стоял во весь рост

– тоже спиной к молящимся, – как бы прислушиваясь к затихающей буре органа и всхлипыванию толпы.

Я еще никогда не видал такого театрального и непонятного зрелища.

После ночной службы мы прошли с бабушкой в длинный сводчатый коридор. Светало. Под стенами стояли на коленях молящиеся. Бабушка тоже опустилась на колени и заставила опуститься и меня. Я боялся спросить ее, чего ждут эти люди с безумными глазами.

В конце коридора показался кардинал. Он шел легко и стремительно. Пурпурная его сутана развевалась и задевала молящихся по лицу. Они ловили край сутаны и целовали его страстно и униженно.

– Поцелуй сутану, – сказала мне бабушка быстрым шепотом.

Но я не послушался. Я побледнел от обиды и прямо посмотрел в лицо кардиналу. Должно быть, у меня были слезы на глазах. Он остановился, положил на мгновение сухую маленькую руку мне на голову и сказал по-польски:

– Слезы ребенка – лучшая молитва Господу.

Я смотрел на него. Острое его лицо было стянуто коричневой кожей. Как будто тусклое зарево освещало это лицо. Черные прищуренные глаза смотрели на меня выжидательно.

Я упрямо молчал.

Кардинал резко отвернулся и так же легко, подымая ветер, пошел дальше.

Бабушка схватила меня за руку так сильно, что я чуть не вскрикнул от боли, и вывела из коридора.

– Весь в отца! – сказала она, когда мы вышли во двор. – Весь в отца! Матерь Божья ченстоховская! Что же с тобой будет в жизни?!



## Розовые олеандры

На галерее в бабушкином доме в Черкассах стояли в зеленых кадках олеандры. Они цвели розовыми цветами. Мне очень нравились сероватые листья олеандров и бледные их цветы. С ними соединялось почему-то представление о море – далеком, теплом, омывающем цветущие олеандрами страны.

Бабушка хорошо выращивала цветы. Зимой у нее в комнате всегда цвели фуксии. Летом в саду, заросшем около заборов лопухом, распускалось столько цветов, что сад казался сплошным букетом. Запах цветов проникал даже в дедушкин мезонин и вытеснял оттуда табачный перегар. Дедушка сердито захлопывал окна. Он говорил, что от этого запаха у него разыгрывается застарелая астма.

Цветы чудились мне тогда живыми существами. Резеда была бедной девушкой в сером заштопанном платье. Только удивительный запах выдавал ее сказочное происхождение. Желтые чайные розы казались молодыми красавицами, потерявшими румянец от злоупотребления чаем.

Клумба с анютиными глазками походила на маскарад. Это были не цветы, а веселые и лукавые цыганки в черных бархатных масках, пестрые танцовщицы – то синие, то лиловые, то желтые.

Маргаритки я не любил. Они напоминали своими розовыми скучными платьицами девочек бабушкиного соседа учителя Циммера. Девочки были безбровые и белобрысые. При каждой встрече они делали книксен, придерживая кисейные юбочки.

Самым интересным цветком был, конечно, портулак – ползучий, пылающий всеми чистыми красками. Вместо листьев у портулака торчали мягкие и сочные иглы. Стоило чуть нажать их, и в лицо брызгал зеленый сок.

Бабушкин сад и все эти цветы с необыкновенной силой действовали на мое воображение. Должно быть, в этом саду и родилось мое пристрастие к путешествиям. В детстве я представлял себе далекую страну, куда непременно поеду, как холмистую равнину, заросшую до горизонта травой и цветами. В них тонули деревни и города. Когда скорые поезда пересекали эту равнину, на стенках вагонов толстым слоем налипала пыльца.

Я рассказал об этом братьям, сестре и маме, но никто меня не хотел понять. В ответ я впервые услышал от старшего брата презрительную кличку «фантазер».

Понимала меня, пожалуй, одна тетя Надя, самая младшая из бабушкиных дочерей.

Ей было тогда двадцать три года. Она училась пению в Московской консерватории. У нее было прекрасное контральто.

Тетя Надя приезжала на Пасху и летом к бабушке в Черкассы. Сразу же в тихом просторном доме делалось шумно и тесно. Она играла с нами и носилась с хохотом по навощенным полам – стройная, тоненькая, с растрепанными белокурыми волосами и чуть приоткрытым свежим ртом.

В серых ее глазах сверкали всегда крупинки золота. Глаза эти смеялись в ответ на все: на любую шутку, веселое слово, даже в ответ на брезгливую морду кота Антона, недовольного нашим весельем.

– Для Нади все трын-трава! – говорила с легким осуждением мама.

Беспечность тети Нади вошла в нашей семье в поговорку. Она часто теряла перчатки, пудру, деньги, но никогда этим не огорчалась.

В день ее приезда мы подымали крышку рояля, и он стоял открытым до тех пор, пока тетя Надя не возвращалась в свою веселую и хлебосольную Москву.

Груды нот валялись на креслах. Дымили свечи. Рокотал рояль, и я иногда просыпался ночью от грудного и нежного голоса, певшего баркаролу.

Плыви, моя гондола,  
Озарена луной.  
Раздайся, баркарола,  
Над сонною волной.

А утром меня будило вкрадчивое пение, почти шепот, около самого уха и щекочущие мои щеки волосы тети Нади. «Вставай скорей, – пела она, – не стыдно ль спать, закрыв глаза, предавшись грезам? Давно малиновки звенят, и для тебя раскрылись розы!»

Я открывал глаза, она целовала меня, тотчас исчезала, а через минуту я слышал, как она уже кружилась по залу в быстром вальсе со своим братом – юнкером дядей Колей. Он тоже иногда приезжал к бабушке на Пасху из Петербурга.

Я вскакивал, предчувствуя бурный, веселый, неожиданный день.

Когда тетя Надя пела, даже дедушка открывал настежь дверь на лестницу из мезонина и говорил потом бабушке:

– Откуда только у Нади эта цыганская кровь?

Бабушка уверяла, что у Нади кровь не цыганская, а польская. Ссылаясь на литературные примеры и историю Речи Посполитой, она доказывала, что среди полек часто бывали такие неудержимо веселые, взбалмошные и беспечные женщины.

– Вот именно! – отвечал язвительно дедушка и плотно затворял за собой дверь. – Вот именно! – громко повторял он за закрытой дверью, садясь набивать папиросы.

Однажды, я помню, была поздняя Пасха. В Черкассах уже зацвели сады. Мы приехали из Киева на пароходе. Потом из Москвы приехала тетя Надя.

Я любил Пасху, но боялся предпасхальных дней, потому что меня заставляли часами растирать миндальные зерна или взбивать ложкой белки. Я устал от этого и даже втихомолку плакал.

Кроме того, перед Пасхой в бабушкином доме начинался беспорядок. Женщины в подоткнутых юбках мыли фикусы, рододендроны, окна и полы, выбивали ковры и мебель, чистили медные ручки на дверях и окнах. Нас вечно гоняли из комнаты в комнату.

После уборки происходило священнодействие – бабушка делала тесто для куличей, или, как их называли у нас в семье, для «атласных баб». Кадку с желтым пузырчатым тестом укутывали ватными одеялами, и пока тесто не всходило, нельзя было бегать по комнатам, хлопать дверьми и громко разговаривать. Когда по улице проезжал извозчик, бабушка очень пугалась: от малейшего сотрясения тесто могло «сесть», и тогда прощай высокие ноздреватые куличи, пахнущие шафраном и покрытые сахарной глазурью!

Кроме куличей, бабушка пекла множество разных «мазурок» – сухих пирожных с изюмом и миндалем. Когда противни с горячими мазурками вынимали из печки, дом наполнялся такими запахами, что даже дедушка начинал нервничать в своем мезонине. Он открывал дверь и заглядывал вниз, в гостиную, где был уже накрыт тяжелыми скатертями длинный мраморный стол.

В Страстную субботу в доме наконец воцарялись прохладная чистота и тишина. Утром нам давали по стакану жидкого чая с сухарями, и потом уже весь день до разговения после заутрени мы ничего не ели. Этот легкий голод нам нравился. День казался очень длинным, в голове чуть позванивало, а требование бабушки поменьше болтать настраивало нас на торжественный лад.

В полночь мы отправлялись к заутрене. Меня одевали в матросские длинные брюки, в матросскую курточку с золотыми пуговицами и больно причесывали щеткой волосы. Я смотрел на себя в зеркало, видел страшно взволнованного румяного мальчика и был очень доволен.

Из своих комнат выходила тетушка Евфросиния Григорьевна. Она одна не принимала участия в праздничных приготовлениях. Она всегда болела, редко разговаривала и только ласково улыбалась в ответ на нашу веселую болтовню.

Она выходила в глухом синем платье, с золотой цепочкой от часов на шее и красивым бантом, приколотым к плечу. Мама объяснила мне, что этот бант называется «шифром», что это награда за образцовое окончание института, где тетушка Евфросиния Григорьевна когда-то училась.

Мама надевала свое праздничное серое платье, а отец – черный костюм с белым жилетом.

Потом появлялась бабушка – торжественная и красивая, вся в черном шелку, с искусственным цветком гелиотропа, приколотым к корсажу. Ее седые гладкие волосы были видны из-под кружевной наколки. Платье ее шуршало, и двигалась она легко, – бабушка молодела в эту ночь.

Она зажигала лампадки, после этого натягивала черные кружевные перчатки, и отец подавал ей мантилью с широкими завязками из лент.

– Вы, конечно, не пойдете к заутрене? – любезно, но холодно спрашивала его бабушка.

– Нет, Викентия Ивановна, – отвечал отец, улыбаясь. – Я прилягу немного. Меня разбудят, когда вы вернетесь из церкви.

– Ох, – говорила бабушка и вздергивала плечами, поправляя мантилью. – У меня одна надежда, что Богу надоели ваши шутки и он махнул на вас рукой.

– Я тоже сильно рассчитываю на это, – учтиво отвечал отец.

Бабушка подымалась на минуту в мезонин попрощаться с дедом. Когда она спускалась от деда, в зал входила тетя Надя. Она всегда опаздывала.

Она не входила – она влетала, как тонкая сверкающая птица, в белом платье из легкого шелка с треном и буфами. Она тяжело дышала, и желтая роза трепетала у нее на груди.

Казалось, весь свет, вся радость мира сияли в ее потемневших глазах.

Бабушка останавливалась на лестнице и подносила платок к глазам. Она не могла сдерживать слез при виде красоты своей младшей дочери. Каждый раз бабушка, очевидно, думала о судьбе тети Нади, о том, что будет с ней в суровой этой жизни, и мысли эти невольно заставляли бабушку прослезиться.

На этот раз, когда мы возвратились из церкви, отец не спал. Он открыл настежь окна из гостиной в сад. Было очень тепло.

Мы сели за стол разговляться. Ночь стояла рядом с нами. Звезды мерцали прямо в глаза. Из сада долетало попискивание бессонной птицы. Все говорили мало и прислушивались к то возникавшему, то затихавшему в темноте колокольному звону.

Тетя Надя сидела бледная, усталая. Я заметил, как отец передал ей в передней, когда помогал снять пелерину, синюю телеграмму.

Тетя Надя вспыхнула и скомкала телеграмму.

После разговения меня тотчас послали спать. Проснулся я поздно, когда в столовой звенели чашки и взрослые уже пили кофе.

За обедом тетя Надя сказала, что получила телеграмму из соседнего городка Смелы от своей подруги Лизы Яворской. Лиза приглашает тетю Надю приехать погостить на один день к себе в усадьбу около Смелы.

– Я хочу поехать завтра, – сказала тетя Надя, взглянула на бабушку и добавила: – И возьму с собой Костика.

Я покраснел от счастья.

– Бог с тобой, – ответила бабушка, – поезжайте, но смотрите не простудитесь.

– Они вышлют за нами лошадей, – сказала тетя Надя.

От Черкасс до Смелы был час езды поездом. На станции в Смеле нас встретила Лиза Яворская, толстая и смешливая девица. В пароконном экипаже мы проехали через чистый и

красивый городок. Под зелеными обрывами тихими омутами разлилась река Тясмин. Только посредине омутов серебрилось ее медленное течение. Было жарко. Над рекой летали стрекозы.

Когда мы въехали в пустынный парк за городом, Лиза Яворская сказала, что здесь любил гулять Пушкин. Я не мог поверить, что Пушкин бывал в этих местах и что я нахожусь там, где бывал он. В то время Пушкин казался мне существом легендарным. Его блестящая жизнь должна была, конечно, проходить в стороне от этих украинских захолустий.

– Рядом Каменка, бывшее имение Раевских, – сказала Лиза Яворская. – Он подолгу гостил у них и написал здесь чудные стихи.

– Какие? – спросила тетя Надя.

– Играй, Адель,  
Не знай печали;  
Хариты, Лель  
Тебя венчали  
И колыбель  
Твою качали...

Я не знал, что значит «хариты» и «Лель», но певучая сила этих стихов, высокий парк, столетние липы и небо, где плыли облака, – все это настроило меня на сказочный лад. Весь этот день остался у меня в памяти как праздник тихой и пустынной весны.

Лиза Яворская остановила экипаж в широкой аллее. Мы вышли и пошли к дому по боковой дорожке среди густого шиповника.

Неожиданно из-за поворота дорожки вышел загорелый бородатый человек без шапки. Охотничья двустволка висела у него на плече. В руке он нес двух убитых уток. Куртка его была расстегнута. Виднелась крепкая коричневая шея.

Тетя Надя остановилась, и я заметил, как сильно она побледнела.

Загорелый человек сломал большую ветку шиповника с бутонами, исцарапал в кровь руки и подал эту ветку тете Наде. Она осторожно взяла колючий шиповник, протянула бородавотому руку, и он поцеловал ее.

– У вас волосы пахнут порохом, – сказала тетя Надя. – И руки исцарапаны. Надо вынуть колючки.

– Пустое! – сказал он и улыбнулся.

У него были ровные зубы. Сейчас, вблизи, я увидел, что он совсем еще нестарый человек.

Мы пошли к дому. Бородатый говорил очень странно, обо всем сразу – о том, что он приехал из Москвы два дня назад, что здесь чудесно, что послезавтра он должен везти свои картины на выставку в Венецию, что его околдовала цыганка – натурщица художника Врубеля – и что он вообще человек пропащий и спасти его может только голос тети Нади.

Тетя Надя улыбалась. Я смотрел на него. Он очень мне нравился. Я догадался, что это был художник. От него действительно пахло порохом. Руки его были покрыты липкой сосновой смолой. Из черных утиных клювов изредка капала на дорожку яркая кровь.

В густых волосах у художника запуталась паутина, застряла хвоя и даже сухая веточка. Тетя Надя взяла его за локоть, остановила и вынула эту веточку.

– Неисправимый! – сказала она. – Совсем мальчишка, – добавила она и грустно улыбнулась.

– Вы поймите, – умоляющим голосом пробормотал он, – как это замечательно! Я продирался через молодой сосняк, изодрался вконец, но какой запах, какие сухие белые гвоздики, рыжая хвоя, какая паутина! Какая прелесть!

– Вот за это я вас и люблю, – тихо сказала тетя Надя.

Художник вдруг снял ружье с плеча и выстрелил из обоих стволов в воздух. Вырвалась струя синего порохового дыма. Залаяли и понеслись к нам собаки. Где-то вскрикнула и закудаhtала испуганная курица.

– Салют жизни! – сказал художник. – Чертовски чудесно жить!

Мы подошли к дому, окруженные взволнованными лающими собаками.

Дом был белый, с колоннами и полосатыми шторами на окнах. К нам вышла маленькая пожилая женщина в бледно-лиловом платье, с лорнетом, вся в седых кудряшках, – мать Лизы Яворской. Она щурилась и долго, сжимая руки, восхищалась красотой тети Нади.

В прохладных комнатах дул ветер, туго натягивал шторы, сбрасывал со стола газеты «Русское слово» и «Киевскую мысль». Всюду бродили, принюхиваясь, собаки. Услышав какие-нибудь подозрительные звуки из парка, они сразу срывались и с громким лаем, налетая друг на друга, мчались из комнат наружу.

Солнечные пятна бегали от ветра по комнатам, перебирали всякие вещи – вазы, медные колесики на ножках рояля, золотые рамы, брошенную на столик соломенную шляпку тети Нади и синие стволы ружья: его бородатый положил на подоконник.

Мы пили в столовой густой кофе. Художник рассказывал мне, как он удил рыбу в Париже прямо с набережной напротив собора Богоматери. Тетя Надя смотрела на него и ласково усмехалась. А мать Лизы все повторяла:

– Ах, Саша! Когда же вы будете взрослым! Пора уже наконец!

После кофе художник взял тетю Надю и меня за руки и повел в свою комнату. Там валялись кисти, раздавленные тюбики с краской и вообще царил беспорядок. Он начал торопливо собирать разбросанные рубахи, ботинки, куски холста, сунул все это под тахту, потом набил трубку маслянистым табаком из синей жестянки, закурил и велел, чтобы мы с тетей Надей сели на подоконник.

Мы сели. Солнце сильно грело нам спины. Художник подошел к картине, висевшей на стене и закрытой холстом, и снял холст.

– Ну вот! – пробормотал он растерянным голосом... – Ни черта у меня не вышло.

На картине была изображена тетя Надя. Тогда я еще ничего не понимал в живописи. Я слышал споры отца с дядей Колей о Верещагине и Врубеле. Но я не знал ни одной хорошей картины. Те, что висели у бабушки, изображали угрюмые пейзажи со скучными деревьями и оленями у ручья или висящих вниз головой коричневых уток.

Когда художник открыл портрет, я невольно засмеялся от радости. Портрет был неотделим от сияющей весенней красоты тети Нади, от солнца, что лилось в старый парк золотыми водопадами, от ветра, сквозившего по комнатам, и зеленоватого отблеска листьев.

Тетя Надя долго смотрела на портрет, потом слегка взъерошила художнику волосы и быстро вышла из комнаты, не сказав ни слова.

– Ну слава богу! – вздохнул художник. – Значит, можно везти этот холст на выставку в Венецию.

Днем мы катались на лодке по Тясмину. Тени от парка лежали на воде зеленой зубчатой стеной. В глубине были видны не успевшие еще дотянуться до поверхности воды круглые листики кувшинок.

Вечером перед отъездом тетя Надя пела в низком зале. Художник аккомпанировал ей и сбивался из-за того, что его пальцы, измазанные смолой, прилипали к клавишам.

Первые встречи, последние встречи,  
Милого голоса звуки любимые...

А потом мы снова ехали в пароконном экипаже в Смелу. Художник с Лизой нас провожали. Лошади стучали копытами по твердой дороге. С реки несло сыростью, квакали лягушки. Высоко в небе горела звезда.

На станции Лиза повела меня в буфет купить мороженого, а тетя Надя и художник остались на скамейке в станционном палисаднике. Мороженого в буфете, конечно, не было, и когда мы вернулись, тетя Надя и художник все так же сидели, задумавшись, на скамейке.

Вскоре тетя Надя уехала в Москву, и я ее больше не видел. На следующий год на Масленой она ездила на тройке в Петровский парк, пела на морозе, у нее началось воспаление легких, и перед самой Пасхой она умерла. На похороны ее ездили бабушка, мама и даже отец.

Я очень тосковал тогда. И до сих пор я не могу забыть тетю Надю. Она навсегда осталась для меня воплощением всей прелести девичества, сердечности и счастья.



## Шарики из бузины

В коробке перекатывались белые мягкие шарики. Я бросал такой шарик в таз с водой. Шарик начинал набухать, потом раскрывался и превращался то в черного слона с красными глазами, то в оранжевого дракона или цветок розы с зелеными листьями.

Эти сказочные китайские шарики из бузины привез мне из Пекина мой дядя и крестный отец Иосиф Григорьевич, или попросту дядя Юзя.

– Авантюрист чистой воды! – говорил о нем мой отец, но не с осуждением, а даже с некоторой завистью.

Он завидовал дяде Юзе потому, что тот изъездил всю Африку, Азию и Европу, но совсем не как благонравный турист, а как завоеватель – с шумом, треском, дерзкими выходками и неистребимой жадой заводить всякие невероятные дела в любом уголке земли: в Шанхае и Аддис-Абебе, в Харбине и Мешхеде.

Все эти дела кончались крахом.

– Мне бы дорваться до Клондайка, – говаривал дядя Юзя. – Я бы им показал, американцам!

Что именно собирался он показать клондайкским отпетым золотоискателям, оставалось неизвестным. Но было совершенно ясно, что он действительно показал бы им что-нибудь такое, что слава о нем прогремела бы по всему Юкону и Аляске.

Может быть, он был рожден для того, чтобы сделаться знаменитым исследователем и путешественником, равным Николаю Пржевальскому или Ливингстону. Но жизнь в тогдашней России и в то время – его мой отец называл «безвременьем» – исковеркала дядю Юзя. Благородная страсть к путешествиям вылилась у него в беспорядочное и бесплодное скитальчество. Но дяде Юзе я все же обязан тем, что земля после его рассказов стала казаться мне смертельно интересной, и это ощущение я сохранил на всю жизнь.

Бабушка Викентия Ивановна считала дядю Юзя «божьим наказанием», белой вороной в нашей семье. Когда она сердилась на меня за шалости и непослушание, она говорила:

– Смотри, чтобы из тебя не вышел второй дядя Юзя!

Бедная бабушка! Она не подозревала, что жизнь этого дяди казалась мне совершенно великолепной. Я только и мечтал быть «вторым дядей Юзей».

Дядя Юзя всегда появлялся у нас в Киеве или у бабушки в Черкассах внезапно и так же внезапно исчезал, чтобы через год-полтора снова оглушительно позвонить у дверей и наполнить квартиру хрипучим голосом, кашлем, клятвами и заразительным смехом. И каждый раз вслед за дядей Юзей извозчик втаскивал по полу тяжелые чемоданы со всякими редкостями.

Дядя Юзя был высокий бородатый человек с продавленным носом, с железными пальцами – ими он гнул серебряные рубли, – с подозрительно спокойными глазами, в глубине которых никогда не исчезало лукавство.

Он, как говорил отец, «не боялся ни бога, ни черта, ни смерти», но жалко терялся и размякал от женских слез и детских капризов.

Первый раз я увидел его после Англо-бурской войны.

Дядя Юзя пошел добровольцем к бурам. Этот поступок – героический и бескорыстный – сильно возвысил его в глазах родственников.

Мы, дети, были потрясены этой войной. Мы жалели буров, дравшихся за свою независимость, и ненавидели англичан. Мы знали во всех подробностях каждый бой, происходивший на другом конце земли, – осаду Ледисмита, сражение под Блумфонтейном и штурм горы Маюбы. Самыми популярными людьми были у нас бурские генералы Деветт, Жубер и Бота. Мы презирали надменного лорда Китченера и издевались над тем, что английские солдаты воюют в красных мундирах. Мы зачитывались книгой «Питер Мариц, молодой бур из Трансвааля».

Но не только мы – весь культурный мир с замиранием сердца следил за трагедией, разыгравшейся в степях между Ваалем и Оранжевой рекой, за неравной схваткой маленького народа с могучей мировой державой. Даже киевские шарманщики, игравшие до тех пор только «Разлуку», начали играть новую песню: «Трансвааль, Трансвааль, страна моя, ты вся горишь в огне». За это мы отдавали им пятаки, припрятанные на мороженое.

Англо-бурская война была для мальчиков вроде меня крушением детской экзотики. Африка оказалась совсем не такой, какой мы воображали ее себе по романам из «Вокруг света» или по дому инженера Городецкого на Банковской улице в Киеве.

В стены этого серого дома, похожего на замок, были вмурованы скульптурные изображения носорогов, жирафов, львов, крокодилов, антилоп и прочих зверей, населявших Африку. Бетонные слоновьи хоботы свисали над тротуарами и заменяли водосточные трубы. Из пасти носорогов капала вода. Серые каменные удавы поднимали головы из темных ниш.

Владелец этого дома, инженер Городецкий, был страстным охотником. Он ездил охотиться даже в Африку. В память этих охот он разукрасил свой дом каменными фигурами зверей. Взрослые говорили, что Городецкий чужак, но мы, мальчишки, любили этот странный дом. Он помогал нашим мечтам об Африке.

Но сейчас, хотя мы и были мальчишками, мы понимали, что страдания и борьба за человеческие права вторглись на огромный черный материк, где до тех пор, по нашим понятиям, только трубили мудрые слоны, дышали миазмами тропические леса и бегемоты сопели в жирной тине великих неисследованных рек. До тех пор Африка существовала как земля путешественников, разных Стенли и Ливингстонов.

Мне, как и другим мальчишкам, было жалко расставаться с той Африкой, где мы бродили в мечтах, – расставаться с охотой на львов, с рассветами в песках Сахары, плотами на Нигере, свистом стрел, неистовым гамом обезьян и мраком непроходимых лесов. Там опасности ждали нас на каждом шагу. Мысленно мы уже много раз умирали от лихорадки или от ран за бревенчатыми стенами форта, слушая жужжание одинокой пули, вдыхая запах мокрой ядовитой травы, глядя воспаленными глазами в черное бархатное небо, где догорал Южный Крест.

Сколько раз я так умирал, жалея о своей молодой и короткой жизни, о том, что таинственная Африка не пройдена мной от Алжира до мыса Доброй Надежды и от Конго до Занзибара!

Но все же это представление об Африке нельзя было целиком выбросить из памяти. Оно оказалось живучим. Поэтому трудно передать то ошеломление, тот немой восторг, которые я испытал, когда в нашей скучной квартире в Киеве появился бородатый, сожженный африканским солнцем человек в широкополой бурской шляпе, в рубахе с открытой шеей, с патронташем на поясе – дядя Юзя.

Я ходил за ним следом, я смотрел ему в глаза. Мне не верилось, что вот эти глаза видели Оранжевую реку, зулусские краали, английских кавалеристов и бури Тихого океана.

В то время президент Трансвааля, старый и грузный Крюгер, приезжал в Россию просить о помощи бурам. Дядя Юзя приехал вместе с ним. Он пробыл в Киеве всего один день и уехал в Петербург вслед за Крюгером.

Дядя Юзя был уверен, что Россия поможет бурам. Но из Петербурга он написал отцу: «Высшие государственные соображения вынудили русское правительство сделать подлость – бурам мы помогать не будем. Значит, все кончено, и я опять уезжаю к себе на Дальний Восток».

Дед мой – отец моей матери – был человек небогатый. У него не хватило бы средств дать образование многочисленным детям – пятерым девочкам и троим сыновьям, если бы он не отдал всех сыновей в Киевский кадетский корпус. Обучение в корпусе было бесплатное.

Дядя Юзя учился со своими братьями в этом корпусе. Четыре года прошли благополучно, но на пятый год дядя Юзя был переведен из Киева в штрафной, «каторжный» корпус в город

Вольск, на Волге. В Вольск кадет ссылали за «тяжкие преступления». Дядя Юзя совершил такое преступление.

Кухня в Киевском корпусе помещалась в подвале. К одному из праздников в кухне напекли много сдобных булочек. Они остывали на длинном кухонном столе. Дядя Юзя достал шест, привязал к нему гвоздь, натаскал с помощью этого приспособления через открытое окно кухни несколько десятков румяных булочек и устроил пышный пир в своем классе.

В Вольске дядя Юзя пробыл два года. На третий год его исключили из корпуса и разжаловали в солдаты за то, что он ударил офицера: офицер остановил его на улице и грубо изругал за мелкий непорядок в одежде.

На дядю Юзю надели солдатскую шинель, дали ему винтовку и отправили пешим порядком из Вольска в город Кутно, около Варшавы, в артиллерийскую часть.

Он прошел зимой страну с востока на запад, являясь к начальникам гарнизонов, выпрашивая по деревням хлеб, ночуя где попало.

Из Вольска он вышел вспыльчивым мальчиком, а в Кутно пришел озлобленным солдатом.

В Кутно он дослужился до первого офицерского чина. Его произвели в прапорщики.

На военной службе дяде Юзе не везло самым роковым образом. Из артиллерии его перевели в пехоту. Полк дяди Юзи был вызван в Москву нести охрану во время коронации Николая Второго. Рота дяди Юзи охраняла Кремлевскую набережную.

Ранним утром в день коронации дядя увидел, как его солдаты бросились к берегу реки и там началась жестокая свалка. Придерживая шашку, дядя побежал к солдатам.

Он увидел валявшееся в грязи на берегу страшное существо с медной головой, опутанной проводами. Существо это солдаты сбили с ног, навалились на него, а оно неуклюже отбрыкивалось от них огромными свинцовыми бутсами. Один из солдат зажал резиновую ребристую трубку около медной головы этого существа, и оно, захрипев, перестало сопротивляться. Дядя увидел, что это водолаз, крикнул на солдат, быстро отвинтил медный шлем, но водолаз был уже мертв.

Дядю и солдат не предупредили, что в это утро водолазы из Кронштадта осматривали дно Москвы-реки, разыскивая адские машины.

После этого случая дядя Юзя был уволен из армии. Он уехал в Среднюю Азию и служил некоторое время начальником верблюжьих караванов, ходивших из Уральска в Хиву и Бухару. В то время Средняя Азия еще не была связана с Россией железной дорогой, все товары перегружались в Уральске на верблюдов и шли дальше караванным путем.

Во время этих караванных путешествий дядя Юзя сдружился с исследователями Средней Азии братьями Грум-Гржимайло и охотился с ними на тигров. Он прислал в подарок бабушке тигровую шкуру с таким свирепым выражением на морде убитого тигра, что бабушка тотчас спрятала эту шкуру в подвал, предварительно пересыпав ее нафталином.

Дядя Юзя любил рассказывать, как одним своим чихом он убивал на месте шакалов. На бивуаках в пустыне дядя ложился, подкладывал под голову сумку с продуктами и притворялся спящим. Шакалы подползали, поджав хвосты. Когда самый наглый из них начинал осторожно вытаскивать зубами сумку из-под дядиной головы, дядя оглушительно чихал, и трусливый шакал, даже не взвизгнув, тут же на месте умирал от разрыва сердца.

Мы верили этому, потому что хорошо знали, как чихал по утрам дядя Юзя, готовясь к новому дню. В ответ на этот чих звенели стекла в окнах и кошка, обезумев, металась по комнате в поисках спасения.

Рассказы дяди Юзи были для нас интереснее походов барона Мюнхгаузена. Мюнхгаузену надо было себе представлять, а дядя Юзя был рядом – живой, тонущий в облаках табачного дыма, сотрясающий своим хохотом диван.

Потом в жизни дяди Юзи наступила неясная полоса. Он скитался по Европе, играл, говорят, в рулетку в Монте-Карло, очутился в Абиссинии и вернулся оттуда с огромным золотым орденом, пожалованным ему за что-то негусом Менеликом. Орден был похож на дворницкую бляху.

Дядя Юзя не находил себе места в жизни, пока взоры его не обратились на туманный Дальний Восток, на Маньчжурию и Уссурийский край. Эта страна как будто нарочно существовала для таких людей, как дядя. Там можно было жить широко, шумно, не подчиняясь никаким «дурацким законам», – во всю силу необузданного характера и своей предприимчивости.

Это была русская Аляска – необжитая, богатая и опасная. Лучшего места на свете нельзя было и придумать для дяди Юзи. Амур, тайга, золото, Тихий океан, Корея, а дальше – Камчатка, Япония, Полинезия. Обширный неизученный мир шумел, как прибой, у берегов Дальнего Востока и тревожил воображение.

Дядя Юзя, захватив с собой молодую жену-подвижницу, – так как никто, кроме подвижницы, по мнению моей мамы, не мог быть женой такого ужасного человека, как дядя Юзя, – уехал на Дальний Восток.

Там он участвовал в обороне Харбина во время китайского восстания, в стычках с хунхузами, в постройке Восточно-Китайской железной дороги. Занятие это он прерывал только для того, чтобы поехать в Трансвааль.

После Англо-бурской войны он вернулся на Дальний Восток, но уже не в Маньчжурию, а в Порт-Артур. Там он работал агентом Добровольного флота. Дядя Юзя писал, что очень полюбил пароходное дело и жалеет, что в молодости не стал моряком.

К тому времени жена его умерла. На руках у дяди Юзи остались две девочки, его дочери. Он трогательно и неумело воспитывал их вместе со старым китайцем-слугой, которого называл Сам Пью-чай. Этого преданного ему китайца дядя Юзя любил, пожалуй, не меньше, чем своих дочерей. Вообще он очень любил китайцев и говорил, что это великолепный, добрый и мудрый народ и единственный его недостаток – это боязнь дождей.

Во время японской войны дядя Юзя был призван, как старый офицер, в армию. Дочерей вместе с Сам Пью-чаем он отправил в Харбин.

После войны он приезжал в Киев навестить родных. Это был последний раз, когда я его видел.

Он был уже седой, спокойный, но бешеные веселые искорки, хоть и изредка, все еще перебегали в его глазах.

Он рассказывал нам о Пекине, о садах китайских императоров, Шанхае и Желтой реке.

После этих рассказов Китай представлялся мне страной, где вечно стоит теплый и ясный вечер. Может быть, это впечатление объяснялось тем, что дядя Юзя уже ничего не выдумывал, не вращал глазами и не хохотал, а говорил усталым голосом, поминутно стряхивая пепел с папиросы.

Это было в 1905 году. Дядя Юзя плохо разбирался в политике. Он считал себя старым солдатом и действительно был им – честным, верным присяге. Когда мой отец начинал резкие и опасные свои речи, дядя Юзя отмалчивался, уходил в сад, садился на скамейку и там курил в одиночестве. Отца он считал «левее левых».

Осенью пятого года в Киеве восстали саперный батальон и понтонная рота. Саперы прошли с боем через город, отбиваясь от наседавшей на них казачьей сотни.

К саперам присоединились рабочие Южно-Русского машиностроительного завода. Впереди мятежников бежало множество детей. На Галицком базаре Азовский саперный полк открыл по восставшим огонь. Залпами было убито много детей и рабочих. Саперы не могли отвечать на огонь, так как между ними и азовцами были толпы жителей. В этот день дядя Юзя, узнав о событиях, очень нервничал, без конца курил, бродя по саду, и вполголоса бранился.

– Азовцы, – бормотал он. – Дурачье. Позор! А те тоже хороши, саперы, – не стрелки, а куроцапы!

Потом он незаметно исчез из дому и к вечеру не вернулся. Он не вернулся ни ночью, ни на следующий день. Он вообще не вернулся. Только через полгода пришло от его дочери письмо из Харбина. Она сообщала, что дядя Юзя поселился в Японии и просит его простить за внезапное исчезновение.

Гораздо позже мы узнали, что дядя Юзя пробрался к саперам, увидел убитых детей, пришел в ярость, вместе с руководителем восстания поручиком Жадановским собрал часть сапер и открыл с ними такой огонь по правительственным войскам, что те были вынуждены отойти. Дяде Юзе, естественно, пришлось бежать. Он уехал в Японию, где вскоре и умер в городе Кобе от сердечной астмы и страшной болезни – ностальгии – тоски по родине.

Перед смертью этот огромный и неистовый человек плакал при малейшем напоминании о России. А в последнем, как будто шутилом, письме он просил прислать ему в конверте самый драгоценный для него подарок – засушенный лист киевского каштана.

## Святославская улица

Поездки в Черкаassy и Городище были в моем детстве праздниками, а будни начинались в Киеве, на Святославской улице, где в сумрачной и неудобной квартире проходили длинные зимы.

Святославская улица, застроенная скучными доходными домами из желтого киевского кирпича, с такими же кирпичными тротуарами, упиралась в огромный пустырь, изрезанный оврагами. Таких пустырей среди города было несколько. Назывались они «ярами».

Весь день мимо нашего дома тянулись к Святославскому яру обозы «каламашек» с глиной. Каламашками в Киеве назывались тележки для перевозки земли. Каламашники засыпали овраги в яру и ровняли его для постройки новых домов.

Земля высыпалась из каламашек, на мостовой всегда было грязно, и потому я не любил Святославскую улицу.

В яру нам строго запретили ходить. Это было страшное место, приют воров и нищих. Но всё же мы, мальчишки, собирались иногда отрядами и шли в яр. Мы брали с собой на всякий случай полицейский свисток. Он казался нам таким же верным оружием, как револьвер.

Сначала мы с опаской смотрели сверху в овраги. Там блестело битое стекло, валялись ржавые тазы и рылись в мусоре собаки. Они не обращали на нас внимания.

Потом мы настолько осмелели, что начали спускаться в овраги, откуда тянуло дрянным желтым дымком. Дымок этот шел от землянок и лачуг. Лачуги были слеплены из чего попало – ломаной фанеры, старой жести, разбитых ящиков, сидений от венских стульев, матрасов, из которых торчали пружины. Вместо дверей висели грязные мешки.

У очагов сидели простоволосые женщины в отрепях. Они обзывали нас «барчуками» или просили «на монополюку». Только одна из них – седая косматая старуха с львиным лицом – улыбалась нам единственным зубом.

Это была известная в Киеве нищенка-итальянка. Она ходила по дворам и играла на гармонике. За особую плату она играла «Марсельезу». В этих случаях кого-нибудь из мальчишек высылали к воротам, чтобы предупредить, если появится околоточный надзиратель.

Нищенка не только играла «Марсельезу» на гармонике – она кричала ее яростным хриплым голосом. «Марсельеза» в ее исполнении звучала как гневный призыв, как проклятье обитателей Святославского яра.

Среди жильцов этих лачуг мы узнавали старых знакомых. Вот Яшка Падучий – нищий с белыми водочными глазами. Он постоянно сидел на паперти Владимирского собора и выкрикивал одну и ту же фразу: «Господа милосердные, обратите внимание на мое калецтво-овецтво!»

В яру Яшка Падучий был совсем не таким гнусавым и тихим, как на паперти. Он выпивал одним духом четвертинку водки, с размаху бил себя в грудь и вопил со слезой: «Приидите ко мне все страждущие и обремененные, и аз упокою вы!»

Вот лысый старик, торгующий зубочистками на Фундуклеевской улице около кафе Франсуа, а рядом – шарманщик с попугаем.

Около лачуг дымили глиняные очаги с дырявыми самоварными трубами.

Больше других мне нравилась лачуга шарманщика. Днем шарманщика никогда не было – он ходил по дворам. Около лачуги сидела на земле босая девушка с землистым лицом и красивыми хмурыми глазами. Она чистила картошку. Одна нога у нее была обмотана тряпками.

Это была дочь шарманщика, гимнастка, «человек без костей». Она ходила раньше с отцом по дворам, раскладывала коврик и показывала на нем – худая, в голубом трико – разные акробатические трюки. Сейчас она повредила ноги и не могла «работать».

Иногда она читала все одну и ту же книгу с оторванным переплетом. По картинкам я догадался, что это были «Три мушкетера» Дюма.

Девушка недовольно кричала на нас:

– Чего вы тут ходите! Не видели, что ли, как люди живут?

Но потом она привыкла к нам и перестала кричать. Ее отец, низенький, седой шарманщик, застав нас в яру, сказал:

– Пусть видят, как мается наше общество. Может быть, это им пригодится, когда будут студентами.

Сначала мы ходили в яр целой ватагой. Потом я привык к обитателям яра и начал ходить туда один.

Я долго скрывал это от мамы, но меня выдала дочь шарманщика. Я принес ей почитать «Хижину дяди Тома», но заболел и долго не приходил за книгой. Она забеспокоилась и сама принесла книгу к нам на квартиру. Мама открыла ей дверь, и все обнаружилось. Я понял это по сжатым губам мамы и по ее ледяному молчанию.

Вечером между мамой и отцом происходил в столовой разговор о моем поведении. Я слышал его из-за двери. Мама волновалась и сердилась, но отец сказал, что ничего нет страшного, что меня трудно испортить и что он предпочитает, чтобы я дружил с этими обездоленными людьми, а не с сыновьями киевских купцов и чиновников. Мама возразила, что в моем возрасте меня надо оберегать от тяжелых житейских впечатлений.

– Пойми, – сказал отец, – что эти люди на человеческое отношение отвечают такой преданностью, какую не найдешь в нашем кругу. При чем же тут тяжелые житейские впечатления?

Мама помолчала и ответила:

– Да, может быть, ты прав...

Когда я выздоровел, она принесла мне «Принца и нищего» Марка Твена и сказала:

– Вот... отнеси это сам... дочери шарманщика. Я не знаю, как ее зовут.

– Лиза, – ответил я робко.

– Ну вот, отнеси эту книгу Лизе. В подарок.

С тех пор никто в доме больше не возмущался моими посещениями Святославского яра. Теперь мне не надо было тайком таскать из буфета сахар для моих новых друзей или китайские орешки для подслеповатого попугая Митьки. Я открыто просил все это у мамы. Она мне никогда не отказывала.

Я был благодарен маме за это, и на душе у меня было так легко, как только может быть у мальчика с чистой совестью.

Однажды ранней осенью шарманщик пришел к нам во двор без попугая. Он равнодушно крутил ручку шарманки. Она высвистывала польку «Пойдем, пойдем, ангел милый, пойдем танцевать со мной». Шарманщик обводил глазами балконы и открытые окна, дожидаясь, когда наконец полетит во двор медная монета, завернутая в бумажку.

Я выбежал к шарманщику. Он сказал мне, не переставая вертеть шарманку:

– У Митьки хвороба. Сидит, как еж. Твои орешки и то лущить бросил. Видать, подыхает.

Шарманщик снял черную пыльную шляпу и вытер ею лицо.

– Пропавшее существование! – сказал он. – Одной шарманкой, без Митьки, не то что на хлеб – на водку не заработаешь. Кому теперь вытягивать «счастье»?

Попугай за пять копеек вытаскивал желающим зеленые, синие и красные билетки с напечатанными на них предсказаниями. Билетки эти назывались почему-то «счастьем». Они были свернуты в трубочки и уложены, как папиросы, в коробку от гильз. Прежде чем вытащить билетик, Митька долго топтался по жердочке и недовольно кричал.

Предсказания были написаны весьма темным языком.

«Вы родились под знаком Меркурия, и камень ваш есть изумруд, иначе смарагд, что означает нерасположение и окончательное нахождение житейского устройства в годы, убеленные сединой. Бойтесь блондинок и блондинов и предпочитайте не выходить на улицу в день усекновения главы Иоанна Предтечи».

Иногда в билетиках были короткие и зловещие фразы: «Завтра к вечеру» или «Если хочешь остаться живым, никогда не оглядывайся».

Через сутки Митька издох, я похоронил его в яру в картонной коробке от ботинок. Шарманщик напился и исчез.

Я рассказал маме о смерти попугая. Губы у меня дрожали, но я сдерживался.

– Одевайся, – строго сказала мама. – Пойдем к Бурмистрову.

Бурмистров был старичок с зеленой от старости бородой. Он держал темный и тесный магазин на Бессарабке. Там глуховатый этот человек, похожий на гнома, торговал великолепными вещами – удочками, разноцветными поплавками, аквариумами, золотыми рыбками, птицами, муравьиными яйцами и даже переводными картинками.

Мама купила у Бурмистрова пожилого зеленого попугая с оловянным кольцом на ноге. Мы одолжили у Бурмистрова клетку. Я нес в ней попугая. По дороге он изловчился и прокусил мне палец до самой кости. Мы зашли в аптеку. Мне перевязали палец, но я был так взволнован, что почти не почувствовал боли.

Мне очень хотелось поскорее отнести попугая к шарманщику, но мама сказала:

– Я пойду вместе с тобой. Я должна это видеть сама.

Она ушла к себе переодеться. Мне было стыдно, что мама переодевается, чтобы пойти к нищим, оборванным людям, но я не смел ей ничего сказать.

Через несколько минут она вышла. На ней было старенькое платье, заштопанное на локтях. На голову она накинула платок. На этот раз она даже не натянула на руки свои элегантные лайковые перчатки. И туфли она надела со стоптанными каблуками.

Я с благодарностью взглянул на нее, и мы пошли.

Мама мужественно спустилась в овраг, прошла мимо онемевших от изумления растрепанных женщин и даже ни разу не приподняла юбку, чтобы не запачкать ее о кучи мусора и золы.

Лиза, увидев нас с попугаем, вспыхнула, серое ее лицо покрылось жарким румянцем, и она неожиданно сделала маме реверанс. Шарманщика не было дома – он все еще заливал свое горе с приятелями на Демиевке.

Лиза взяла попугая и, все больше краснея, повторяла одни и те же слова:

– Ну зачем это вы! Зачем это вы!

– Его можно будет выучить вытаскивать «счастье»? – спросила мама.

– Да в два дня! – радостно ответила Лиза. – Но зачем это вы! Господи! Зачем? Это же каких денег стоит!

Дома отец, узнав об этом случае, усмехнулся и сказал:

– Дамская филантропия! Сентиментальное воспитание!

– Ах, господи! – воскликнула с досадой мама. – Не знаю, почему ты обязательно хочешь противоречить самому себе. Удивительный у тебя характер. На моем месте ты бы сделал то же самое.

– Нет, – ответил отец, – я бы сделал большее.

– Большее? – переспросила мама, и в голосе ее послышалась угроза. – Ну хорошо! Посмотрим!

– Посмотрим!

Я не догадывался, что отец говорил все это нарочно, чтобы раздражить маму.



На следующий день после этой стычки мама отослала Лизе в Святославский яр черное платье моей сестры и свои коричневые ботинки.

Но отец не остался в долгу перед мамой. Он дождался, когда шарманщик пришел к нам во двор с новым попугаем.

Красный шарф был завязан у шарманщика на шее. Нос его победно блестел от водки. В честь мамы шарманщик проиграл все, что могла насвистывать его шарманка: марш «Тоска по родине», вальс «Дунайские волны», польку «Разлука» и песню «Эх, полным-полна коробушка».

Попугай снова вытягивал «счастье». Медяки в бумажках щедро сыпались из окон. Некоторые из них шарманщик ловко ловил шляпой.

Потом он вскинул шарманку на спину и, как всегда сильно согнувшись, пошел не на улицу, а вверх по парадной лестнице и позвонил у наших дверей.

Сняв шляпу и держа ее в вытянутой руке так, что шляпа касалась пола, он поблагодарил маму и поцеловал ей руку. Отец вышел и пригласил шарманщика к себе в кабинет. Шарманщик прислонил шарманку к стене в передней и, осторожно шагая, пошел за отцом.

Отец угостил шарманщика коньяком, сказал, что знает, какая трудная у него и неверная жизнь, и предложил ему место путевого сторожа на Юго-Западной дороге. Будет свой маленький дом, огород.

– Не обессудьте, Георгий Максимович, – тихо ответил шарманщик и покраснел. – Загорю я будочником. Мне, видно, век бедовать с шарманкой.

Он ушел. Мама не могла скрыть своего торжества, хотя и молчала.

Через несколько дней полиция неожиданно выселила из Святославского яра всех его обитателей. Шарманщик с Лизой исчезли, – очевидно, они перекочевали в другой город.

Но до этого я успел еще раз побывать в яру. Шарманщик пригласил меня к себе «пověчерять».

На перевернутом ящике стояла тарелка с печеными помидорами и черным хлебом, бутылка вишневой наливки и лежали грязные конфеты – толстые, в розовую и белую полоску, сахарные палочки.

Лиза была в новом платье, с туго заплетенными косами. Она обидчиво следила за тем, чтобы я ел «как у мамы». Попугай спал, прикрыв глаза кожаной пленкой. Шарманка изредка сама по себе издавала певучий вздох. Шарманщик объяснил, что это из каких-то трубок выходит застоявшийся воздух.

Был уже сентябрь. Приближались сумерки. Кто не видел киевской осени, тот никогда не поймет нежной прелести этих часов.

Первая звезда зажигается в вышине. Осенние пышные сады молча ждут ночи, зная, что звезды обязательно будут падать на землю и сады поймают эти звезды, как в гамак, в гущу своей листвы и опустят на землю так осторожно, что никто в городе даже не проснется и не узнает об этом.

Лиза проводила меня до дому, сунула мне на прощанье розовую липкую конфету и быстро сбежала по лестнице. А я долго не решался позвонить, боясь, что мне попадет за позднее возвращение.

## Зимние зрелища

На Рождество отец подарил мне коньки «Галифакс».

Теперешние мальчики долго бы смеялись, увидев эти коньки. Но тогда не было на свете лучших коньков, чем коньки из города Галифакса.

Где этот город? Я расспрашивал всех. Где этот старый город Галифакс, заваленный снегом? Там все мальчики бегают на таких коньках. Где эта зимняя страна, населенная отставными моряками и шустрými школьниками? Никто мне не мог ответить.

Старший брат Боря предполагал, что Галифакс – это вовсе не город, а фамилия изобретателя коньков. Отец сказал, что, кажется, Галифакс – это правда городок на острове Ньюфаундленде у северных берегов Америки и знаменит он не только коньками, но и собаками-водолазами.

Коньки лежали у меня на столе. Я смотрел на них и думал о городе Галифаксе. Получив коньки, я тотчас выдумал этот город и уже видел его так ясно, что мог бы нарисовать подробный план его улиц и площадей.

Я мог долго сидеть за столом над задачкой Малинина и Буренина – я готовился в эту зиму к экзаменам в гимназию – и думать о Галифаксе.

Это мое свойство пугало маму. Она боялась моих «фантазий» и говорила, что таких мальчиков, как я, ждет нищета и смерть под забором.

Это мрачное предсказание «ты умрешь под забором» было очень распространено в то время. Почему-то смерть под забором считалась особенно позорной.

Я часто слышал это предсказание. Но гораздо чаще мама говорила, что у меня «вывихнутые мозги и все не так, как у людей», и боялась, как бы из меня не вышел неудачник.

Отец очень сердился, когда слышал это, и говорил маме:

– Пусть будет неудачником, нищим, бродягой, кем угодно, но только не проклятым киевским обывателем!

В конце концов я сам начал побаиваться и стесняться своего воображения. Мне казалось, что я занимаюсь чепухой, тогда как вокруг все заняты серьезными делами: братья и сестра ходят в гимназию, зубрят уроки, отец служит в управлении Юго-Западных железных дорог, мама шьет и распоряжается по дому. Только я один живу в оторванном от общих интересов мире и напрасно трачу время.

– Ты бы лучше пошел на каток, чем бессмысленно сидеть и что-то выдумывать, – говорила мама. – Что это за мальчик! На что ты похож!

Я уходил на каток. Зимние дни были короткие. Сумерки заставляли меня на катке. Приходил военный оркестр. Зажигались разноцветные лампочки. Гимназистки в шубках катались по кругу, раскачиваясь и пряча руки в маленькие муфты. Гимназисты ездили задом наперед или «пистолетом» – присев на одну ногу и далеко выставив другую. Это считалось высшим шиком. Я им завидовал.

Домой я возвращался раскрасневшийся и усталый. Но тревога не покидала мое сердце. Потому что и после катания на коньках я чувствовал прежнюю опасную склонность к выдумкам.

На катке я часто встречал подругу моей сестры Гали – Катюшу Весницкую, гимназистку старших классов Фундуклеевской женской гимназии. Она тоже каталась на коньках «Галифакс», но сделанных из черной вороненой стали.

Мой старший брат Боря, ученик реального училища и знаток математики, ухаживал за Катюшей. Он танцевал с ней на коньках вальс.

Конькобежцы очищали широкий круг на льду. Уличным мальчишкам, шнырявшим под ногами на самодельных коньках, давали подзатыльники, чтобы они успокоились, и начинался скользящий и медленный танец.

Даже капельмейстер военного оркестра, рыжий чех Коваржик поворачивался лицом к катку, чтобы видеть этот танец. На красном лице капельмейстера (мы называли его «капельдудкиным») бродила сладкая улыбка.

Длинные косы Весницкой разлетались в такт вальсу. Они ей мешали, и она, не переставая танцевать, перекидывала их к себе на грудь. Она надменно смотрела из-под полуопущенных век на восхищенных зрителей.

Я со злорадством следил за Борей. Он танцевал хуже Катюши. Иногда он даже поскальзывался на своих хваленых коньках «яхт-клуб».

Мог ли я думать тогда на катке, что жизнь Весницкой окажется гораздо неожиданнее всех моих фантазий.

В Пажеском корпусе в Петербурге воспитывался один из сыновей сиамского короля Чакрабон. Во время возвращения на родину принц заболел в дороге около Киева воспалением легких. Путешествие было прервано. Принца привезли в Киев, поместили в царский дворец и окружили заботами киевских докторов.

Принц выздоровел. Но прежде чем продолжать путешествие в Сиам, ему надо было отдохнуть и поправиться. Принц прожил в Киеве два месяца. Ему было скучно. Его старались развлекать – возили на балы в Купеческое собрание, на лотереи-аллегри, в цирк и театры.

На одном балу желтолицый принц увидел Весницкую. Она танцевала вальс, так же как на катке, перекинув косы себе на грудь и надменно поглядывая из-под полуопущенных век синими глазами. Принц был очарован. Маленький, раскосый, с блестящими, как вакса, волосами, он влюбился в Катюшу. Он уехал в Сиам, но вскоре вернулся в Киев инкогнито и предложил Катюше стать его женой. Она согласилась.

Смятение охватило киевских гимназисток. Все в один голос говорили, что на ее месте они бы ни за что не могли выйти замуж за азиата, хотя бы и сына короля.

Катюша уехала в Сиам. Сиамский король вскоре умер от какой-то тропической болезни. Вслед за ним умер от той же болезни первый наследный принц.

Муж Катюши был вторым сыном короля. У него было очень мало надежды на сиамский престол. Но после смерти брата он оказался единственным наследником и неожиданно стал королем. Так веселая киевская гимназистка Весницкая сделалась сиамской королевой.

Придворные ненавидели королеву-иностранку. Ее существование нарушало традиции сиамского двора.

В Бангкоке по требованию Катюши провели электрическое освещение. Это переполнило чашу ненависти придворных. Они решили отравить королеву, поправшую древние привычки народа. В пищу королеве начали постепенно подсыпать истертое в тончайший порошок стекло от разбитых электрических лампочек. Через полгода она умерла от кровотечения в кишечнике.

На могиле ее король поставил памятник. Высокий слон из черного мрамора с золотой короной на голове стоял, печально опустив хобот, в густой траве, доходившей ему до колен. Под этой травой лежала Катюша Весницкая – молодая королева Сиам.

С тех пор каждый раз, когда я попадал на каток, я вспоминал Катюшу и капельмейстера, игравшего вальс «Невозвратное лето», и как она стряхивала варежкой снег со своего лба и бровей, и ее коньки из синей стали – коньки из города Галифакса. В нем жили простодушные отставные моряки. Вот рассказать бы этим старикам историю Весницкой. Сначала они открыли бы от изумления рты, потом покраснели бы от гнева на придворных и долго бы качали головами, сокрушаясь над превратностью человеческой судьбы.

Зимой меня водили в театры.

Первая пьеса, которую я увидел, была «Штурм Измаила». Мне она не понравилась, потому что я заметил у кулисы человека в очках и потертых бархатных брюках. Он стоял рядом с Суворовым, потом сильно толкнул Суворова в спину, тот вприпрыжку вылетел на сцену и запел петухом.

Но зато вторая пьеса, «Принцесса Греза» Ростана, меня ошеломила. Там было все, чтобы потрясти мое воображение: палуба корабля, огромные паруса, трубадуры, рыцари, принцесса.

Я полюбил драматический Соловцовский театр, его голубую бархатную обивку и маленькие ложи. После спектакля меня нельзя было увести из театра никакими силами, пока не гасили свет. Темнота театрального зала, запах духов и апельсиновых корок – все это казалось мне настолько заманчивым, что я мечтал спрятаться под креслом и провести всю ночь в пустом театре.

В детстве я не мог отделить театральное зрелище от действительности и по-настоящему мучился и даже болел после каждого спектакля.

Моя страсть к чтению усилилась после театра. Стоило мне посмотреть хотя бы «Мадам Сан-Жен», и я начинал с жадностью перечитывать все книги о Наполеоне. Эпохи и люди, увиденные в театре, оживали чудесным образом и наполнялись необыкновенным интересом и прелестью.

Я полюбил не только самые спектакли. Мне нравились театральные коридоры с зеркалами в тусклых золотых рамах, темные вешалки, где пахло мехом от шуб, перламутровые бинокли, топот застоявшихся лошадей у театрального подъезда.

В антрактах я бегал в конец коридора и смотрел через окно наружу. Там лежала крошечная тьма. Только снег белел на деревьях. Я быстро оборачивался и видел свет нарядного зала, люстры, блеск женских волос, браслетов, серег и бархатный театральный занавес. В антрактах занавес качало теплым ветром. Я повторял это занятие по несколько раз – то смотрел в окно, то на зал, – и оно мне очень нравилось.

Оперу я не любил. Очевидно, потому, что первой оперой, которую мне показали, был «Демон» Рубинштейна. Жирный, с нахальным и брыластым лицом актер лениво и как-то вразвалку пел Демона. Он играл почти без грима. Было смешно, что на этого солидного человека с брюшком надели длинную черную рубаху из кисеи, обшитую блестками, и привязали к спине крылья. Актер сильно картавил, и когда он пел «Проклятый мир, презренный мир», я не мог удержаться от смеха. Мама была возмущена и перестала водить меня в оперу.

Каждую зиму к нам приезжала из Городища тетя Дозя. Мама любила водить ее в театр.

Перед этим тетя Дозя плохо спала ночь. За несколько часов до спектакля она уже надевала широкое шумящее платье из коричневого атласа, вытканное желтыми цветами и листьями, накидывала коричневую шаль на шею, зажимала в руке кружевной платочек и потом, помолодевшая на десять лет и немного испуганная, ехала на извозчике с мамой в театр. Голову тетя Дозя повязывала, как все украинские бабы, черным платком с маленькими розами.

В театре все смотрели на тетю Дозю, но она так была увлечена спектаклем, что ни на кого не обращала внимания.

Возили ее главным образом на украинские пьесы – «Наталка Полтавка», «Запорожец за Дунаем» и «Шельменко-денщик». Один раз среди действия тетя Дозя вскочила и крикнула по-украински театральному злодею:

– Что же ты делаешь, подлюга, бесстыжие твои глаза!

Публика неистово хохотала. Дали занавес. Тетя Дозя проплакала весь следующий день от стыда, просила у отца прощения, и мы не знали, как ее успокоить.

С тетей Дозей мы впервые ходили в кино. Тогда кино называли «иллюзионом» или «синематографом Люмьера».

Первый сеанс был устроен в Оперном театре. Отец был в восхищении от иллюзиона и приветствовал его как одно из великолепных новшеств двадцатого века.

На сцене натянули серое мокрое полотно. Потом погасили люстры. По полотну замигал зловещий зеленоватый свет и забегали черные пятна. Прямо над нашими головами струился дымный луч света. Он страшно шипел, будто у нас за спиной жарили целого вепря. Тетушка Дозя спросила маму:

– Почему он так скворчит, этот иллюзион? Мы от него не сторим, как в курятнике?

После долгого мигания на полотне появилась надпись: «Извержение на острове Мартинике. Видовая картина».

Экран задрожал, и на нем, как бы сквозь ливень пыли, возникла огнедышащая гора. Из недр ее лилась горящая лава. Зрительный зал зашумел, потрясенный этим зрелищем.

После видовой показывали комическую картину из жизни французской казармы. Барабанщик бил в барабан, солдаты просыпались, вскакивали, натягивали брюки. Из штанины у одного солдата вываливалась большая крыса. Она бегала по казарме, а солдаты в ужасе, неправдоподобно тараща глаза, лезли на койки, на двери и окна. На этом картина кончалась.

– Балаган! – сказала мама. – Только с той разницей, что на Контрактовой ярмарке балаганы гораздо интереснее.

Отец заметил, что точно так же недалековидные люди смеялись над паровозом Стефенсона, а тетюшка Дозя, стараясь примирить отца с мамой, сказала:

– Бог с ним, с иллюзионом! Не нашего это женского ума дело.

На Контрактовой ярмарке балаганы действительно были интересные. Мы любили эту ярмарку и с нетерпением ждали всю зиму, когда она откроется.

Открывалась она в конце зимы в старинном Контрактовом доме на Подоле и в дощатых палатках вокруг этого дома.

Обычно ко дню ее открытия наступала распутица. Острые запахи ярмарочных товаров были слышны издалека. Пахло новыми бочками, кожей, пряниками и коленкором.

Мне нравились на ярмарке карусели, игрушки и паноптикум.

Маслянистые глыбы белой и шоколадной халвы хрустели под ножами продавцов. Прозрачный розовый и лимонный рахат-лукум заклеивал рот. На огромных глиняных блюдах были навалены пирамиды засахаренных груш, слив и вишен – изделия знаменитого киевского кондитера Балабухи.

На разостланных в грязи рогожах стояли рядами грубо вырезанные из дерева и раскрашенные липкой краской солдатики – казаки в папахах и шароварах с малиновыми лампасами, барабанщики со зверски выпученными глазами и трубачи с пышными кистями на трубах. Кучами были свалены глиняные свистульки.

Веселые старики толкались в толпе, выхваляя «тещины языки» и «морского жителя». Это была заманчивая игрушка. В стеклянной узкой банке нырял и переворачивался в воде черный мохнатый чертик.

Множество звуков оглушало нас – выкрики продавцов, лягг кованых дрог, великопостный звон из Братского монастыря, писк резиновых чертиков, свист свистулек и вопли мальчишек на карусели.

За приплату карусель вертели так быстро, что все превращалось в пеструю смесь оскаленных лошадиных морд из папье-маше, галстуков, сапог, вздувшихся юбок, разноцветных подвязок, кружев, платков. Иногда в лицо зрителям летели, как пули, стеклянные бусы от чьего-нибудь разорванного стремительным вращением мониста.

Паноптикума я побаивался, особенно восковых фигур.

Убитый французский президент Карно лежал, улыбаясь, на полу во фраке со звездой. Неестественно густая кровь, похожая на красный вазелин, стекала у него по пластрону. Казалось, Карно был доволен, что умер так эффектно.

Восковая царица Клеопатра прижимала к твердой зеленоватой груди черную змею.

Русалка с лиловыми глазами лежала в цинковой ванне. В грязной чешуе русалки отражалась тусклая электрическая лампочка. Вода в ванне была мутная.

В открытом сундуке, обтянутом проволоочной сеткой, среди ватных одеял спал удав. Он изредка перебирал мускулами, и зрители шарахались.

Чучело гориллы, окруженное листвой из крашенных стружек, уносило в лесную чащу бесчувственную девушку с распущенными золотыми волосами.

Каждый желающий мог за три копейки выстрелить в эту гориллу из монтекристо и спасти девушку. Если он попадал в кружок на груди у обезьяны, она роняла тряпичную девушку на пол. От девушки густо подымалась пыль.

После этого гориллу на минуту задерживали ситцевой занавеской, и потом она опять появлялась, все так же свирепо увлакивая девушку в те же самые выцветшие лесные чащи.

Мы любили Контрактную ярмарку еще и за то, что она предвещала близкую Пасху, поездку к бабушке в Черкасы, а потом – всегда прекрасную и необыкновенную киевскую нашу весну.

## Гардемарин

Весна в Киеве начиналась с разлива Днепра. Стоило только выйти из города на Владимирскую горку, и тотчас перед глазами распахивалось голубоватое море.

Но, кроме разлива Днепра, в Киеве начинался и другой разлив – солнечного сияния, свежести, теплого и душистого ветра.

На Бибикивском бульваре распускались клейкие пирамидальные тополя. Они наполняли окрестные улицы запахом ладана. Каштаны выбрасывали первые листья – прозрачные, измятые, покрытые рыжеватым пухом.

Когда на каштанах расцветали желтые и розовые свечи, весна достигала разгара. Из вековых садов вливались в улицы волны прохлады, сыроватое дыхание молодой травы, шум недавно распутившихся листьев.

Гусеницы ползали по тротуарам даже на Крещатике. Ветер сдувал в кучи высохшие лепестки. Майские жуки и бабочки залетали в вагоны трамваев. По ночам в палисадниках пели соловьи. Тополевый пух, как черноморская пена, накатывался прибоем на панели. По краям мостовых желтели одуванчики.

Над открытыми настежь окнами кондитерской и кофейен натягивали полосатые тенты от солнца. Сирень, обрызганная водой, стояла на ресторанных столиках. Молодые киевлянки искали в гроздьях сирени цветы из пяти лепестков. Их лица под соломенными летними шляпками приобретали желтоватый матовый цвет.

Наступало время киевских садов. Весной я все дни напролет пропадал в садах. Я играл там, учил уроки, читал. Домой приходил только обедать и ночевать.

Я знал каждый уголок огромного Ботанического сада с его оврагами, прудом и густой тенью столетних липовых аллей.

Но больше всего я любил Мариинский парк в Липках около дворца. Он нависал над Днепром. Стены лиловой и белой сирени высотой в три человеческих роста звенели и качались от множества пчел. Среди лужаек били фонтаны.

Широкий пояс садов тянулся над красными глинистыми обрывами Днепра – Мариинский и Дворцовый парки, Царский и Купеческий сады. Из Купеческого сада открывался прославленный вид на Подол. Киевляне очень гордились этим видом. В Купеческом саду все лето играл симфонический оркестр. Ничто не мешало слушать музыку, кроме протяжных пароходных гудков, доносившихся с Днепра.

Последним садом на днепровском берегу была Владимирская горка. Там стоял памятник князю Владимиру с большим бронзовым крестом в руке. В крест ввинтили электрические лампы. По вечерам их зажигали, и огненный крест висел высоко в небе над киевскими кручами.

Город был так хорош весной, что я не понимал маминого пристрастия к обязательным воскресным поездкам в дачные места – Боярку, Пущу Водицу или Дарницу. Я скучал среди однообразных дачных участков Пущи Водицы, равнодушно смотрел в боярском лесу на чахлую аллею поэта Надсона и не любил Дарницу за вытопанную землю около сосен и сыпучий песок, перемешанный с окурками.

Однажды весной я сидел в Мариинском парке и читал «Остров сокровищ» Стивенсона. Сестра Галя сидела рядом и тоже читала. Ее летняя шляпа с зелеными лентами лежала на скамейке. Ветер шевелил ленты.

Галя была близорукая, очень доверчивая, и вывести ее из добродушного состояния было почти невозможно.

Утром прошел дождь, но сейчас над нами блистало чистое небо весны. Только с сирени слетали запоздалые капли дождя.

Девочка с бантами в волосах остановилась против нас и начала прыгать через веревочку. Она мне мешала читать. Я потряс сирень. Маленький дождь шумно посыпался на девочку и на Галю. Девочка показала мне язык и убежала, а Галя стряхнула с книги капли дождя и продолжала читать.

И вот в эту минуту я увидел человека, который надолго отравил меня мечтами о несбыточном моем будущем.

По аллее легко шел высокий гардемарин с загорелым спокойным лицом. Прямой черный палаш висел у него на лакированном поясе. Черные ленточки с бронзовыми якорями развевались от тихого ветра. Он был весь в черном. Только яркое золото нашивок оттеняло его строгую форму.

В сухопутном Киеве, где мы почти не видели моряков, это был пришелец из далекого легендарного мира крылатых кораблей, фрегата «Паллада», из мира всех океанов, морей, всех портовых городов, всех ветров и всех очарований, какие связаны были с живописным трудом мореплавателей. Старинный палаш с черным эфесом как будто появился в Мариинском парке прямо со страниц Стивенсона.

Гардемарин прошел мимо, хрустя по песку. Я поднялся и пошел за ним. Галя по близорукости не заметила моего исчезновения.

Вся моя мечта о море воплотилась в этом человеке. Я часто воображал себе моря, туманные и золотые от вечернего штиля, далекие плаванья, когда весь мир сменяется, как быстрый калейдоскоп, за стеклами иллюминатора. Боже мой, если бы кто-нибудь догадался подарить мне хотя бы кусок окаменелой ржавчины, отбитой от старого якоря! Я бы хранил его, как драгоценность.

Гардемарин оглянулся. На черной ленточке его бескозырки я прочел загадочное слово: «Азимут». Позже я узнал, что так назывался учебный корабль Балтийского флота.

Я шел за ним по Елизаветинской улице, потом по Институтской и Николаевской. Гардемарин изящно и небрежно отдавал честь пехотным офицерам. Мне было стыдно перед ним за этих мешковатых киевских вояк.

Несколько раз гардемарин оглядывался, а на углу Меринговской остановился и подозвал меня.

– Мальчик, – спросил он насмешливо, – почему вы тащитесь за мной на буксире?

Я покраснел и ничего не ответил.

– Все ясно: он мечтает быть моряком, – догадался гардемарин, говоря почему-то обо мне в третьем лице.

– Я близорукий, – ответил я упавшим голосом.

Гардемарин положил мне на плечо худую руку:

– Дойдем до Крещатика.

Мы пошли рядом. Я боялся поднять глаза и видел только начищенные до невероятного блеска крепкие ботинки гардемарина.

На Крещатике гардемарин зашел со мной в кофейную Семадени, заказал две порции фисташкового мороженого и два стакана воды. Нам подали мороженое на маленький трехногий столик из мрамора. Он был очень холодный и весь исписан цифрами: у Семадени собирались биржевые дельцы и подсчитывали на столиках свои прибыли и убытки.

Мы молча съели мороженое. Гардемарин достал из бумажника фотографию великолепного корвета с парусной оснасткой и широкой трубой и протянул мне:

– Возьмите на память. Это мой корабль. Я ходил на нем в Ливерпуль.

Он крепко пожал мне руку и ушел. Я посидел еще немного, пока на меня не начали оглядываться потные соседи в канотье. Тогда я неловко вышел и побежал в Мариинский парк. Скамейка была пуста. Галя ушла. Я догадался, что гардемарин меня пожалел, и впервые узнал, что жалость оставляет в душе горький осадок.



После этой встречи желание сделаться моряком мучило меня много лет. Я рвался к морю. Первый раз я видел его мельком в Новороссийске, куда ездил на несколько дней с отцом. Но этого было, конечно, недостаточно.

Часами я просиживал над Атласом, рассматривал побережья океанов, выискивал неизвестные приморские городки, мысы, острова, устья рек.

Я придумал сложную игру. Я составил длинный список пароходов со звучными именами: «Полярная звезда», «Вальтер Скотт», «Хинган», «Сириус». Список этот разбухал с каждым днем. Я был владельцем самого большого флота в мире.

Конечно, я сидел у себя в пароходной конторе, в дыму сигар, среди пестрых плакатов и расписаний. Широкие окна выходили, естественно, на набережную. Желтые мачты пароходов торчали около самых окон, а за стенами шумели добродушные вязаы. Пароходный дым развязно влетал в окна, смешиваясь с запахом гнилого рассола и новеньких, веселых рогож.

Я придумал для своих пароходов список удивительнейших рейсов. Не было самого забытого уголка земли, куда бы они не заходили. Они посещали даже остров Тристан д'Акуню.

Я снимал пароходы с одного рейса и посылал в другой. Я следил за плаваньем своих кораблей и безошибочно знал, где находится сегодня «Адмирал Истомин», а где – «Летучий голландец»: «Истомин» грузит бананы в Сингапуре, а «Летучий голландец» разгружает муку на Фаррерских островах.

Для того чтобы руководить таким обширным пароходным предприятием, мне понадобилось много знаний. Я зачитывался путеводителями, судовыми справочниками и всем, что имело хотя бы отдаленное касательство к морю.

Тогда впервые я услышал от мамы слово «менингит».

– Он дойдет бог знает до чего со своими играми, – сказала однажды мама. – Как бы все это не кончилось менингитом.

Я слышал, что менингит – это болезнь мальчиков, которые слишком рано научились читать. Поэтому я только усмехнулся на мамины страхи.

Все окончилось тем, что родители решили поехать всей семьей на лето к морю.

Теперь я догадываюсь, что мама надеялась вылечить меня этой поездкой от чрезмерного увлечения морем. Она думала, что я буду, как это обычно случается, разочарован от непосредственного столкновения с тем, к чему я так страстно стремился в мечтах. И она была права, но только отчасти.

## Как выглядит рай

Однажды мама торжественно объявила, что на днях мы на все лето уезжаем на Черное море, в маленький городок Геленджик, вблизи Новороссийска.

Нельзя было, пожалуй, выбрать лучшего места, чем Геленджик, для того, чтобы разочаровать меня в моем увлечении морем и югом.

Геленджик был тогда очень пыльным и жарким городком без всякой растительности. Вся зелень на много километров вокруг была уничтожена жестокими новороссийскими ветрами – норд-остами. Только колючие кусты держидерева и чахлая акация с желтыми сухими цветочками росли в палисадниках. От высоких гор тянуло зноем. В конце бухты дымил цементный завод.

Но геленджикская бухта была очень хороша. В прозрачной и теплой ее воде плавали, как розовые и голубые цветы, большие медузы. На песчаном дне лежали пятнистые камбалы и пучеглазые бычки. Прибой выбрасывал на берег красные водоросли, гнилые поплавки-балберки от рыбачьих сетей и обкатанные волнами куски темно-зеленых бутылок.

Море после Геленджика не потеряло для меня своей прелести. Оно сделалось только более простым и тем самым более прекрасным, чем в моих нарядных мечтах.

В Геленджике я подружился с пожилым лодочником Анастасом. Он был грек, родом из города Воло. У него была новая парусная шляпка, белая с красным килем и вымытым до седины решетчатым настилом.

Анастас катал на шляпке дачников. Он славился ловкостью и хладнокровием, и мама иногда отпускала меня одного с Анастасом.

Однажды Анастас вышел со мной из бухты в открытое море. Я никогда не забуду того ужаса и восторга, какие я испытал, когда парус, надувшись, накренил шляпку так низко, что вода понеслась на уровне борта. Шумящие огромные валы покатались навстречу, просвечивая зеленью и обдавая лицо соленой пылью.

Я схватился за ванты, мне хотелось обратно на берег, но Анастас, зажав трубку зубами, что-то мурлыкал, а потом спросил:

– Почем твоя мама отдала за эти чувяки? Ай, хороши чувяки!

Он кивнул на мои мягкие кавказские туфли – чувяки. Ноги мои дрожали. Я ничего не ответил. Анастас зевнул и сказал:

– Ничего! Маленький душ, теплый душ. Обедать будешь с аппетитом. Не надо будет просить – скушай за папу-маму!

Он небрежно и уверенно повернул шляпку. Она зачерпнула воду, и мы помчались в бухту, ныряя и выскакивая на гребни волн. Они уходили из-под кормы с грозным шумом. Сердце у меня падало и обмирало.

Неожиданно Анастас запел. Я перестал дрожать и с недоумением слушал эту песню:

От Батума до Сухума —  
Ай-вай-вай!  
От Сухума до Батума —  
Ай-вай-вай!  
Бежал мальчик, тащил ящик —  
Ай-вай-вай!  
Упал мальчик, разбил ящик —  
Ай-вай-вай!

Под эту песню мы спустили парус и с разгона быстро подошли к пристани, где ждала бледная мама. Анастас поднял меня на руки, поставил на пристань и сказал:

– Теперь он у вас соленый, мадам. Уже имеет к морю привычку.

Однажды отец нанял линейку, и мы поехали из Геленджика на Михайловский перевал.

Сначала щебенчатая дорога шла по склону голых и пыльных гор. Мы проезжали мосты через овраги, где не было ни капли воды. На горах весь день лежали, зацепившись за вершины, одни и те же облака из серой сухой ваты.

Мне хотелось пить. Рыжий извозчик-казак оборачивался и говорил, чтобы я повременил до перевала, – там я напьюсь вкусной и холодной воды. Но я не верил извозчику. Сухость гор и отсутствие воды пугали меня. Я с тоской смотрел на темную и свежую полоску моря. Из него нельзя было напиться, но, по крайней мере, можно было выкупаться в его прохладной воде.

Дорога подымалась все выше. Вдруг в лицо нам потянуло свежестью.

– Самый перевал! – сказал извозчик, остановил лошадей, слез и подложил под колеса железные тормоза.

С гребня горы мы увидели огромные и густые леса. Они волнами тянулись по горам до горизонта. Кое-где из зелени торчали красные гранитные утесы, а вдали я увидел вершину, горевшую льдом и снегом.

– Норд-ост сюда не достигает, – сказал извозчик. – Тут рай!

Линейка начала спускаться. Тотчас густая тень накрыла нас. Мы услышали в непролазной чаще деревьев журчание воды, свист птиц и шелест листвы, взволнованной полуденным ветром.

Чем ниже мы спускались, тем гуще делался лес и тенистее дорога. Прозрачный ручей уже бежал по ее обочине. Он перемывал разноцветные камни, задевал своей струей лиловые цветы и заставлял их кланяться и дрожать, но не мог оторвать от каменистой земли и унести с собою вниз, в ущелье.

Мама набрала воды из ручья в кружку и дала мне напиться. Вода была такая холодная, что кружка тотчас покрылась потом.

– Пахнет озоном, – сказал отец.

Я глубоко вздохнул. Я не знал, чем пахло вокруг, но мне казалось, что меня завалили ворохом веток, смоченных душистым дождем.

Лианы цеплялись за наши головы. И то тут, то там на откосах дороги высовывался из-за камня какой-нибудь мохнатый цветок и с любопытством смотрел на нашу линейку и на серых лошадей, задравших головы и выступавших торжественно, как на параде, чтобы не сорваться вскачь и не раскатить линейку.

– Вон ящерица! – сказала мама.

– Где?

– Вон там. Видишь орешник? А налево – красный камень в траве. Смотри выше. Видишь желтый венчик? Это азалия. Чуть правее азалии, на поваленном буке, около самого корня. Вон, видишь такой мохнатый рыжий корень в сухой земле и каких-то крошечных синих цветах? Так вот рядом с ним.

Я увидел ящерицу. Но пока я ее нашел, я проделал чудесное путешествие по орешнику, красному камню, цветку азалии и поваленному буку.

«Так вот он какой, Кавказ!» – подумал я.

– Тут рай! – повторил извозчик, сворачивая с шоссе на травянистую узкую просеку в лесу. – Сейчас распряжем коней, будем купаться.

Мы въехали в такую чашу и ветки так били нас по лицу, что пришлось остановить лошадей, слезть с линейки и идти дальше пешком. Линейка медленно ехала следом за нами.

Мы вышли на поляну в зеленом ущелье. Как белые острова, стояли в сочной траве толпы высоких одуванчиков. Под густыми буками мы увидели старый пустой сарай. Он стоял на берегу шумной горной речонки. Она туго переливала через камни прозрачную воду, шипела и увлакивала вместе с водой множество воздушных пузырей.

Пока извозчик распрягал лошадей и ходил с отцом за хворостом для костра, мы умылись в реке. Лица наши после умывания горели жаром.

Мы хотели тотчас идти вверх по реке, но мама расстелила на траве скатерть, достала провизию и сказала, что, пока мы не поедем, она никуда нас не пустит.

Я, давясь, съел бутерброды с ветчиной и холодную рисовую кашу с изюмом, но оказалось, что я совершенно напрасно торопился – упрямый медный чайник никак не хотел закипать на костре. Должно быть, потому, что вода из речушки была совершенно ледяная.

Потом чайник вскипел так неожиданно и бурно, что залил костер. Мы напились крепкого чая и начали торопить отца, чтобы идти в лес. Извозчик сказал, что надо быть настороже, потому что в лесу много диких кабанов. Он объяснил нам, что если мы увидим вырытые в земле маленькие ямы, то это и есть места, где кабаны спят по ночам.

Мама заволновалась – идти с нами она не могла, у нее была одышка, – но извозчик успокоил ее, заметив, что кабана нужно нарочно раздражить, чтобы он бросился на человека.

Мы ушли вверх по реке. Мы продирались сквозь чащу, поминутно останавливались и звали друг друга, чтобы показать гранитные бассейны, выбитые рекой, – в них синими искрами проносилась форель, – огромных зеленых жуков с длинными усами, пенистые ворчливые водопады, хвощи выше нашего роста, заросли лесной анемоны и полянки с пионами.

Боря наткнулся на маленькую пыльную яму, похожую на детскую ванну. Мы осторожно обошли ее. Очевидно, это было место ночевки дикого кабана.

Отец ушел вперед. Он начал звать нас. Мы пробрались к нему сквозь крушину, обходя огромные мшистые валуны.

Отец стоял около странного сооружения, заросшего ежевикой. Четыре гладко обтесанных исполинских камня были накрыты, как крышей, пятым обтесанным камнем. Получался каменный дом. В одном из боковых камней было пробито отверстие, но такое маленькое, что даже я не мог в него пролезть. Вокруг было несколько таких каменных построек.

– Это долмены, – сказал отец. – Древние могильники скифов. А может быть, это вовсе и не могильники. До сих пор ученые не могут узнать, кто, для чего и как строил эти долмены.

Я был уверен, что долмены – это жилища давно вымерших карликовых людей. Но я не сказал об этом отцу, так как с нами был Боря: он поднял бы меня на смех.

В Геленджик мы возвращались совершенно сожженные солнцем, пьяные от усталости и лесного воздуха. Я уснул и сквозь сон почувствовал, как на меня дохнуло жаром, и услышал отдаленный ропот моря.

С тех пор я сделался в своем воображении владельцем еще одной великолепной страны – Кавказа. Началось увлечение Лермонтовым, абреками, Шамилем. Мама опять встревожилась.

Сейчас, в зрелом возрасте, я с благодарностью вспоминаю о детских своих увлечениях. Они научили меня многому.

Но я был совсем не похож на захлебывающихся слюной от волнения шумных и увлекающихся мальчиков, никому не дающих покоя. Наоборот, я был очень застенчивый и со своими увлечениями ни к кому не приставал.

## Брянские леса

Осенью 1902 года я должен был поступить в подготовительный класс Первой киевской гимназии. В ней учился мой средний брат, Вадим. После его рассказов я начал бояться гимназии, иногда даже плакал и просил маму оставить меня дома.

– Неужели ты хочешь быть экстерном? – испуганно спрашивала мама.

Экстернами назывались те мальчики, что учились дома и только каждый год сдавали экзамены при гимназии.

Со слов братьев я хорошо представлял себе кошмарную судьбу этих экстернов. Их нарочно проваливали на экзаменах, всячески издевались над ними, требовали от них гораздо больше знаний, чем от обыкновенных гимназистов. Ниоткуда экстернам не было помощи. Им даже не подсказывали.

Я представлял себе этих истощенных от зубрежки, заплаканных мальчиков с красными от волнения, оттопыренными ушами. Зрелище было жалкое. Я сдавался и говорил:

– Ну хорошо, я не буду экстерном.

– Кисейная барышня! – кричал из своей комнаты Боря. – Нюня!

– Не смей его обижать! – вскипала мама.

Она считала Борю бессердечным и все удивлялась, откуда у него такой черствый характер. Очевидно, от бабки-турчанки. Вся остальная наша семья отличалась необыкновенной отзывчивостью, привязчивостью к людям и непрактичностью.

Отец знал о моих страхах, слезах и волнениях и нашел, как всегда, неожиданное лекарство от этих бед. Он решил после легкой стычки с мамой отправить меня одного к моему дяде, маминому брату Николаю Григорьевичу.

Это был тот самый веселый юнкер, дядя Коля, что приезжал к бабушке в Черкассы из Петербурга и любил танцевать вальс с тетей Надей. Сейчас он уже сделался военным инженером, женился и служил в городе Брянске Орловской губернии, на старинном артиллерийском лафетном заводе. Завод этот назывался арсеналом.

На лето дядя Коля снял дачу около Брянска, в старом, запущенном имении Рёвны в Брянских лесах, и звал нас всех приехать туда же. Родители согласились. Но они не могли уехать раньше, чем у сестры и братьев окончатся экзамены. Меня послали вперед одного.

– Пусть привыкает, – сказал отец. – Это полезно для таких стеснительных мальчиков.

Отец написал дяде Коле письмо. Что он в нем писал, я не знаю. Мама, украдкой вытирая слезы, сложила мне маленький чемодан, где ничего не было забыто и лежала записка со всякими наставлениями.

Мне взяли билет во втором классе до станции Синезерки. Дядина дача была в десяти верстах от этой станции.

На вокзал меня провожали все, даже Боря. Отец о чем-то поговорил с седоусым проводником и дал ему денег.

– Довезу, как пушинку, – сказал проводник маме. – Не извольте волноваться, сударыня.

Мама попросила соседей по купе присматривать за мной и не позволять мне выходить на станциях. Соседи охотно согласились. Я очень стеснялся и осторожно тянул маму за рукав.

После второго звонка все расцеловали меня, даже Боря, хотя он тут же, незаметно для остальных, дал мне так называемую «грушу» – больно ковырнул меня большим пальцем по макушке.

Все вышли из вагона на платформу. Но мама все не могла уйти. Она держала меня за руки и говорила:

– Будь хорошим. Слышишь? Будь умным мальчиком. И очень осторожным.

Она смотрела на меня испытующими глазами. Пробил третий звонок. Она обняла меня и быстро, шурша платьем, пошла к выходу. Она соскочила почти на ходу. Отец подхватил ее и покачал головой.

Я стоял у закрытого окна, смотрел, как мама впереди всех быстро шла по платформе, и только сейчас увидел, какая она красивая, маленькая, ласковая. Мои слезы капали на пыльную раму.

Я долго смотрел в окно, хотя уже не видно было ни мамы, ни платформы, а за окном проносились товарные пути, крикливые маневровые паровозы и проплывал, как бы вращаясь, готический новый костел на Васильковской улице. Я боялся оглянуться, чтобы соседи по купе не заметили моих заплаканных глаз. Потом я вспомнил, что дяде Коле послали телеграмму о моем приезде. Легкая гордость оттого, что обо мне послали настоящую телеграмму, немного успокоила меня, и я обернулся.

Купе было обито красным бархатом. В нем было тесно и уютно. Пыльные зайчики от солнца все сразу, будто по команде, начинали быстро переползать из одного угла купе в другой, а потом так же быстро ползли обратно – поезд вырывался из путаницы киевских предместий и шел по закруглениям.

Меня устроили в дамское купе. На этом настояла мама. Я осторожно осмотрел своих спутниц. Одна из них, черная, сухая француженка, быстро закивала мне, улыбнулась, показав лошадиные зубы, и протянула коробку с мармеладом. Я не знал, что делать, но поблагодарил и взял мармелад, испачкав руки.

– Клади его скорей в рот! – сказала вторая спутница – гимназистка лет шестнадцати, в коричневом форменном платье, с раскосыми веселыми глазами. – Жуй, не задумывайся!

Француженка, очевидно гувернантка, что-то строго сказала гимназистке по-французски. Гимназистка тотчас сгримасничала, и тогда француженка начала говорить по-французски быстро, сердито и долго. Гимназистка, не дослушав, встала и вышла в коридор.

– Ох, молодежь! – сказала третья моя спутница, маленькая толстая старушка со ртом, похожим на баранку. За ее спиной в плетеной сумочке висели баранки, посыпанные маком. – Ох уж эта мне молодежь!

– О-о! – закивала француженка. – Это одно непослушание. Один фиф! Один каприз!

Что значило слово «фиф», я не знал, но догадался, что это что-то плохое, потому что старушка подняла глаза к потолку и так тяжело вздохнула, что даже француженка взглянула на нее с интересом.

Мне хотелось смотреть в окно, и я вышел в коридор. Гимназистка уже стояла у открытого окна.

– А, Витя! – сказала она мне. – Становись рядом, будем смотреть.

– Я не Витя, – ответил я, краснея.

– Все равно становись.

Я влез на карниз отопления и высунулся в окно. Поезд шел по мосту через Днепр. Я увидел Лавру, далекий Киев и мелкий Днепр, успевший намыть около устоев моста песчаные острова.

– Чертова хрычовка! – сказала гимназистка. – Мадам Демифам! Но, в общем, ты ее не бойся. Она добрая старушенция.

Я очень устал от этой своей первой поездки, потому что всю дорогу, кроме ночей, простоял около открытого окна. Но я был счастлив. Я впервые испытывал ту путевую беззаботность, когда ни о чем не надо думать, а только смотреть за окно на ржаные поля, рощи, маленькие станции, где босые бабы продают молоко, на речонки, стрелочников, начальников станций в пыльных красных фуражках, гусей, деревенских ребят, что бегут за поездом и кричат: «Дяденька, кинь копейку!»

Дорога на Брянск была тогда круговая и длинная – через Львов и Навлю. Только на третий день поезд пришел в Синезерки.

Он шел не торопясь, подолгу стоял на станциях, отдувался около водокачек. Пассажиры выскакивали, бежали за кипятком и в буфет, покупали у баб землянику и жареных цыплят. Потом все успокаивались. Давно было пора ехать, на станции воцарялась сонная тишина, жгло солнце, плыли облака, волоча по земле синюю тень, пассажиры дремали, а поезд все стоял и стоял. Только паровоз громко вздыхал, и из него капала на песок горячая маслянистая вода.

Наконец из станции выходил толстый обер-кондуктор в парусиновом сюртуке, вытирал усы, прикладывал ко рту свисток и залиvisto свистел. Паровоз не отвечал, все так же отдуваясь. Тогда обер-кондуктор лениво шел к паровозу и снова свистел. Паровоз не откликался. Только на третий или четвертый свисток он наконец огрызнулся коротким недовольным гудком и медленно трогался.

Я высовывался из окна, потому что знал: сейчас же за семафором пойдут откосы, заросшие клевером и колокольчиками, а потом сосновый лес. Когда поезд входил в него, стук колес делался гораздо громче, его подхватывало эхо, будто по всему лесу начинали стучать молотками веселые кузнецы.

Я впервые видел Среднюю Россию. Она мне нравилась больше Украины. Она была пустыннее, просторнее и глуше. Мне нравились ее леса, заросшие дороги, разговоры крестьян.

Старушка-соседка все время спала. Французенка успокоилась и вязала кружево, а гимназистка пела, высунувшись из окна, и ловко срывала листья с деревьев, пролетающих около поезда.

Через каждые два часа она доставала корзину с едой, долго ела и заставляла есть и меня. Мы ели крутые яйца, жареную курицу, пирожки с рисом и пили чай.

Потом мы снова висели в окне, дурея от запаха цветущей гречихи. Тень от поезда бежала, постукивая, по полям, а вагон был залит таким оранжевым заходящим солнцем, что в нашем купе, как в огненном тумане, ничего нельзя было разобрать.

В Синезерки поезд пришел в сумерки. Проводник вынес мой чемодан на платформу. Я ждал, что меня встретит дядя Коля или его жена, тетя Маруся. Но на платформе никого не было. Мои соседки встревожились.

Поезд стоял в Синезерках одну минуту. Он ушел, а я остался около своего чемодана. Я был уверен, что дядя Коля опоздал и сейчас приедет.

Ко мне подошел, ковыляя, бородатый крестьянин в пиджаке, в черном картузе, с кнутом, засунутым за голенище. От него пахло лошадиным потом и сеном.

– Это ты и есть Костик? – спросил он меня. – А я тебя дождаюсь. Дядя-капитан приказали тебя встретить и доставить в сохранности. Давай сундучок, пойдем.

Это было последнее испытание, приготовленное мне отцом. Он написал дяде Коле, чтобы никто меня не встречал в Синезерках.

Возница – его звали Никитой, – что-то бормоча о дяде моем, капитане, усадил меня в телегу, в мягкое сено, покрытое рядом, отвязал торбу с овсом, сел на облучок, и мы поехали.

Сначала мы долго ехали по вечеряющему полю. Потом дорога пошла по взгорью среди лесов. Иногда телега скатывалась на деревянный мост, и под ним блестела черная болотная вода. Тянуло сыростью, запахом осоки. За лесами и низкими чащами поднялась багровая мертвая луна, прогудела выпь, и Никита сказал:

– Наша сторона лесистая, безлюдная. Здесь корья и воды много. Самая это духовитая местность во всей Орловской губернии.

Мы въехали в сосновый бор, стали спускаться по крутому изволоку к какой-то реке. Сосны закрыли луну, совсем стемнело. На дороге слышались голоса. Мне стало немного страшно.

– Ты, Никита? – крикнул из темноты знакомый дядин голос.

– Тпру-у! – отчаянно закричал Никита, сдерживая лошадей. – Известно, мы! Тпру, леший тебя раздери!

Кто-то схватил меня, снял с телеги, и я увидел в неясном свете заката смеющиеся глаза дяди Коли и белые его зубы. Он поцеловал меня и тотчас передал тете Марусе.

Она тормошила меня, смеялась своим грудным смехом, и от нее пахло ванилью, – должно быть, она недавно возилась со сладким тестом.

Мы сели на телегу, а Никита пошел рядом.

Мы проехали старый черный мост через чистую, глубокую реку, всю в зарослях, потом второй мост. Под ним тяжело ударила рыба. Наконец телега въехала, зацепившись за каменный столб у ворот, в такой темный и высокий парк, что казалось, деревья запутались своими вершинами среди звезд.

В самой гуще парка, под шатрами непроглядных лип, телега остановилась около маленького деревянного дома с освещенными окнами. Две собаки, белая и черная – Мордан и Четвертак, – начали лаять на меня и прыгать, стараясь лизнуть в лицо.

Все лето я прожил в Рёвках, в бывшем потемкинском поместье, среди дремучих Брянских лесов, рек, кротких орловских крестьян, в старинном и таком обширном парке, что никто не знал, где он кончается и переходит в лес.

Это было последнее лето моего настоящего детства. Потом началась гимназия. Семья наша распалась. Я рано остался один и в последних классах гимназии уже сам зарабатывал на жизнь и чувствовал себя совершенно взрослым.

С этого лета я навсегда и всем сердцем привязался к Средней России. Я не знаю страны, обладающей такой огромной лирической силой и такой трогательно живописной – со всей своей грустью, спокойствием и простором, – как средняя полоса России. Величину этой любви трудно измерить. Каждый знает это по себе. Любишь каждую травинку, поникшую от росы или согретую солнцем, каждую кружку воды из лесного колодца, каждое деревцо над озером, трепещущее в безветрии листьями, каждый крик петуха и каждое облако, плывущее по бледному и высокому небу.

И если мне хочется иногда жить до ста двадцати лет, как предсказывал дед Нечипор, то только потому, что мало одной жизни, чтобы испытать до конца все очарование и всю исцеляющую силу нашей русской природы.

Детство кончалось. Очень жаль, что всю прелесть детства мы начинаем понимать, когда делаемся взрослыми. В детстве все было другим. Светлыми и чистыми глазами мы смотрели на мир, и все нам казалось гораздо более ярким.

Ярче было солнце, сильнее пахли поля, громче был гром, обильнее дожди и выше трава. И шире было человеческое сердце, острее горе и в тысячу раз загадочнее была земля, родная земля – самое великолепное, что нам дано для жизни. Ее мы должны возделывать, беречь и охранять всеми силами своего существа.



## Кишата

Я не завидовал, как другие мальчишки, тому, что киевские кадеты носили белые погоны с желтыми вензелями и становились во фронт перед генералами. Не завидовал я и гимназистам, хотя их шинели из серого офицерского сукна, с серебряными пуговицами, считались очень красивыми. С детства я был равнодушен ко всякой форменной одежде, кроме морской.

Когда осенью 1902 года я впервые надел длинные брюки и гимназическую курточку, мне было неловко, неудобно, и я на время перестал чувствовать себя самым собой. Я стал для себя чужим мальчиком с тяжелой фуражкой на голове. Я невзлюбил эти твердые синие фуражки с огромным гербом, потому что у всех моих товарищей – учеников приготовительного класса – всегда торчали из-под фуражек оттопыренные уши. Когда они снимали фуражку, уши у них делались обыкновенными. Но стоило им надеть фуражку, как уши тотчас оттопыривались. Будто нарочно для того, чтобы инспектор Бодянский, взяв приготовишку за ухо, мог сказать страшным своим голосом:

– Опять опоздал, мизерабль! Становись в угол и думай о своей горькой судьбе!

Поэтому, как только мама купила мне фуражку, я, подражая старшим братьям, вытащил из нее маленький железный обруч и вырвал атласную подкладку. Такова была традиция – чем больше потрепана фуражка, тем выше гимназическая доблесть. «Только зубрили и подлизы ходят в новых фуражках», – говорили братья.

На фуражке полагалось сидеть, носить ее в кармане и сбивать ею созревшие каштаны. После этого она приобретала тот боевой вид, который был гордостью настоящего гимназиста.

Мне купили еще ранец с шелковистой спинкой из оленьей шкурки, пенал, тетради в клетку, тонкие учебники для приготовительного класса, и мама повела меня в гимназию.

Бабушка Викентия Ивановна в это время гостила у нас в Киеве. Она перекрестила меня и повесила мне на шею крестик на холодной цепочке. Трясущимися руками она расстегнула ворот моей черной курточки, засунула крестик мне под рубаху, отвернулась и прижала платок к глазам.

– Ну, иди! – сказала она глухим голосом и слегка оттолкнула меня. – Будь умным. Трудись!

Я ушел с мамой. Все время я оглядывался на наш дом, будто меня уводили из него навсегда.

Мы жили тогда на тенистой и тихой Никольско-Ботанической улице. Вокруг нашего дома стояли, задумавшись, огромные каштаны. С них уже начали падать сухие пятипалые листья. День был солнечный, очень синий, теплый, но с прохладной тенью – обыкновенный день киевской осени. Бабушка стояла у окна и все время кивала мне, пока мы не повернули на Тарасовскую улицу. Мама шла молча.

Когда мы дошли до Николаевского сквера и я увидел сквозь его зелень желтое здание гимназии, я заплакал. Я, должно быть, понял, что окончено детство, что теперь я должен трудиться и что труд мой будет горек и долог и совсем не будет похож на те спокойные дни, какие я проводил у себя дома...

Я остановился, прижался к маме головой и плакал так сильно, что в ранце за моей спиной подпрыгивал и постукивал пенал, как бы спрашивая, что случилось с его маленьким хозяином. Мама сняла с меня фуражку и вытерла слезы душистым платком.

– Перестань, – сказала она. – Ты думаешь, мне самой легко? Но так надо.

Так надо! Никакие слова не входили до тех пор в мое сознание с такой силой, как эти два слова, сказанные мамой: «Так надо».

Чем старше я становился, тем чаще я слышал от взрослых, что следует жить «так, как надо, а не так, как тебе хочется или нравится». Я долго не мог примириться с этим и спрашивал

взрослых: неужели человек не имеет права жить так, как он хочет, а должен жить только так, как хотят другие? Но в ответ мне говорили, чтобы я не рассуждал о том, чего не понимаю. А мама однажды сказала отцу: «Это все твое анархическое воспитание!» Отец притянул меня к себе, прижал мою голову к своему белому жилету и шутливо сказал:

– Не понимают нас с тобой, Костик, в этом доме.

Когда я успокоился и перестал плакать, мы вошли с мамой в здание гимназии. Широкая чугунная лестница, стертая каблуками до свинцового блеска, вела вверх, где был слышен грозный гул, похожий на жужжание пчелиного роя.

– Не пугайся, – сказала мне мама. – Это большая перемена.

Мы поднялись по лестнице. Впервые мама не держала меня за руку. Сверху быстро спускались два старшекласника. Они уступили нам дорогу. Один из них сказал мне в спину:

– Привели еще одного несчастного кишонка!

Так я вступил в беспокойное и беспомощное общество пригостишек, или, как их презрительно звали старые гимназисты, в общество кишат. Кишатами нас прозвали за то, что мы, маленькие и юркие, кишели и путались на переменах у взрослых под ногами.

Мы прошли с мамой через белый актовый зал с портретами императоров. Особенно запомнился мне Александр Первый. Он прижимал к бедру зеленую треуголку. Рыжеватые баки торчали по сторонам его кошачьего лица. Он мне не понравился, хотя за его спиной скакали по холмам кавалеристы с плюмажами.

Мы прошли через зал в кабинет к инспектору Бодянскому – тучному человеку в просторном, как дамский капот, форменном сюртуке.

Бодянский положил мне на голову пухлую руку, долго думал, потом сказал:

– Учись хорошо, а то съем!

Мама принужденно улыбнулась, Бодянский позвал сторожа Казимира и приказал ему отвести меня в приготовительный класс.

Мама кивнула мне, а Казимир взял меня за плечо и повел по длинным коридорам. Казимир так крепко стискивал мое плечо, будто боялся, что я вырвусь и убегу к маме.

В классах шли уроки. В коридоре было пусто и тихо. Тишина казалась особенно удивительной после неистового гама большой перемены. От перемены осталась пыль. Она плавала в лучах солнца, падавших из сада. Это был знаменитый сад киевской Первой гимназии – столетний парк, занимавший среди города целый квартал.

Я взглянул за окно в сад, и мне опять захотелось заплакать. В саду, просвеченные насквозь солнцем, стояли каштаны. Подсыхающие бледно-лиловые листочки тополей шевелились от ветра.

Уже тогда, мальчиком, я любил сады, деревья. Я не ломал веток и не разорял птичьих гнезд. Может быть, потому, что бабушка Викентия Ивановна всегда говорила мне, что «мир чудо как хорош и человек должен жить в нем и трудиться, как в большом саду».

Казимир заметил, что я собираюсь заплакать, достал из заднего кармана старого, но чистенького сюртука липкую конфету «зубровку» и сказал с польским акцентом:

– Съешь этот цукерок на следующей перемене.

Я поблагодарил его шепотом и взял конфету.

Первые дни в гимназии я вообще говорил шепотом и боялся поднять голову. Все подавляло меня: бородатые преподаватели в синих сюртуках, старинные своды, эхо в бесконечных коридорах и, наконец, директор Бессмертный – пожилой красавец с золотой бородкой, в новеньком форменном фраке.

Он был мягкий, просвещенный человек, но его почему-то полагалось бояться. Может быть, потому, что он сидел в высоком кабинете с портретом хирурга Пирогова, лепными потолками и красным ковром. Директор редко выходил оттуда. Ему мы кланялись по всем правилам, остановившись, тогда как с учителями мы здоровались на ходу.

Казимир вел меня по гулким коридорам. По ним бродили, заглядывая в классы через застекленный верх дверей, надзиратели «Дыня», «Шпонька», «Нюхательный табак» и единственный надзиратель, которого гимназисты любили, – Платон Федорович. Тот коридор, где был приготовительный класс, находился под властью Платона Федоровича. Это спасло меня на первое время от многих неприятностей.

Надзирателям полагалось следить за поведением гимназистов и сообщать инспектору о всяческих их проступках. За этим следовали кары – оставление на час или два «без обеда» (иначе говоря, томительное сидение в пустом классе после конца уроков), четверка по поведению и, наконец, вызов родителей к директору. Мы больше всего боялись этой последней кары.

В старших классах существовали и другие наказания: временное исключение из гимназии, исключение с правом дальнейшего обучения и самое страшное – исключение с «волчьим билетом», без права поступить потом в какую бы то ни было среднюю школу.

Я видел только одного гимназиста-старшеклассника, исключенного с «волчьим билетом». Это было, когда я учился уже в первом классе. Рассказывали, что он дал пощечину преподавателю немецкого языка Ягорскому, грубому человеку с зеленым лицом. Ягорский обозвал его при всем классе болваном. Гимназист потребовал, чтобы Ягорский извинился. Ягорский отказался. Тогда гимназист ударил его. За это он и был исключен с «волчьим билетом».

На следующий день после исключения гимназист пришел в гимназию. Никто из надзирателей не решился его остановить. Он открыл дверь класса, достал из кармана браунинг и направил его на Ягорского.

Ягорский вскочил из-за стола и, закрывшись журналом, побежал между партами, стараясь спрятаться за спинами гимназистов. «Трус!» – крикнул гимназист, повернулся, вышел на площадку лестницы и выстрелил себе в сердце.

Дверь нашего класса выходила на площадку. Мы услышали сухой треск и звон стекла. Что-то упало и покатилося по лестнице. Классный наставник бросился к двери. Мы выбежали вслед за ним.

На лестнице лежал веснушчатый гимназист. Он поднял руку, схватился за лестничную балясину, потом рука разжалась, и он затих. Глаза его смотрели на нас с удивленной улыбкой.

Около гимназиста засуетились надзиратели. Потом быстро вошел директор Бессмертный. Он стал на колени перед гимназистом, расстегнул его куртку, и тогда мы увидели кровь на рубашке. По лестнице уже подымались санитары скорой помощи, в коричневой форме, с французскими кепи на головах. Они быстро положили гимназиста на носилки.

– Уведите сейчас же детей! – сказал директор нашему классному наставнику.

Но тот, должно быть, не расслышал, и мы остались.

Из класса вышел Ягорский и, сгорбившись, пошел в учительскую комнату.

– Прочь! – вдруг сказал ему в спину директор.

Ягорский обернулся.

– Прочь из моей гимназии! – тихо сказал директор.

И Ягорский вдруг побежал, приседая, по коридору.

На следующий день мама не хотела пускать меня в гимназию, но потом раздумала, и я пошел. В гимназии нас распустили после второго урока. Нам сказали, что те из нас, кто хочет, могут пойти на похороны гимназиста.

И мы пошли все – маленькие, испуганные, в длиннополых шинелях, таща за плечами твердые ранцы.

Стоял холодный, туманный день. За гробом шла вся гимназия. Было много цветов в гробу. Директор вел под руку седую, плохо одетую женщину – мать этого гимназиста.

Тогда я еще плохо разбирался в таких житейских случаях, но все же понял, что жизнь дала нам первый урок товарищества. Мы по очереди подходили к могиле и бросали в нее по горсти земли, будто клялись, что всегда будем доброжелательны и справедливы друг к другу.

Но это было гораздо позже, а сейчас Казимир ввел меня в подготовительный класс.

За столом сидел классный наставник Назаренко – громогласный человек с волнистой синей бородой, как у ассирийского царя. Старшеклассники прозвали Назаренко «Науходоносором». Они уверяли, что он служил в охране.

Весь год, до перехода в первый класс, Назаренко мучил нас, малышей, зычным голосом, насмешками, двойками и рассказами, как ему вырезали на ноге ногти, вросшие в мясо. Я боялся его и ненавидел. Больше всего я ненавидел его за рассказы об этой операции.

Я сел на низенькую парту, изрезанную перочинным ножом. Мне было трудно дышать. Кисло пахло чернилами. Назаренко диктовал: «Однажды лебедь, рак да щука...» За открытым окном на ветке сидел воробей и держал в клюве сухой лист клена. Мне хотелось поменяться с воробьем судьбой. Воробей посмотрел через окно в класс, жалобно пискнул и уронил лист клена.

– Новичок, – прогремел Назаренко, – достань тетрадь, пиши и не засматривайся по сторонам, если не хочешь остаться без обеда!

Я достал тетрадку и начал писать. Слеза капнула на промокашку. Тогда мой сосед, черный мальчик с веселыми глазами, Эмма Шмуклер, шепнул:

– Проглоти слюну, тогда пройдет.

Я проглотил слюну, но ничего не прошло. Я долго еще не мог вздохнуть всей грудью.

Так начался первый гимназический год. Пыль, беготня на переменах, постоянный страх, что тебя вызовут к доске, пальцы в чернилах, тяжелый ранец и, как отзвуки потерянной жизни, мелодичные звонки киевских трамваев за окнами, отдаленный свист шарманки и гудки паровозов, долетавшие с вокзала. Оттуда уходили тяжелые поезда и неслись, попыхивая паром, через рощи и скошенные поля, в то время как мы, согнувшись над партами, задыхались от меловой пыли, стертой сухой губкой с классной доски.

Против подготовительного класса был физический кабинет. В него вела узкая дверь. Мы часто заглядывали на переменах в этот кабинет. Там скамьи подымались амфитеатром к потолку.

В физический кабинет водили на уроки старшеклассников. Мы, конечно, кишели в коридоре у них под ногами, и это им, должно быть, надоело. Однажды один из старшеклассников, высокий бледный гимназист, протяжно свистнул. Старшеклассники тотчас начали хватать нас, кишат, и затаскивать в физический кабинет. Они рассаживались на скамьях и держали нас, зажав коленями.

Вначале нам это понравилось. Мы с любопытством рассматривали таинственные приборы на полках – черные диски, колбы и медные шары. Потом в коридоре затрещал первый звонок. Мы начали вырываться. Старшеклассники нас не пускали. Они крепко держали нас, а самым буйным давали так называемые «груши». Для этого надо было винтообразно и сильно ковырнуть большим пальцем по темени. Это было очень больно.

Зловеще затрещал второй звонок. Мы начали рваться изо всех сил, просить и плакать. Но старшеклассники были неумолимы. Бледный гимназист стал около двери.

– Смотри, – кричали ему старшеклассники, – рассчитай точно!

Мы ничего не понимали. Мы были от ужаса. Сейчас будет третий звонок. Назаренко ворвется в пустой подготовительный класс. Гнев его будет страшен. Реки наших слез не смогут смягчить этот гнев.

Затрещал третий звонок. Мы ревели на разные голоса. Бледный гимназист поднял руку. Это значило, что в конце коридора появился физик. Он шел неторопливо, с опаской прислушиваясь к воплям из физического кабинета.

Физик был очень толстый. Он протискивался в узкую дверь боком. На этом и был построен расчет старшеклассников. Когда физик заклинился в дверях, бледный гимназист махнул рукой. Нас отпустили, и мы, обезумевшие, помчались, ничего не видя, не понимая и оглашая рыданиями физический кабинет, к себе в класс. Мы с размаху налетели на испуганного физика. На мгновение у двери закипел водоворот из стриженных детских голов. Потом мы вытолкнули физика, как пробку, из дверей в коридор, прорвались у него между ногами и помчались к себе. К счастью, Назаренко задержался в учительской комнате и ничего не заметил.

Старшеклассникам удалось всего раз проделать над нами эту предательскую штуку. Потом мы были настороже. Когда старшеклассники появлялись в коридоре, мы тотчас прятались к себе в класс, закрывали двери и загораживали их партами.

Развлечение это, стоившее нам стольких слез, придумал бледный гимназист. Его звали Багров. Несколько лет спустя он стрелял из револьвера в Киевском оперном театре в царского министра Столыпина, убил его и был повешен.

На суде Багров держался лениво и спокойно. Когда ему прочли приговор, он сказал:

– Мне совершенно все равно, съем ли я еще две тысячи котлет в своей жизни или не съем.

Взрослые много говорили о Багрове и гадали, был ли он действительно революционером или агентом охраны, устроившей убийство Столыпина в угоду царю (Николай ненавидел Столыпина за то, что не мог сопротивляться его воле). Мой отец утверждал, что человек, произнесший перед смертью такие циничные слова, какие сказал Багров, не мог быть революционером.

## Вода из реки Лимпопо

На столе в классе стояли залитые сургучом бутылки с желтоватой водой. На каждой бутылке была наклейка. На наклейках неровным старческим почерком было написано: «Вода из Нила», «Вода из реки Лимпопо», «Вода из Средиземного моря».

Бутылок было много. В них была вода из Волги, Рейна, Темзы, озера Мичиган, Мертвого моря и Амазонки. Но сколько мы ни разглядывали эту воду, во всех бутылках она была одинаково желтая и скучная на вид.

Мы приставали к учителю географии Черпунову, чтобы он разрешил нам попробовать воду из Мертвого моря. Нам хотелось узнать, действительно ли она такая соленая. Но пробовать воду Черпунов не позволял.

Низенький, с длинной, почти до колен, серой бородой и узкими глазами, Черпунов напоминал колдуна. Недаром и прозвище у него было «Черномор».

Черпунов всегда притаскивал на уроки всяческие редкости. Больше всего он любил приносить бутылки с водой. Он рассказывал, как сам набирал нильскую воду около Каира.

– Смотрите, – он взбалтывал бутылку, – сколько в ней ила. Нильский ил богаче алмазов. На нем расцвела культура Египта. Марковский, объясни классу, что такое культура.

Марковский вставал и говорил, что культура – это выращивание хлебных злаков, изюма и риса.

– Глупо, но похоже на правду! – замечал Черпунов и начинал показывать нам разные бутылки.

Он очень гордился водой из реки Лимпопо. Ее прислал Черпунову в подарок бывший его ученик.

Чтобы мы лучше запоминали всякие географические вещи, Черпунов придумывал разные наглядные способы. Так, он рисовал на классной доске большую букву А. В правом углу он вписывал в эту букву второе А, поменьше, в него – третье, а в третье – четвертое. Потом он говорил:

– Запомните: это – Азия, в Азии – Аравия, в Аравии – город Аден, а в Адене сидит англичанин.

Мы запоминали это сразу и на всю жизнь.

Старшеклассники рассказывали, что на квартире у Черпунова устроен небольшой географический музей, но старик к себе никого не пускает. Там были будто бы чучела колибри, коллекция бабочек, телескоп и даже самородок золота.

Наслушавшись об этом музее, я начал собирать свой музей. Он был, конечно, небогатый, но расцветал в моем воображении, как царство удивительных вещей. Разнообразные истории были связаны с каждой вещью – будь то пуговица румынского солдата или засушенный жук-богомол.

Однажды я встретил Черпунова в Ботаническом саду. Он сидел на мокрой от дождя скамейке и ковырял тростью землю. Я снял фуражку и поклонился.

– Пойди сюда! – подозвал меня Черпунов и протянул мне толстую руку. – Садись, рассказывай. Ты, говорят, собрал маленький музей. Что же у тебя есть?

Я робко перечислил свои незамысловатые ценности. Черпунов усмехнулся.

– Похвально! – сказал он. – Приходи ко мне в воскресенье утром. Посмотришь мой музей. Допускаю, что коль скоро ты этим увлекаешься, то из тебя выйдет географ или путешественник.

– С мамой? – спросил я.

– Что с мамой?

– Прийти к вам с мамой?

– Нет, зачем же, приходи один. Мама не понимают в географии.

В воскресенье я надел новенький гимназический костюм и пошел к Черпунову. Он жил на Печерске, в низеньком флигеле во дворе. Флигель так густо оброс сиренью, что в комнатах было темно.

Была поздняя осень, но сирень еще не пожелтела. С листьев стекал туман. Внизу на Днепре трубили пароходы. Они уходили зимовать в затоны и прощались с Киевом.

Я поднялся на крыльцо и увидел вделанную в стену медную чашечку с круглой рукояткой от звонка. Я потянул рукоятку. Внутри флигеля пропел колокольчик.

Открыл мне сам Черпунов. На нем была серая теплая куртка и войлочные туфли.

Чудеса начались тут же в передней. В овальном зеркале отражался красный от смущения маленький гимназист, пытавшийся расстегнуть озябшими пальцами шинель. Я не сразу понял, что этот гимназист – я сам. Я долго не мог справиться с пуговицами. Я расстегивал их и смотрел на раму от зеркала.

Это была не рама, а венок из стеклянных, бледно окрашенных листьев, цветов и гроздьев винограда.

– Венецианское стекло, – сказал Черпунов, помог мне расстегнуть шинель, снял ее и повесил на вешалку. – Посмотри поближе. Можешь даже потрогать.

Я осторожно прикоснулся к стеклянной розе. Стекло было матовое, будто присыпанное пудрой. В полоске света, падавшей из соседней комнаты, оно просвечивало красноватым огнем.

– Совсем как рахат-лукум, – заметил я.

– Глупо, но похоже на правду, – пробормотал Черпунов.

Я покраснел так, что у меня загло в глазах. Черпунов похлопал меня по плечу:

– Не обижайся. Это у меня такая поговорка. Ну пойдем. Выпьешь с нами чаю.

Я начал отказываться, но Черпунов взял меня за локоть и повел в столовую. Мы вошли в комнату, похожую на сад. Нужно было осторожно отводить листья филодендрона и свисавшие с потолка ветки с красными пахучими шишками, чтобы добраться до своего места за столом. Веерная пальма нависала над белой скатертью. На подоконниках теснились вазоны с розовыми, желтыми и белыми цветами.

Я сел за стол, но тотчас вскочил. В столовую быстро вошла, шурша платьем, невысокая молодая женщина с блестящими серыми глазами.

– Вот, Маша, – кивнул на меня Черпунов, – это тот гимназистик, про которого я рассказывал. Сын Георгия Максимовича. Конфузится, конечно.

Женщина протянула мне руку. Зазвенел браслет.

– Неужели вы ему будете все объяснять, Петр Петрович? – спросила она, разглядывая меня и усмехаясь.

– Да, после чая.

– Тогда я схожу на это время в город. В кондитерскую. К Кирхгейму. Мне надо кое-что купить.

– Как хочешь.

Женщина налила мне чаю с лимоном и пододвинула вазу с венскими булочками:

– Набирайтесь сил перед лекцией.

После чая Черпунов закурил папиросу. Пепел он стряхивал в раковину, покрытую окаменелой пеной нежнейшего розового цвета. Вторая такая же раковина стояла рядом.

– Это раковина из Новой Гвинеи, – заметил Черпунов.

– Ну прощайте! – громко сказала молодая женщина, встала и вышла.

– Итак, – промолвил Черпунов, проводил ее глазами, а потом показал мне на портрет на стене. Он изображал бородатого человека с изможденным лицом. – Ты знаешь, кто это? Один из лучших русских людей. Путешественник Миклухо-Маклай. Он был великим гумани-

стом. Ты, должно быть, не понимаешь, что означает это слово. Не важно. Поймешь потом. Он был великий ученый и верил в добрую волю людей. Он жил один среди людоедов на Новой Гвинее. Безоружный, умирающий от лихорадки. Но он сумел сделать столько добра дикарям и проявить столько терпения, что, когда за ним пришел наш корвет «Изумруд», чтобы увезти его в Россию, толпы дикарей плакали на берегу, протягивали к корвету руки и кричали: «Маклай, Маклай!» Так вот, запомни: добротой можно добиться всего.

Женщина вошла в столовую и остановилась в дверях. На ней была черная маленькая шляпка. Она натягивала на левую руку перчатку.

– Между прочим, что такое поэзия? – неожиданно спросил Черпунов. – Пожалуйста, не собирайся мне отвечать. Это определить нельзя. Вот раковина с острова, где жил Маклай. Если ты долго будешь смотреть на нее, то вдруг тебе придет в голову, что как-то утром солнечный свет упал на эту раковину и так на ней и остался на вечные времена.

Женщина села на стул около двери и начала стаскивать с руки перчатку.

Я уставился на раковину. На минуту мне показалось, что я на самом деле уснул и вижу медленный восход солнца над прозрачными массами океанской воды и вспышки розовых лучей.

– Если ты прижмешь раковину к уху, – говорил где-то далеко Черпунов, – то услышишь гул. Я не могу тебе объяснить, почему это происходит. И никто тебе этого не объяснит. Это тайна. Все, что человек не может понять, называется тайной.

Женщина сняла шляпку и положила ее себе на колени.

– Возьми послушай, – предложил Черпунов.

Я прижал раковину к уху и услышал сонный шум – будто далеко-далеко набегали на берег равномерные волны. Женщина протянула руку:

– Дайте и мне. Я уже давно не слушала.

Я отдал ей раковину. Она прижала ее к уху, улыбнулась и приоткрыла рот так, что стали видны ее маленькие, очень белые и влажные зубы.

– Что же ты, Маша, не идешь к Кирхгейму? – неожиданно спросил Черпунов.

Женщина встала.

– Я раздумала. Мне скучно одной идти к Кирхгейму. Извините, если я помешала.

Она вышла из столовой.

– Ну что же, – сказал Черпунов, – продолжим нашу беседу, молодой человек. Вон там в углу стоят черные ящики. Принеси-ка сюда верхний ящик. Только неси осторожно.

Я взял ящик и поставил его на стол перед Черпуновым. Ящик оказался совсем легким.

Черпунов не торопясь открыл крышку. Я заглянул через его плечо и невольно вскрикнул. Огромная бабочка, больше, чем лист клена, лежала в ящике на темном шелку и переливалась, как радуга.

– Не так смотришь! – рассердился Черпунов. – Надо вот так!

Он взял меня за макушку и начал поворачивать мою голову то вправо, то влево. Каждый раз бабочка вспыхивала разными цветами – то белым, то золотым, то пурпурным, то синим. Казалось, что крылья ее горели чудесным огнем, но никак не сгорали.

– Редчайшая бабочка с острова Борнео! – с гордостью произнес Черпунов и закрыл крышку ящика.

Потом Черпунов показал мне звездный глобус, старые карты с «розой ветров», чучела колибри с длинными, как маленькие шила, клювами.

– Ну, на сегодня довольно, – сказал Черпунов. – Ты устал. Можешь приходить ко мне по воскресеньям.

– Вы всегда дома?

– Да. Я уже стар, чтобы бродить и путешествовать, мой друг. Вот я и странствую по стенам и столам. – Он показал на книжные полки и на мертвых колибри.



– А вы много путешествовали? – спросил я робко.

– Не меньше, чем Миклухо-Маклай.

Когда, торопясь и не попадая в рукава, я натягивал в передней шинель, вошла молодая женщина. Она была в коротком узком жакете, в шляпе и перчатках. Маленькая темная вуаль была опущена у нее на глаза. От этого они казались совсем синими.

– Вы где живете? – спросила она.

Я ответил.

– Значит, до Крещатика нам по пути. Пойдемте вместе.

Мы вышли. Черпунов стоял в дверях и смотрел нам вслед. Потом он громко сказал:

– Маша, прошу тебя, будь осторожна. И возвращайся скорей.

– Я слышу, – ответила женщина, но не оглянулась.

Мы миновали Никольский форт с бронзовыми мордами львов на крепостных воротах, прошли через Мариинский парк, где я встретил когда-то гардемарина, и повернули на Институтскую улицу. Женщина молчала. Я тоже молчал. Я боялся, что она о чем-нибудь спросит и мне придется отвечать.

На Институтской она наконец спросила:

– Что вам больше всего понравилось в нашем музее?

– Бабочка, – ответил я, помолчав, и добавил: – Только жалко эту бабочку.

– Да? – удивилась женщина. – Почему же вам ее жалко?

Мне в то время никто не говорил «вы», и от этого я еще больше смущался.

– Она очень красивая, – ответил я, – а ее почти никто не видит.

– А еще что вам понравилось?

На Крещатике мы остановились около кондитерской Кирхгейма. Женщина спросила:

– Вам позволяют пить какао в кондитерской? И есть пирожные?

Я не знал, позволяют ли мне это или нет, но вспомнил, что один раз я был с мамой и сестрой Галей у Кирхгейма и мы действительно пили какао. Поэтому я ответил, что, конечно, мне позволяют бывать у Кирхгейма.

– Вот и хорошо! Тогда пойдемте.

Мы сели в глубине кондитерской. Женщина отодвинула на край столика вазон с гортензией и заказала две чашки какао и маленький торт.

– Вы в каком классе? – спросила она, когда нам подали какао.

– Во втором.

– А сколько вам лет?

– Двенадцать.

– А мне двадцать восемь. В двенадцать лет, конечно, можно верить всему.

– Что? – переспросил я.

– У вас есть какие-нибудь любимые игры и выдумки?

– Да, есть.

– И у Петра Петровича есть. А у меня нет. Вот вы бы и приняли меня в свои игры. Мы бы хорошо играли.

– А во что? – полюбопытствовал я. Разговор становился интересным.

– Во что? Ну хотя бы в Золушку или в бегство от злого короля. Или мы придумали бы новую игру. Она называлась бы «Бабочка с острова Борнео».

– Да! – сказал я, загораясь. – Мы бы разыскали в заколдованном лесу колодец с живой водой.

– С опасностью для жизни, конечно?

– Ну да, с опасностью для жизни!

– Мы бы несли эту воду, – сказала она и подняла на лоб вуаль, – в ладонях. Когда один уставал бы нести, он осторожно переливал бы воду в ладонь к другому.

– Когда мы будем переливать воду, – заметил я, – одна или две капли обязательно упадут на землю, и в тех местах...

– В тех местах, – перебила она, – вырастут кусты с большими белыми цветами. А что случится потом, как вы думаете?

– Мы побрызгаем бабочку этой водой, и она оживет.

– И превратится в прекрасную девушку? – спросила женщина и засмеялась. – Ну, пора идти. Вас, наверное, ждут дома.

Мы вышли. Она проводила меня до угла Фундуклеевской, а оттуда пошла обратно. Я оглянулся. Она переходила Крещатик, тоже оглянулась, улыбнулась и помахала мне маленькой рукой в черной перчатке.

Дома я не рассказал никому, даже маме, что был в кондитерской Кирхгейма. Мама все удивлялась, почему я ничего не ем за обедом. Я упорно молчал. Я думал об этой женщине, но ничего не понимал.

На следующий день я спросил у одного из старшеклассников, кто эта женщина.

– А ты разве был у Черпунова? – спросил старшеклассник.

– Был.

– И видел музей?

– Видел.

– Повезло, – сказал старшеклассник. – Это его жена. Он старше ее на тридцать пять лет.

В следующее воскресенье я не пошел к Черпунову, потому что среди недели он заболел и перестал ходить в гимназию. А через несколько дней мама вдруг спросила меня за вечерним чаем, не видел ли я у Черпунова молодую женщину.

– Видел, – сказал я и покраснел.

– Ну, значит, правда, – обернулась мама к отцу. – А он был с ней, говорят, так добр! Она жила как принцесса в золотой клетке.

Отец ничего не ответил.

– Костик, – сказала мама, – ты уже выпил чай. Иди к себе, скоро пора ложиться.

Она уснула, чтобы поговорить с отцом о Черпунове. Но я не стал подслушивать, хотя мне очень хотелось знать, что случилось.

Вскоре я узнал об этом в гимназии. Жена ушла от Черпунова, уехала в Петербург. Старик заболел от горя и никого к себе не пускал.

– Так и надо Черномору, – сказал гимназист Литтауэр. – Не женись на молодой!

Мы возмутились этими словами. Мы любили старика Черпунова. Поэтому на следующем же уроке, когда француз Сэрму влетел в класс, мы отомстили Литтауэру.

– Литтауэр! – громовым хором крикнул весь класс. – Иттауэр! Тауэр! Ауэр! Эр!

Потом сразу наступила тишина.

Сэрму вспыхнул и, как всегда, не разобрав, в чем дело, крикнул:

– Литтауэр, вон из класса!

И поставил Литтауэру четверку по поведению.

Больше мы не видели Черпунова. Он не вернулся в гимназию.

Через год я встретил его на улице. Он едва брел – желтый, опухший, опираясь на толстую трость. Он остановил меня, расспросил, как я учусь, и сказал:

– Бабочку помнишь? С острова Борнео? Так вот, нет у меня уже этой бабочки.

Я молчал. Черпунов внимательно посмотрел на меня.

– Я подарил ее университету. И ее, и всю свою коллекцию бабочек. Ну, будь здоров. Рад был встретить тебя.

Черпунов вскоре умер. Я долго помнил о нем и о молодой женщине. Непонятная тоска охватывала меня, когда я вспоминал ее вуаль и то, как она, переходя Крещатик, улыбнулась и помахала рукой.

Когда я был уже в старшем классе, преподаватель психологии, говоря нам о плодотворной силе воображения, неожиданно спросил:

– Вы помните Черпунова с его водой из разных рек и морей?

– Ну как же! – ответили мы. – Великолепно помним.

– Так вот, могу вам сообщить, что в бутылках была самая обыкновенная водопроводная вода. Вы спросите, зачем Черпунов вас обманывал? Он справедливо полагал, что таким путем дает толчок развитию вашего воображения. Черпунов очень ценил его. Несколько раз он упоминал при мне, что человек отличается от животного способностью к воображению. Воображение создало искусство. Оно раздвинуло границы мира и сознания и сообщило жизни то свойство, что мы называем поэзией.

## Первая заповедь

На каждый день недели у нашего законоучителя, соборного протоиерея Трегубова, были рясы разного цвета. Серая, синяя, лиловая, черная, коричневая, зеленая и, наконец, кремовая, чесучовая. По цвету рясы можно было определить, какой сегодня день – вторник или суббота.

Как только Трегубов появился у нас в третьем классе, он тотчас уничтожил вековые традиции в преподавании Закона Божьего. Обыкновенно по этому предмету гимназисты во всех гимназиях получали пятерки. Объяснялось это, очевидно, тем, что законоучители по обязанности своей должны были проявлять человеколюбие и старались не огорчать гимназистов. А может быть, и тем, что и законоучители и гимназисты не относились к этому предмету всерьез.

Трегубов одним ударом разрушил наше пренебрежение к Закону Божьему.

– Алтухов, – сказал он, – прочти первую заповедь.

– «Аз есмь Господь Бог твой да не будет тебе Бози иний разве мене!» – выпалил Алтухов и усмехнулся. Придаться к этому ответу было невозможно.

– Садись! – сказал Трегубов и поставил Алтухову единицу. – Боримович, теперь ты прочти первую заповедь.

Боримович, бледнея, прочел первую заповедь так же правильно, как Алтухов, и тоже получил единицу.

Трегубов вызывал всех по алфавиту. Все читали первую заповедь правильно, и всем Трегубов, злорадно улыбаясь, ставил единицы. Мы ничего не понимали. Весь журнал от А до Щ украсился единицами. Это грозило великими бедами.

Окончив ставить единицы, Трегубов разгладил надушенными руками бороду и произнес:

– Пренебрежительно относитесь к знакам препинания. За это и понесли заслуженную кару. Невнимательны к божественным текстам и легкомысленны, как ягнята. После речения «Аз есмь Господь Бог твой» стоит запятая. Что это означает? Это означает, что в месте сем следует сделать короткую остановку, иначе говоря, паузу, дабы выделить значительность последующего утверждения. А вы сыплете священные слова одним духом, как горох об стенку. Срам!

Он говорил тихо, глядя на нас узкими презрительными глазами. Золотой значок академика поблескивал на его шелковой рясе.

До Трегубова законоучителем у нас был протоиерей Златоверховников, дряхлый, шепелявый и глухой. С тем было проще. Можно было нести любую галиматью, но требовалось только говорить быстро и монотонно. От этого Златоверховников на второй-третьей минуте начинал дремать, а потом и совсем засыпал. Тогда мы могли заниматься чем угодно, лишь бы не разбудить престарелого иерея.

На задних партах играли в железку и жарили на спичках копченых маленьких рыбок. На передних зачитывались «Приключениями знаменитого американского сыщика Ника Картера».

Иерей посапывал, а класс тихо веселился, пока наконец, минуты за две до звонка, не надо было будить Златоверховникова. Для этого роняли на пол связку книг или весь класс по команде чихал.

После Златоверховникова Трегубов явился к нам, как карающий бог Саваоф. Он и вправду был похож на бога Саваофа с церковного купола – огромный, с широкой бородой и гневными бровями.

Трегубова боялись не только гимназисты, но и учителя. Он был монархистом, членом Государственного совета и гонителем свободомыслия. Он стоял на равной ноге с киевским митрополитом и приводил в полное безгласие захудалых сельских батюшек, когда они являлись к нему получать разнос за недостойные поступки.

Трегубов любил выступать на модных в то время религиозно-философских диспутах. Он говорил гладко и сладко, распространяя запах одеколona.

Мы ненавидели его так же холодно, как он ненавидел нас. Но церковные тексты мы заучивали на всю жизнь.

Мы пользовались любым поводом, чтобы удрать с Закона Божьего. Надежным убежищем в этих случаях были уроки католического Закона. Они шли одновременно с нашими, но в другом классе. Мы пробирались туда и только там чувствовали себя в безопасности. То уже была территория, как бы подчиненная апостолической церкви и римскому папе Льву XIII. Трегубов терял всякую власть на пороге этого обыкновенного пыльного класса. В нем властвовал ксендз-каноник Олендский.

Высокий, тучный, с белой головой, с черными четками на руке, он нисколько не удивлялся, когда в дверях его класса показывался смущенный «российский» гимназист.

– Сбежал? – сурово спрашивал Олендский.

– Нет, пан каноник, я только хотел немного посидеть у вас на уроке.

– Немного посидеть? Ах, лайдак, лайдак! – Олендский начинал трястись от смеха. – Подойди сюда!

Гимназист подходил к Олендскому. Ксендз громко хлопал его табакеркой по голове. Этот жест обозначал отпущение грехов.

– Садись! – говорил после этого Олендский. – Вон туда, в угол, за спину Хоржевского, – (Хоржевский был очень высокий гимназист, поляк), – чтобы тебя не увидели из коридора и не повлекли в геенну огненную. Сиди и читай газету. На!

Олендский вытаскивал из кармана сутаны сложенную вчетверо «Киевскую мысль» и протягивал беглецу.

– Спасибо, пан каноник! – говорил беглец.

– Благодарю не меня, а Бога, – отвечал Олендский. – Я только жалкое орудие его рук. Он вывел тебя из дома неволи, как евреев из египетской земли.

Трегубов, конечно, знал, что Олендский прячет нас у себя на уроках. Но перед Олендским даже Трегубов терялся. Добродушный ксендз при встречах с Трегубовым становился изысканно вежлив и ядовит. Достоинство иерея православной церкви не позволяло Трегубову вступать в пререкания с Олендским. Мы же пользовались этим, сколько могли. В конце концов мы так понаторели в католическом Законе Божьем, что знали его лучше многих поляков.

– Станишевский Тадеуш, – говорил ксендз-каноник, – скажи мне «Магнификат».

Станишевский Тадеуш вставал, поправлял кушак, откашливался, громко глотал слюну, смотрел сначала за окно, потом на потолок и наконец признавался:

– Забыл, пан каноник.

– Забыл? Однако ты не забываешь приходить в костел каждый раз, когда там бывает панна Гжибовская. Садись! Кто знает «Магнификат»? Ну? Кто? О, святая дева над девами, королева апостолов! Что же это такое? Все молчат! Кто знает «Магнификат», пусть подымет руку.

Поляки рук не подымали. Но случалось иногда так, что поднимал руку кто-нибудь из православных, какой-нибудь несчастный беглец от Трегубова.

– Ну, – говорил в изнеможении Олендский, – скажи хоть ты «Магнификат»! И если после этого Бог не покарает их, – ксендз показывал на поляков, – то только из-за своего великого милосердия.

Тогда беглец вставал и говорил без запинки «Магнификат».

– Подойди сюда! – говорил Олендский.

Беглец подходил. Олендский доставал из кармана сутаны горсть конфет, похожих на кофейные зерна, и щедро высыпал их на ладонь беглецу. Потом Олендский нюхал табак, быстро успокаивался и начинал рассказывать любимую свою историю, как он служил в Варшаве панихиду над сердцем Шопена, запаянным в серебряную урну.

После уроков Олендский шел из школы к себе в костельный дом. Он останавливал на улице детей и щелкал их пальцем по лбу. Его хорошо знали в Киеве – высокого ксендза со смеющимися глазами.

Обучение Закону Божьему и соприкосновение с церковными делами было для нас постоянным мучением. Единственное, что мы любили, – это великопостные каникулы. Нас распускали на неделю, чтобы мы могли говеть – исповедоваться и причащаться. Мы выбирали для говения окраинные церкви – священники этих церквей не очень следили за тем, чтобы говеющий гимназист посещал все великопостные службы.

Почти всегда великопостные каникулы приходились на март, сырой и туманный месяц. Снег уже начинал темнеть. И все чаще можно было увидеть в разрывах туч синее небо недалеко весны.

На голых тополях кричали галки. На Днепре сизыми пятнами проступала на льду талая вода, а на базарах уже продавали веточки вербы с пушистыми «зайчиками».

Мы мечтали каким-нибудь способом насолить Трегубову. Но Трегубов был неуязвим.

Отомстить ему за все мучения и страхи нам удалось только один раз. Но месть эта была безжалостной.

Когда мы были уже в четвертом классе, мы узнали от старых гимназистов, что Трегубов боится крыс. Мы принесли на урок Трегубова рыжую крысу – пасюка – и выпустили из-под парты в то время, когда Трегубов рассказывал какую-то историю из Нового Завета.

Гимназист Жданович взвизгнул и вскочил на парту.

– Что такое? – грозно спросил Трегубов.

– Крыса, батюшка! – ответил, трясясь, Жданович.

Мы повскакивали с мест. Испуганная крыса метнулась под ноги Трегубову. Тогда отец Трегубов с необыкновенной легкостью вскочил на стул и подобрал до колен рясу. Из-под нее появились полосатые штаны и мягкие башмаки с ушками.

Мы начали бросать в крысу книгами. Она завизжала и забегала около классной доски. Отец Трегубов поспешно переступил со стула на стол.

– Двери отомкните! – ревел он со стола протодиакономским басом. – Двери! Выпустите ее в коридор!

Мы делали вид, что боимся крысы, и не хотели открывать дверей. Тогда отец Трегубов закричал так, что звякнули стекла в рамах:

– Платон Федорович! Сюда!

И он с размаху бросил в крысу классным журналом.

Испуганный надзиратель Платон Федорович распахнул дверь. Из-за его спины выглядывал сторож Казимир. Потом появился инспектор Бодянский. Нахмурившись и сдерживая улыбку, он начал командовать изгнанием крысы.

Отец Трегубов не слезал со стола. Он только опустил рясу. Он стоял перед нами, как собственный памятник в два человеческих роста.

Когда крыса была изгнана, Трегубов при помощи Бодянского слез со стола. Дежурный услужливо подал ему журнал, и отец Трегубов, приняв обычный величественный вид, удалился из класса.

Задним числом Трегубов сообразил, что крыса появилась в классе неспроста. Он потребовал дознания. Оно не привело ни к чему. Гимназия ликовала, а инспектор Бодянский говорил:

– Не радуйтесь слабости человеческой! Смотрите лучше за собой. А то я опять замечаю у некоторых господ гимназистов гербы с выломанным вензелем гимназии. Буду за это беспощадно сажать «без обеда».

Мне придется нарушить правильный ход повествования и забежать вперед, чтобы рассказать, как мы наконец избавились от Трегубова.

Это было в восьмом классе. Я жил тогда уже один, без семьи, и снимал комнату в Диком переулке, у пехотного поручика Ромуальда Козловского. Он жил вместе с молчаливой и доброй своей матерью, старушкой пани Козловской.

Была осень 1910 года – промозглая, тусклая, с обледенелыми ветками, оловянным небом и шелестом не успевшей облететь, но уже подмерзшей листвы. В такие дни у меня часто бывали головные боли. Тогда я не ходил в гимназию, оставался у себя в каморке в Диком переулке, лежал, закутав голову, и старался не стонать, чтобы не беспокоить пани Козловскую.

Я согревался, и боль постепенно утихала. Тогда я начинал читать, не вставая, желтые книжки «Универсальной библиотеки». Трещал огонь в печах. В маленькой квартире было тихо. Изредка за окном пролетал робкий снежок. После недавней боли голова была очень свежей, и все казалось мне хорошим: и цвет сизого неба, и дымок поленьев, и снег, прилипший к стеклу.

Вот в такой день пани Козловская открыла дверь на звонок почтальона, взяла газету, охнула и засеменила ко мне в комнату.

– Костик, – сказала она, – несчастье с графом Толстым!

Я вскочил, выхватил у нее газету, пахнущую керосином, и начал читать первые телеграммы об уходе Толстого.

Пани Козловская с испугом смотрела на меня и повторяла:

– Боже, спаси его! Боже, спаси его!

Я тотчас оделся, натянул шинель и вышел на улицу. Мне казалось, что все в городе должно было сразу перемениться с той минуты, когда пришло ошеломляющее известие. Но все было по-старому. Ехали ломовики с дровами, дребезжал вагон старой киевской конки, гуляли с гувернантками дети.

Я не выдержал и пошел в гимназию. На всех партах валялись газеты. Наш классный наставник – латинист Субоч – опоздал на урок. Этого с ним никогда не бывало. Он вошел, опустился на стул, снял пенсне и долго сидел, сторбившись, глядя за окно подслеповатыми выпуклыми глазами. Он как будто чего-то ждал. Потом он сказал мне:

– Сходите, голубчик, к редакции «Киевской мысли». Там вывешиваются последние телеграммы. Узнайте. Мы будем ждать.

Это было неслыханно в истории нашего класса. Но сейчас все отнеслись к этому как к естественному явлению. Я встал и вышел. В коридоре меня поймал Платон Федорович.

– Вы куда? – грозно спросил он и загородил мне дорогу.

Я ответил. Платон Федорович наклонил голову и быстро отступил к стене, чтобы дать мне пройти.

Когда я вернулся, то, прежде чем войти в класс, я заглянул в него через верхнее стекло двери. Субоч читал вслух. Все сидели неподвижно, будто оцепенев. Я тихо открыл дверь и услышал знакомые слова:

– «Стало темнеть, ясная серебряная Венера низко на западе уже сияла из-за березок своим нежным блеском, и высоко на востоке уже переливался своими красными огнями мрачный Артур. Над головой у себя Левин ловил и терял звезды Медведицы. Вальдшнепы уже перестали летать...»

Два или три дня занятия в гимназии шли кое-как. Потом таким же промозглым утром я увидел экстренные выпуски газет с траурной каймой, растерянных людей на улицах, толпы студентов около университета. Они стояли молча. На рукавах шинелей у всех студентов были креповые черные повязки. Незнакомый студент приколол и мне на мою серую шинель черную повязку.

Я пошел в гимназию. Казачьи разъезды медленно проезжали вдоль тротуаров. Во дворах стояли кучками городовые. По дороге я догнал своих товарищей по классу – у всех, как и у меня, были траурные повязки. В раздевалке мы откололи эти повязки от шинелей и надели на рукава курток. В гимназии было особенно тихо. Даже малыши не шумели.

Как раз в этот день первым уроком в нашем классе был Закон Божий. Трегубов вошел слишком быстро, не так, как всегда, перекрестился на икону и сел к столу.

Дежурный Матусевич вышел и остановился рядом с Трегубовым. Трегубов тяжело смотрел на него и молчал.

– Вчера, в шесть часов утра, на станции Астапово, – сказал Матусевич, стараясь не волноваться и говорить громко, – умер величайший писатель нашей страны, а может быть и всего мира, Лев Николаевич Толстой.

Громыхнули крышки парт. Весь класс встал. В глубочайшей тишине был слышен цокот копыт – по улице проезжали патрули.

Трегубов наклонился над столом, сжал его края толстыми пальцами и сидел неподвижно.

– Встаньте, отец протоиерей! – очень тихо сказал ему Матусевич.

Трегубов медленно и грузно встал. Шея его налилась кровью. Он стоял, опустив глаза. Прошло несколько минут. Нам они показались часами. Потом все сели бесшумно и медленно. Трегубов взял журнал и пошел из класса. В дверях он остановился и сказал:

– Вы заставили меня почтить память вероотступника, отлученного от церкви. Не будем говорить о том, что он был великим писателем. Я совершил преступление против своего сана и понесу ответ перед Богом и высшими церковными властями. Но с этого дня я уже не преподаватель в вашем классе. Прощайте. И да вразумит вас Господь.

Мы молчали. Трегубов вышел.

На следующий урок Закона Божьего к нам пришел вместо Трегубова молодой священник с лицом поэта Надсона, любитель философии и литературы. Мы сразу же полюбили его за деликатность и молодость, и дружба эта не прерывалась до окончания гимназии.



## Липовый цвет

Никогда я еще не видел таких старых лип. Ночью их вершины терялись в небе. Если начинался ветер, то звезды перелетали среди веток, как светляки. Днем под липами было темно, а наверху, в свежей зелени, шумел, дрался, пересвистывался и перепархивал пестрый птичий народ.

– Вот погодите, – говорил дядя Коля, – скоро все эти липы зацветут, тогда...

Он никогда не договаривал, что будет, когда зацветут липы. Но мы и сами знали, что тогда старый парк в Рёвках превратится в место таких чудес, какие бывают только в сказках.

Уже второй год после конца занятий в гимназии мы всей семьей приезжали на лето в Брянские леса, в Рёвны. Туда же приезжал на время отпуска и отец.

Разорившийся хозяин поместья сдавал на лето две-три деревянные дачи в парке. Поместье было удалено от городов и железной дороги. Никто почти не приезжал туда на лето, кроме дяди Коли и нас.

Чтобы представить себе прелесть этих мест, надо описать их с топографической точностью.

Запущенный липовый парк с непролазной гущей орешника и крушины. Мишистые скамейки среди кустов сирени. Заглохшие аллеи. У них были названия: «Храм Дианы», «Аллея вздохов», «Соловьиный овраг».

Солнечные поляны с одинокими соснами и полевыми цветами, и снова сень могучих и, как нам казалось, тысячелетних лип.

Парк спускался к реке Рёвне. За ней поднимались по взгорью дремучие леса. Туда вела единственная песчаная дорога. По этой дороге можно было дойти до ветхой часовни с иконой Тихона Задонского. За часовней дорога терялась в сухой траве.

Ходить дальше часовни в одиночку никто не решался, даже самый смелый из обитателей поместья – студент Петербургского лесного института Володя Румянцев.

Лесная чаща вплотную подступала к бревенчатой часовне. Из чащи тянуло прелью и папоротником. В сумерки оттуда прилетали совы.

Как-то ночью мы слышали далекий крик, долетевший из леса. Это заблудился ярмарочный торговец – офеня. Он шел пешком из Свенского монастыря на ярмарку в Трубчевск. Лесной объездчик нашел его и привел в Рёвны. Торговец, худой мужичок с синими глазами, плакал и крестился.

Однажды мы, мальчишки, вместе с Володей Румянцевым отправились в лес и взяли с собой компас.

Мы видели бездонные овраги, заросшие до краев ежевикой и хмелем. В глубине оврагов бормотала вода, но до нее нельзя было добраться. Мы открыли в лесах неизвестную речку с такой прозрачной водой, что она казалась стеклянной. С крутого берега были видны тучи мальков, шнырявших по дну этой речки.

Наконец мы видели сгнивший крест около родника. На перекладине креста висела жестяная кружка. Вокруг кружки обвился выюнок и крепко держал ее. Мы оторвали выюнок и зачерпнули кружкой воды из родника. Вода отдавала ржавчиной.

Курлыкали журавли, свистели иволги, парили ястребы. Облака с синими днищами проходили над нами. Мы поглядывали на них – оттуда, сверху, хорошо был виден весь этот загадочный лесной край. Дятлы деловито долбили сухие стволы, и то тут, то там падали нам на голову шишки.

Володя Румянцев уверял, что в лесах есть заброшенный раскольничий скит. В скиту водились дикие пчелы, и можно было набрать меду.

Но скит мы не нашли. Мы влезали на сосны, чтобы осмотреться и увидеть среди разлива зелени тесовую крышу с кривым восьмиконечным крестом. Вверху на соснах продувал теплый ветерок, руки прилипали к смолистым веткам. Прыгали черноглазые белки. Пахло скипидаром от молодых зеленых шишек. Но сколько мы ни смотрели с сосен, как с маяков, прикрыв глаза рукой от солнца, мы ничего не видели, кроме леса да плывущих облаков. От них кружилась голова.

С высоких сосен облака казались гораздо ближе, чем с земли. Хотелось дотронуться до их белоснежных громад.

Выше этих облаков пересекала небо светлая рябь. От нее расходились прозрачные перья. Володя Румянцев говорил, что это тоже облака, но такие высокие, что они уже состоят не из водяных паров, а из кристаллов льда. Перья неподвижно висели в холодной и недостижимой вышине.

Кроме лесов, в Рёвках было еще одно таинственное место – река. Она струилась под нависшими ивами, разбивалась на два рукава, обтекала остров и во многих местах от берега до берега заросла кувшинкой и плавающими цветами водокраса.

У острова реку перегораживали деревянные плотины. На острове стоял заброшенный стружечный завод. Горы опилок были навалены около пустых амбаров. В жаркие дни на заводе до одури пахло древесной трухой.

Завод когда-то работал от мельничного колеса. Сейчас все это обрушилось, затянулось косматой паутиной – и колесо, и деревянные зубчатые передачи. На них уже выросли желтые, как сера, грибы.

За плотинами были водяные ямы – жилища огромных щук. Ямы назывались спадами. В спадах вода была черная и медленно вращалась.

В этих ямах мы с дядей Колей засадили десятки крючков и блесен. Кроме щук, там жили большие, почти синие окуни. Мы удили их с мокрых бревен плотины. Бывало, окуни вырывали у нас из рук удочки и утаскивали под воду. Бамбуковое удище, как золотая стрела, быстро скользило в глубину. Потом обычно оно всплывало ниже спада, и мы доставали его с лодки вместе с окунем.

Что было еще в Рёвках? Старинный дом с колоннами, построенный, по преданию, Расстрелли. На его фронте вили гнезда ласточки. Пустые залы, лестницы и переходы заливал радужный свет. Он проникал сквозь выпуклые стекла. Когда кто-нибудь проходил по залам, трещала мебель. Жидко звенели люстры.

В доме никто не жил. Только по семейным праздникам, на именины Марии (Марий в семье было две – моя мама и тетя Маруся, жена дяди Коли), открывали зал с хорами для музыкантов, проветривали его и устраивали бал.

Мы развешивали на балконе круглые фонарики, а поздним вечером пускали в парке ракеты. Они прорывались сквозь гущу деревьев и выбрасывали разноцветные огненные шары. Шары медленно слетали сверху и освещали красноватым пламенем старый дом. Когда ракеты гасли, в парк возвращалась летняя ночь с ее отдаленным криком лягушек, блеском звезд и запахом цветущих лип.

На именины приезжали из Брянска товарищи дяди Коли – артиллерийские офицеры. Однажды приехал даже московский певец – тенор Асоченский. Он устроил концерт в старинном зале.

«О, если б ты ко мне вернулась снова, – пел Асоченский, – где были мы так счастливы с тобой! В густых ветвях слышала б ты шепот, – знай, это стон души больной».

Мне казалось, что слова этого романса относятся к нашему парку. Он слышал много признаний, видел бледные лица влюбленных, слезы расставания.

«Когда твой сон тревожит звук печальный, – пел Аскоченский, опираясь на рояль, а тетя Маруся, быстро поправляя волосы, аккомпанировала ему, – иль в непогоду слышен бури вой, – знай, это я рыдаю безутешно...»

После бала на даче у дяди Коли устраивался ужин. Свечи в круглых абажурах трещали от сгоравших ночных мотыльков.

Нам, гимназистам, наравне со взрослыми наливали вина. Мы начинали храбриться.

Однажды, выпив вина, мы решили, что каждый из нас поодиночке обежит ночью парк. Чтобы не было обмана, каждый должен был положить что-нибудь на скамейку в Соловьином овраге. Утром дядя Коля обещал проверить, честно ли мы выполним это условие.

Первым бежал брат тети Маруси, студент Медико-хирургической академии Павел Теннов. Все его звали Павлей. Он был долговяз, курнос, носил курчавую бородку и смахивал на Чехова. Павля отличался доверчивостью и добротой. Поэтому с ним всегда разыгрывали разные штуки.

Павля должен был оставить на скамейке в Соловьином овраге пустую бутылку от вина.

После Павли была моя очередь. Я помчался в глубину аллеи. Росистые ветки колотили меня по лицу. Мне чудилось, что кто-то догоняет меня скачками.

Я остановился и прислушался. Кто-то крался в кустах. Я помчался дальше и выбежал на поляну. В глубине ее исходила луна. Впереди был Соловьиный овраг. Непроглядная темнота лежала там, и я с размаху бросился в нее, как в черную воду. Блеснула река. За рекой заунывно кричала выпь.

Около скамейки я остановился. Пахло липовым цветом. Вся ночь до звезд была наполнена этим запахом. Было тихо, и не верилось, что недалеко отсюда, на ярко освещенной веранде, шумят веселые гости.

Мы заранее сговорились разыграть Павлю. Я схватил бутылку, оставленную Павлей на скамейке, и швырнул ее в реку. Бутылка перевернулась и блеснула под луной. Лунные круги разошлись к берегам.

Я побежал дальше, над обрывом. Оттуда сильно тянуло сыростью и дягилем. Задыхаясь, я выбежал на большую липовую аллею. Впереди заблестели огни.

– Костик! – услышал я встревоженный голос тети Маруси. – Ты?

– Да! – ответил я, подбегая.

– Какие глупости приходят вам всем в голову! – сказала тетя Маруся. Она стояла в аллее и куталась в легкий шерстяной платок. – Мама очень волнуется. Кто это выдумал? Глеб, наверное?

– Нет, не Глеб, – соврал я. – Это мы вместе.

Тетя Маруся угадала. Ночной бег по парку придумал воспитанник дяди Коли, гимназист брянской гимназии Глеб Афанасьев, вихрастый мальчик, неистощимый на выдумки. В его серых глазах постоянно поблескивали лукавые огоньки. Не проходило дня, чтобы Глеб чего-нибудь не придумал. Поэтому, что бы ни случилось, во всем обвиняли Глеба.

Наутро дядя Коля проверил вещи на скамейке. Там не оказалось бутылки, оставленной Павлей. Все начали издеваться над Павлей и говорить, что он трусил, не добежал до оврага, вернулся, а бутылку выбросил по дороге. Но Павля сразу догадался, в чем дело, и пригрозил:

– Ну погоди, Глеб, ты у меня поплачешь!

Глеб промолчал, но меня не выдал.

В тот же день Павля поймал Глеба в купальне, несколько раз окунул с головой, потом связал в тугой узел глебовские брюки и намочил их в воде. Глеб долго развязывал брюки зубами. В жеванных брюках Глеб выглядел жалко. Это было обидно, потому что на даче в Рёвках жили с матерью две сестры-гимназистки Карелины из Орла. Старшая сестра, Люба, все время читала, прячась в глухих углах парка. Щеки у нее горели. Светлые волосы всегда были растрепаны.

Около скамеек, где она сидела, мы постоянно находили черные ленты, которые Люба теряла из своих кос.

Младшая сестра, Саша, капризная и насмешливая, нравилась Глебу. Сейчас ему немислимо было появиться перед ней в измятых брюках. Я чувствовал себя виноватым перед Глебом и упросил маму разгладить глебовские брюки. В разглаженных брюках Глеб тотчас приобрел прежний легкомысленный вид.

Не было ничего особенного в ночной беготне по парку, но я долго помнил об этом. Я вспоминал волны липового цвета, хлынувшие в лицо, крик выпы, всю эту ночь, роящуюся звездами и полную отзвуков веселья.

Мне иногда казалось в то лето, что на земле почти не осталось места для человеческого горя.

Но вскоре после именин я поколебался в этом.

Около нашей дачи я увидел босого мальчика в рваном армячке. Мальчик принес продавать землянику. От него пахло ягодами и дымом. Он попросил за кувшин земляники гривенник, но мама дала ему двадцать копеек и кусок пирога.

Мальчик стоял потупясь и чесал одной босой ногой другую. Он сунул пирог за пазуху и молчал.

– Ты чей? – спросила его мама.

– Аниськин, – ответил он неуверенно.

– Чего же ты не ешь пирог?

– Это мамке, – сказал он сипло, не подымая глаз. – Она недужная. Везла лес, брюхо надорвала.

– А отец где?

– Помер.

Мальчик шмыгнул носом, отступил и бросился бежать. Он испуганно оглядывался и зажимал рукой пазуху, чтобы не потерять пирог.

Я долго не мог забыть этого белоголового мальчика и втайне осуждал маму. Она откупила от укоров совести пирогом и двугривенным. Я хорошо понимал это. Понимал, что горькая несправедливость требует иных поступков, чем жалкие подачки. Но как ее уничтожить, эту несправедливость, – а она все чаще и чаще встречалась мне в жизни, – я еще не знал.

Мы часто слышали споры за чайным столом между отцом и дядей Колей. Они спорили о будущем русского народа. Дядя Коля доказывал, что счастье народа зависит от просвещения. Отец считал, что счастье принесет революция. В споры вмешался Павлик. Он называл себя народником. Однажды его даже чуть не исключили из академии за речь на студенческой сходке. Володя Румянцев помалкивал, но потом говорил нам, мальчикам, что ни отец, ни дядя Коля, ни Павлик совершенно ничего не понимают.

– А вы понимаете? – спрашивали мы его.

– Ни черта! – с удовольствием отвечал Володя. – И не желаю понимать. Люблю Россию – и баста!

Володя Румянцев был братом любимого товарища дяди Коли по брянскому арсеналу, капитана Румянцева.

Володя был глуховат. В рыжей его бороде торчало сено – он ночевал на сеновале. Он презирал всякие жизненные удобства. Под голову вместо подушки Володя подкладывал свернутую студенческую тужурку. Ходил он, загребая ногами, говорил невнятно. Под тужуркой носил линялую синюю косоворотку и подпоясывал ее черным шелковым шнурком с кистями.

Руки у Володи всегда были сожжены проявителями и фиксажами – Володя занимался фотографией. Человек он был предприимчивый. Он заключил соглашение с московской литографией Шерера и Набгольца – ездил летом по разным глухим городкам, снимал достоприме-

чательности, а литография издавала открытки с видами городов по этим Володиным снимкам. Открытки эти продавались в книжных киосках на вокзалах.

Нам нравилось это Володино занятие. Он часто исчезал из Рёвен на несколько дней, а потом возвращался и рассказывал, что был то в Ефремове, то в Ельце, то в Липецке.

– Вот это житуха, господа гимназисты! – говорил он, сидя в купальне и намыливая рыжую голову. – Третьего дня я переплывал Оку, вчера – Мокшу, а сегодня – Рёвну.

Он заразил нас любовью к провинциальной России. Он превосходно знал ее – знал ярмарки, монастыри, исторические усадьбы, обычаи. Он ездил в Тарханы, на родину Лермонтова, в усадьбу Фета около Курска, в Лебедянь на конскую ярмарку, на остров Валаам и на поле Куликовской битвы.

Всюду у него были какие-то приятельницы-старушки, бывшие учительницы и чиновницы. Он останавливался у них. Они кормили его щами и пирогами с рыбой, а Володя в благодарность учил старушечьих канареек насвистывать польку или дарил старушкам суперфосфат – подсыпать в вазоны с геранью, чтобы вырастить на диво соседям огромные шарлаховые цветы.

Он не участвовал в спорах о судьбах России, но вмешивался в тех случаях, когда разговор заходил о тамбовской ветчине, рязанских мороженных яблоках или волжской стерляди. В знании этих вещей никто не мог тягаться с Володей. Дядя Коля насмешливо говорил, что один только Володя Румянцев знает, почем лапти в Кинешме и сколько стоит фунт куриного пуха в Калязине.

Однажды Володя Румянцев ездил в Орел и привез нам печальное известие.

Мы играли в крокет около дачи. Увлечение крокетом было всеобщее. Часто игра затягивалась до темноты. Тогда на крокетную площадку выносили лампы.

Нигде так не ссорились, как на крокете. Особенно со старшим моим братом Борей. Он играл хорошо и быстро становился «разбойником». Тогда он крокировал наши шары и загонял их так далеко, что подчас мы их вовсе не находили. Мы злились и, когда Боря целился, бормотали: «Черт под руку, жаба в рот!» Это заклинание иногда помогало, и Боря промахивался.

Ссорились мы и с Глебом. Когда Глеб играл против Саши, он всегда мазал и нарочно проигрывал, чтобы доставить удовольствие этой девчонке. А играя с Сашей против нас, показывал чудеса ловкости и нахальства и всегда выигрывал. Обычно на крокете собиралось все дачное общество. Даже обе собаки дяди Коли, Мордан и Четвертак, прибегали посмотреть на крокет, но предусмотрительно ложились за соснами, чтобы не подвертываться под шары.

В это утро на крокетной площадке было, как всегда, очень шумно. Потом послышался стук колес. К даче дяди Коли подкатил тарантас. Кто-то крикнул: «Володя Румянцев приехал!» Никто не обратил на это внимания: все привыкли к частым отъездам и возвращениям Володи.

Через минуту появился Володя. Он шел к нам в пыльном балахоне, в сапогах. Лицо у него было сморщено, будто он собирался заплакать. В руке он держал газету.

– Что такое? – испуганно спросил его дядя Коля.

– Чехов умер.

Володя повернулся и пошел обратно на дачу.

Мы побежали за ним. Дядя Коля отобрал у Володи газету, прочел ее, бросил на стол и ушел к себе в комнату. Встревоженная тетя Маруся ушла вслед за ним. Павля снял пенсне и долго протирал его носовым платком.

– Костик, – сказала мне мама, – пойди на реку, позови папу. Пусть хоть сейчас он бросит эту свою рыбную ловлю.

Она сказала это так, будто отец уже мог знать о смерти Чехова, но по легкомыслию своему не придавал этому значения и не огорчался.

Я обиделся за отца, но все же пошел на реку. Со мной пошел и Глеб Афанасьев. Он неожиданно стал очень серьезным.

– Да, Костик!.. – сказал он мне по дороге и тяжело вздохнул.

Я сказал отцу, что умер Чехов. Отец сразу осунулся и сгорбился.

– Ну вот, – сказал он растерянно, – как же это так... Не думал я, что переживу Чехова...

Мы возвращались мимо крокетной площадки. На ней валялись брошенные молотки и шары. В липах шумели птицы, сквозило солнце, падало зелеными пятнами на траву.

Я уже читал Чехова и очень его любил. Я шел и думал, что такие люди, как Чехов, никогда не должны умирать.

Через два дня Володя Румянцев уехал в Москву на похороны Чехова. Мы провожали его до станции Синезерки. Володя вез корзину с цветами, чтобы положить их на чеховскую могилу. Это были обыкновенные полевые цветы. Мы собрали их в лугах и в лесу. Мама упаковала их, переложив сырым мхом и прикрыла мокрой холстиной. Мы старались нарвать побольше деревенских цветов, потому что были уверены, что их любил Чехов. Мы собрали много купены, гвоздики, золототысячника и ромашки. Только тетя Маруся нарезала в парке немного жасмина.

Поезд отошел вечером. Из Синезерок мы возвращались в Рёвны пешком и пришли домой только на рассвете. Молодой месяц низко висел над лесом, и нежный его свет блестел в дождевых лужах. Недавно прошел дождь. Пахло мокрой травой. В парке куковала запоздалая кукушка. Потом луна зашла, загорелись звезды, но их скоро закрыл рассветный туман. Он долго шуршал, стекая с кустов, пока не взошло и не пригрело землю спокойное солнце.

## Я был, конечно, мальчишкой

Инспектор Бодянский быстро вошел к нам в третий класс. Бодянский был в новом форменном сюртуке. Глаза инспектора хитро блеснули. Мы встали.

— По случаю высочайшего манифеста о даровании нашему народу гражданских свобод, — сказал Бодянский, — занятия в гимназии прекращаются на три дня. Поздравляю! Складывайте книги и ступайте домой. Но советую не путаться в эти дни у взрослых под ногами.

Мы выбежали из гимназии. В тот год стояла необыкновенная осень. В октябре еще жарко грело солнце. Сады, убранные сухим золотом, почти не роняли его на дорожки и горели во всей красоте. Мы ходили в летних шинелях.

Мы высыпали на улицу и увидели около длинного здания университета толпы с красными флагами. Под колоннами университета говорили речи. Кричали «ура». Вверх летели шапки.

Мы влезли на ограду Николаевского сквера, тоже кричали «ура» и бросали в воздух фуражки. Падая, они застревали в каштанах. Мы трясли каштаны, листья сыпались на нас трескучим дождем. Мы хохотали и были в восторге. У нас на шинелях были уже приколоты красные банты. Черный бронзовый Николай Первый стоял, выставив ногу, на постаменте среди сквера и надменно смотрел на этот беспорядок.

Толпа затихла, красные флаги склонились, и мы слышали торжественное пение:

Вы жертвою пали в борьбе роковой...

Все начали опускаться на колени. Мы тоже сняли фуражки и пели похоронный марш, хотя и не знали всех слов. Потом толпа поднялась с колен и двинулась мимо ограды Николаевского сквера. Я увидел в толпе старшего брата Борю и нашего жильца, студента-черногорца Марковича.

— Иди сейчас же домой! — сказал мне Боря. — И не смей один выходить на улицу.

— Я хочу с тобой, — робко сказал я.

— Тебя задавят. Ступай домой. Завтра все увидишь.

Мне очень хотелось идти вместе с этой счастливой и торжественной толпой. Но Боря уже исчез.

Где-то далеко впереди загремел оркестр, и я узнал крылатые, звенящие звуки «Марсельезы»:

Отречемся от старого мира,  
Отряхнем его прах с наших ног!

Я перелез через ограду и смешался с толпой. Девушка в каракулевой шапочке, должно быть курсистка, протянула мне руку, и мы пошли. Я ничего не видел перед собой, кроме спин. На крышах стояли люди и махали нам шапками.

Когда мы проходили мимо Оперного театра, я услышал топот копыт. Я влез на тумбу и увидел цепь конных городских. Они пятились, давая толпе дорогу. Вместе с городскими пятился и толстый полицмейстер. Он держал руку под козырек и снисходительно улыбался.

Я слез с тумбы и опять уже ничего не видел. Только по вывескам магазинов я узнавал, куда мы идем. Вот мы спускаемся по Фундуклеевской мимо театра Бергонье, вот поворачиваем на Крещатик и идем мимо кондитерской Кирхгейма. Мы миновали Лютеранскую улицу и книжный магазин Идзиковского.

— Куда мы идем? — спросил я девушку в каракулевой шапочке.

— К городской думе. Там будет митинг. Мы теперь свободные, как птицы. Вы понимаете?

— Понимаю, — ответил я.

— Где вы живете? — неожиданно спросила она.

– На Никольско-Ботанической.

– Родители знают, что вы на демонстрации?

– Все сейчас на демонстрации, – ответил я, стараясь обойти разговор о родителях.

Мы прошли магазин сухих фруктов Балабухи и Николаевскую улицу и остановились. Дальше идти было нельзя. До самой думы стояла густая толпа. На крыше думы блестел позолоченный архистратиг Михаил – герб города Киева. Был виден широкий думский балкон. На нем стояли люди без шапок. Один из них начал говорить, но ничего не было слышно. Я видел только, как ветер шевелил его седые волосы.

Кто-то схватил меня за плечо. Я оглянулся. Сзади стоял латинист Субоч.

– Паустовский Константин, – сказал он строго, но глаза его смеялись, – и ты здесь! Немедленно отправляйся домой.

– Не беспокойтесь, он со мной, – сказала девушка.

– Извините, мадемуазель, я не знал, – вежливо ответил Субоч.

Толпа подалась назад и отделила нас от Субоча. Девушка взяла меня за руку, и мы начали пробираться к тротуару.

– Спокойно, граждане! – крикнул рядом хриплый голос.

Стало очень тихо. Девушка выбралась со мной на тротуар. Она тащила меня к стене желтого дома со сводчатыми воротами. Я узнал здание почтамта.

Я не понимал, почему она так крепко держит меня и тащит в подворотню. Я ничего не видел, кроме человеческих спин и голубей – они носились над толпой, поблескивая на солнце, как листы бумаги. Где-то далеко пропела труба: ти-ти-та-та! ти-ти-та-та! Потом опять стихло.

– Товарищи солдаты! – снова крикнул надорванный голос, и сейчас же после этого сильно треснуло, будто рванули коленкор. На нас посыпалась штукатурка.

Голуби метнулись в сторону, и небо оказалось совершенно пустым. Раздался второй треск, и толпа бросилась к стенам.

Девушка втащила меня во двор, и последнее, что я видел на Крещатике, был маленький студент в расстегнутой шинели. Он вскочил на подоконник магазина Балабухи и поднял черный браунинг.

– Что это? – спросил я девушку.

– Стреляют! Войска стреляют.

– Зачем?

Она не ответила. Мы бежали с ней через узкие и запутанные дворы. Сзади были слышны крики, выстрелы, топот ног. День сразу потемнел и затянулся желтым дымом. Мне было трудно бежать из-за ранца. В нем гремели книги.

Мы выбежали дворами на Прорезную улицу и поднялись к Золотым Воротам. Мимо нас промчались две лакированные кареты скорой помощи. Нас обгоняли, задыхаясь, бледные люди. На Прорезной проскакал отряд казаков. Впереди скакал офицер с обнаженной шашкой. Кто-то пронзительно свистнул вслед казакам, но они не остановились.

– Боже, какая подлость! – повторяла девушка. – Какая западня! Одной рукой дать свободу, а другой – расстреливать!

Мы сделали большой круг и мимо Владимирского собора вышли к Николаевскому скверу – как раз к тому месту, где недавно я висел на ограде, кричал «ура» и махал фуражкой.

– Спасибо, – сказал я девушке. – Отсюда близко. Я дойду сам.

Девушка ушла. Я прислонился к ограде сквера и снял фуражку – она мне давила голову. Голова сильно болела. Мне было страшно. Около меня остановился старик в котелке и спросил, что со мной. Я не мог ничего ответить. Старик покачал головой и ушел.

Я натянул фуражку и пошел к себе на Никольско-Ботаническую. Уже темнело. Багровый закат светился в окнах. В это время обыкновенно загорались фонари. Но сейчас их почему-то не зажигали.



На углу нашей улицы я увидел маму. Она быстро шла мне навстречу. Она схватила меня за плечи, потом вдруг крикнула:

– Где Боря? Ты не видел Борю?

– Там! – показал я в сторону Крещатика.

– Иди домой! – сказала мама и побежала вверх по улице.

Я постоял, посмотрел ей вслед и побрел домой. На нашей улице было, как всегда, пустынно. В окнах уже горел свет. Я увидел лампу с зеленым абажуром на столе в папином кабинете. У открытой калитки стояла горничная Лиза. Она сняла с меня ранец, вытерла мне лицо своим платком и сказала:

– Гулена! С ума сойти из-за вас! Идем, умоешься.

Дома я застал только Галю и Диму. Галя ходила по комнатам, натывалась на стулья и повторяла: «Где же все? Где же все?» Дима сидел на подоконнике и прислушивался. Он не попал на демонстрацию. Ему хотелось услышать ружейную стрельбу. Он надеялся, что услышит ее, сидя на подоконнике.

Я умылся. Лиза дала мне горячего молока. Я все время всхлипывал.

– Ты видел убитых? – спросил меня Дима.

– Ага! – промычал я, ничего не соображая.

– Не лезь к нему! – сердито сказала Галя. – Видишь, на кого он похож!

Потом наконец пришла мама вместе с Борей. Боря был в пыли и без фуражки. Он странно улыбался, будто его оглушили. Вскоре после мамы вернулся студент Маркович. Он рассказал, что видел много убитых и раненых.

Мама опустила шторы на окнах и приказала Лизе никому не открывать дверей, не разузнав, кто звонит. Потом мама уснула меня спать. Перед тем как лечь, я поднял штору и посмотрел на улицу. Фонари до сих пор не горели. Непонятный серый свет падал на крыши. Было так тихо, будто город вымер. По соседней улице проскакал всадник, и снова все смолкло.

Я опустил штору, разделся и лег. Я смотрел на толстые стены и думал, что этот двухэтажный дом похож на крепость. Никакие пули его не пробьют. Потрескивал зеленый язычок лампадки. Я начал дремать. Сквозь дремоту я услышал звонок, торопливые шаги, потом голос отца. Он ходил по столовой из угла в угол и все время говорил.

Утром мама сказала, чтобы я никуда не смел уходить дальше нашего двора. Я огорчился и решил совсем не выходить из дому. Я накинул шинель, уселся на балконе и начал учить заданные нам стихи Некрасова. Но я успел выучить всего две строчки: «Поздняя осень. Грачи улетели. Лес обнажился, поля опустели». Меня все отвлекало. Проехала пожарная команда. Потом из флигеля вышел штабс-капитан Задорожный, черносотенец и грубиян. На нем была серая шинель, португез, а на боку, кроме шашки, висел в кобуре револьвер. За ним на крыльцо вышла его жена – тощая, как гладильная доска, растрепанная женщина с синими подтеками под глазами. На ней качался японский черный халат, вышитый павлинами.

Задорожный недавно вернулся с японской войны с двумя огромными сундуками. В сундуках были куски чесучи, халаты, веера и даже кривой китайский меч. «Герой Мукдена!» – насмешливо называл Задорожного отец.

– Жорж, – жеманно пропищала Задорожная, – имейте в виду, что я беспокоюсь.

– Пустое, мой друг! – браво ответил Задорожный и поцеловал ей руку. – Мы только прикончим весь этот гевалт.

И он ушел, не оглядываясь.

Только что окончилась японская война, и мы, дети, наравне со взрослыми огорчились и негодовали.

Мы слышали разговоры взрослых о бездарном командовании, о «тюфяке» Куропаткине, предательстве Стесселя, сдаче Порт-Артура и казнокрадах-интендантах. Самодержавная Россия расплзалась в клочья, как прелое рядно.

Но вместе с тем мы слышали и разговоры взрослых о мужестве и великой выносливости русского солдата, о том, что так дальше продолжаться не может и что пришли сроки народному долготерпению.

Самым страшным ударом для нас была гибель русского флота под Цусимой. Как-то Боря показал мне листок бумаги. На нем были отпечатаны на гектографе бледные лиловые строчки. Их едва можно было прочесть.

– Это прокламация? – спросил я. Мне пришлось уже несколько раз читать прокламации, расклеенные на стенах нашей гимназии.

– Нет, – ответил Боря, – это стихи.

Я с трудом разобрал их начало:

Довольно, довольно, герои Цусимы!  
Вы жертвой последней легли.  
Она уже близко, она у порога,  
Свобода родимой земли!

Свобода! Я тогда еще смутно представлял себе, что это такое. Я представлял ее такой, как на аллегорической картине, висевшей в папином кабинете. Там молодая женщина с гневным и сияющим лицом, с обнаженной крепкой грудью стояла на баррикаде. В одной руке она высоко держала красное знамя, а другой рукой прикладывала к оружию дымящийся фитиль. Это и была Свобода. За ней теснились люди в синих блузах с ружьями в руках, измученные, но радостные женщины, мальчишки и даже молодой поэт в рваном цилиндре. Все люди вдохновенно пели, должно быть, «Марсельезу»: «К оружию, граждане! Час славы настал!»

Били барабаны, пели трубы, Свобода победно шла по стране, и бурные народные клики приветствовали ее появление.

Позади Свободы шел человек, очень похожий на студента Марковича, такой же смуглый, с горящими глазами. Он держал в руке пистолет.

Однажды я заглянул в комнату Марковича через окно, выходившее на наш балкон, и увидел, как Маркович, напевая, чистит стальной черный браунинг. Медные маленькие пули лежали на столе на раскрытом медицинском учебнике.

Маркович заметил меня и тотчас прикрыл браунинг газетой.

На следующее утро Лиза сняла со стен иконы и поставила их на окна. На воротах нашего дома дворник Игнатий нарисовал мелом большой крест. Потом он запер ворота и калитку, и мы очутились как в крепости.

Мама сказала, что в городе начался еврейский погром. «По приказу из Петербурга», – добавила она. А Лиза шепотом сообщила, что уже громят дома на Васильковской улице и погром приближается к нам.

Маркович ушел вместе с Борей. Маркович надел сапоги, а студенческую тужурку стянул ремнем. Мама не хотела пускать Борю, но отец прикрикнул на нее. Тогда она перекрестила Борю, поцеловала и отпустила. Все время, пока Боря спускался с Марковичем по лестнице, она просила Марковича, чтобы он смотрел за Борей.

– Куда они ушли? – спросил я отца.

– В студенческую боевую дружину. Защищать евреев.

Вслед за Борей и Марковичем ушел и отец. Мы с Димой весь день слонялись по двору. В полдень мы услышали выстрелы. Потом выстрелы стали чаще. На Васильковской начался пожар. У нас во дворе падали хлопья сгоревшей бумаги.

Днем отец привел растерянную старушку-еврейку со сползшим с седой головы платком. Она вела за руку безмолвного мальчика. Это была мать знакомого доктора.

Мама позвала Игнатия, вышла к нему на кухню и дала ему десять рублей. Но Игнатий отдал маме деньги и сказал:

– У меня самого в дворницкой сидит портной Мендель со всем семейством. Поглядывайте лучше, чтобы Задорожная не заметила.

Перед вечером к нашим воротам подошел низенький парень в черном картузе. Мокрый кок торчал из-под его картуза. Весь подбородок был облеплен шелухой от семечек.

За парнем осторожно шагал высокий бритый старик в коротких брючках и канотье, за ним – вертлявый человек без шапки, с заплывшими глазками и тучная старуха в теплой шали, а за ней – несколько вороватого вида молодых людей. Торговку эту мы часто видели раньше на Галицком базаре. Сейчас она несла пустой новый мешок.

– Отчиняй! – крикнул парень и стукнул в калитку ломом.

Из дворницкой вышел Игнатий.

– Жиды есть? – спросил его парень.

– Такие, как ты, – лениво ответил Игнатий.

– Жидов ховаете? – крикнул парень и затряс калитку. – Мы в полной известности. Отчиняй.

– Вот попрошу сюда полковника Задорожного, – пригрозил Игнатий, – он с тобой поговорит по-своему.

– Плевал я на иерусалимских полковников! Мы из твоего полковника сделаем юшку!

Тогда мадам Задорожная, подслушивавшая этот разговор из флигеля, не выдержала. Она промчалась, как разъяренная курица, через двор. Рукава ее черного халата развевались и хлопали.

– Хам! – крикнула она и плюнула через решетчатую калитку в лицо парню. – Как ты смеешь оскорблять офицера императорской армии? Босяк! Василий! – завизжала она. – Иди сюда, маруда!

Из флигеля выскочил оторопевший денщик. Он подхватил у сарая топор и побежал к калитке. Парень отскочил и побежал вдоль улицы, оглядываясь на денщика. Спутники его засеменили за ним. Денщик пригрозил парню топором.

– Новости! – сказала мадам Задорожная, запахивая халат и возвращаясь во флигель. – Каждый хам будет выдавать себя за истинно русского! Нет, извините! Имейте в виду, что этот номер никому не пройдет!

Так неожиданно жена черносотенца отвела от нашего дома громил. Взрослые потом долго посмеивались над этим.

Парень остановился у соседнего дома и тоже начал колотить в ворота. Тогда Дима потащил меня на чердак над нашей квартирой. Там давно висела без всякого употребления огромная рогатка. Мы звали ее «катапультой».

Толстая резиновая полоса была наглухо прибита гвоздями к раме выбитого слухового окна. Рогатка эта осталась в наследство от мальчишки, жившего до нас в этом доме.

Я подобрал на чердаке кусок твердого желтого кирпича. Дима заложил его в рогатку и зажал. Мы вдвоем изо всей силы натянули рогатку, прицелились в парня и выстрелили.

Кирпич, сбивая листья и свистя, пронесся через двор, с грохотом ударил у ног высокого старика, проходившего по тротуару, и взорвался – рассыпался на десятки осколков. Мы промахнулись.

Старик присел от неожиданности, потом вскочил и кинулся бежать. За ним, громяхая сапогами, помчался парень.

– Давай второй кирпич! – крикнул мне Дима.

Но я опоздал – парень уже скрылся за угловым домом.

– Ты не так тянул, – сказал Дима, – поэтому мы и промазали. Ты тянул вкось.

Дима всегда любил сваливать ошибки на других и потом долго спорить.

Хотя мы промахнулись, но все же гордились этим выстрелом из «катапульты».

Вечером Лиза понесла в дворницкую к Игнатию пшенную кашу, чтобы накормить семью портного Менделя. Я увязался за Лизой.

Окна в дворницкой были завешены. Игнатий сидел на табурете, тихонько наигрывал на гармонике и напевал вальс «На сопках Маньчжурии» – память о японской войне:

Страшная ночь, только ветер на сопках рыдает...

Семья Менделя спала, а он сам сидел при керосиновой лампочке и наметывал белыми нитками новый пиджак.

– За тобой гоняются, – сказал он, – чтобы убить, а ты шей и шей. Иначе не с чего жить.

Лиза стояла у дверей и, пригорюнившись, слушала пение Игнатия.

В вышине одиноко томится луна  
И могилы солдат озаряет...

## Красный фонарик

Я зажег фонарик с красным стеклом. Внутри фонарика была вставлена керосиновая лампочка.

Фонарик осветил багровым светом тесный чулан и пыльную рухлядь, сваленную на полках.

Я начал проявлять пленки, снятые отцом. У отца был маленький «кодак». Отец любил снимать, но снятые катушки с пленкой валялись потом месяцами в ящике отцовского письменного стола. Перед большими праздниками в доме начиналась уборка. Мама вытаскивала эти катушки, отдавала мне, и я их проявлял.

Это было увлекательное занятие, потому что я никогда не мог угадать, что появится на пленках. Кроме того, мне нравилось, что в чулан, пока я проявлял, никто не смел входить, даже мама. Я был отрезан от мира. Привычные звуки – стук тарелок, бой часов, пронзительный голос горничной Лизы – почти не проникали в чулан.

На стене чулана висела маска из папье-маше. Она изображала курносого клоуна с выпуклыми, как шишки, красными щечками. Из-под маленького белого цилиндра, надетого набекрень, торчал рыжий клочок пакли.

В свете красного фонарика маска оживала. Клоун заглядывал в черную ванночку, где лежала в проявителе пленка. Он даже подмигивал мне. От него пахло клейстером. Иногда в квартире все затихало – так случается даже в самых шумных семьях. Тогда мне становилось не по себе с глазу на глаз с этим клоуном.

Постепенно я изучил его характер. Я знал, что клоун человек насмешливый, что у него нет ничего святого на свете и что в конце концов он отомстит нам за то, что мы всю жизнь держим его в чулане. Мне даже мерещилось, что клоун, наскучив молчанием, что-то бормотал иногда или напевал песенку:

На заборе чепуха  
Жарила варенье.  
Куры съели петуха  
В это воскресенье.

Но стоило мне открыть дверь чулана и впустить синеватый дневной свет, как клоун тотчас умирал и покрывался пылью.

На этот раз отец сам принес мне несколько катушек с пленкой и попросил проявить.

Отец только что возвратился из поездки в Москву. Было начало января 1906 года. В Москву отец попал в последние дни Декабрьского восстания. Он рассказывал о баррикадах на Пресне, дружинниках, артиллерийском огне. Несмотря на неудачу восстания, отец приехал возбужденный, прохваченный московским морозом. Он был твердо уверен, что не за горами всеобщее восстание в России и долгожданная свобода.

– Прояви получше, – сказал отец. – Там есть исторические московские снимки. Только я не помню, на каких катушках.

Все катушки были совершенно одинаковые. Отец не делал на них пометок. Пришлось проявлять наугад.

На первой катушке московских снимков не оказалось. Там было только несколько снимков худого маленького человека в коротком пиджаке, с галстуком, завязанным бантом. Человек этот стоял около стены. На ней висела длинная узкая картина.

Долго я ничего не мог разобрать на этой картине. Потом я наконец увидел худое горбоносое лицо с огромными печальными глазами. Лицо это было завалено птичьими перьями.

Отец подошел к чулану и спросил:

– Ну как? Есть московские снимки?

– Пока нет. Есть какой-то старичок около картины на стене.

– Это же Врубель! Разве ты его не помнишь? Смотри не передержи.

– На картине ничего не проявилось. Только лицо и какие-то перья.

– Так и нужно, – ответил отец. – Это «Демон».

Отец ушел. Тогда я вспомнил, как однажды отец за утренним чаем сказал маме, что в Киев приехал на несколько дней Михаил Александрович Врубель и просил отца зайти к нему в гостиницу.

– Не понимаю я твоего увлечения Врубелем, – недовольно ответила мама. – Декадентщина какая-то! Боюсь я этих одержимых художников.

Но отец все же пошел к Врубелю и взял меня с собой. Мы вошли в гостиницу около Золотых Ворот и поднялись на пятый этаж. В коридоре пахло гостиничным утром – одеколоном и кофе. Отец постучал в низкую дверь. Нам открыл худенький человечек в поношенном пиджаке. Лицо, волосы и глаза у него были такого же цвета, как и пиджак, – серые с желтоватыми пятнами. Это и был художник Врубель.

– Это что за юный субъект? – спросил он и крепко взял меня за подбородок. – Ваш сын? Совершенно акварельный мальчик.

Он схватил отца за руку и повел к столу.

Я боязливо осматривал комнату. Это была мансарда. Несколько рисунков, написанных акварелью, были приколоты булавками к темным обоям.

Врубель налил отцу и себе коньяку, быстро выпил свой коньяк и начал ходить по комнате. Он громко постукивал каблуками. Я заметил, что каблуки у него были очень высокие.

Отец сказал что-то похвальное о припиленных к обоям рисунках.

– Тряпье! – отмахнулся Врубель.

Он перестал метаться по комнате и сел к столу.

– Что-то я все время верчусь, как белка, – сказал он. – Самому надоело. Не поехать ли нам на Лукьяновку, Георгий Максимович?

– В Кирилловскую церковь?

– Да. Хочу посмотреть свою работу. Совсем ее позабыл.

Отец согласился. Мы втроем поехали на извозчике на Лукьяновку. Извозчик долго вез нас по бесконечной Львовской улице, потом по такой же бесконечной Дорогожицкой. Врубель и отец курили.

Я смотрел на Врубеля, и мне было его жалко. Он дергался, перебегал глазами, непонятно говорил, закуривал и тотчас бросал папиросу. Отец разговаривал с ним ласково, как с ребенком.

Мы отпустили извозчика около Федоровской церкви и пошли пешком по улицам Лукьяновки, среди садов. Мы вышли к обрыву. Дорога петлями пошла вниз. Там, внизу, виднелся маленький купол Кирилловской церкви.

– Посидим немного, – предложил Врубель.

Мы сели на землю на обочине дороги. Пыльная трава росла вокруг. Над Днепром синело вялое небо.

– Плохо, Георгий Максимович, – сказал Врубель, ударил себя по дряблой щеке и засмеялся. – Мне надоело таскать эту противную свою оболочку.

Я, конечно, плохо понимал слова Врубеля, да и не запомнил бы весь этот разговор, если бы отец не рассказывал о нем маме, а потом дяде Коле и некоторым знакомым и если бы все они не жалели Врубеля.

В Кирилловской церкви Врубель молча рассматривал собственные фрески. Они казались вылепленными из синей, красной и желтой глины. Мне не верилось, что такие большие картины на стене мог нарисовать этот худенький человек.

– Вот это живопись! – воскликнул Врубель, когда мы вышли из церкви.

Я удивился, что отец отнесся к этим словам спокойно и даже согласился с Врубелем, тогда как ни мне, ни моим братьям он не позволял сказать ни одного хвастливого слова. Поэтому, когда мы расстались с Врубелем на Рейтарской улице, я сказал отцу, что Врубель мне не понравился.

– Почему? – спросил отец.

– Он хвастун.

– Дурачок! – Отец похлопал меня по спине. – Не горбься!

– Почему дурачок? – спросил я обиженно.

– Прежде всего надо знать, – ответил отец, – что Врубель замечательный художник. Когда-нибудь ты сам это поймешь. А потом, еще надо знать, что он больной человек. Он душевно неуравновешенный. И еще надо знать один золотой закон: никого не осуждать сгоряча. Иначе ты всегда попадешь в глупое положение. Перестань же, наконец, горбиться! Я ничего не сказал тебе обидного.

На картине за спиной Врубеля, хотя пленка уже проявилась, трудно было что-нибудь разобрать. Я только знал, что это «Демон».

Увидел я эту картину впервые гораздо позже, зимой 1911 года, в Третьяковской галерее.

Москва дымилась от стужи. Пар вырывался из набухших дверей трактиров. Среди уютного московского снега, заиндевелых бульваров, заросших льдом окон и зеленоватых газовых фонарей сверкала, как синий алмаз, как драгоценность, найденная на сияющих вершинах Кавказа, эта картина Врубеля. Она жила в зале галереи холодом прекрасного, величием человеческой тоски.

Я долго стоял перед «Демоном». Впервые я понял, что созерцание таких картин не только дает зрительное наслаждение, но вызывает из глубины сознания такие мысли, о каких человек раньше и не подозревал.

Я вспоминал Лермонтова. Мне представлялось, как он, осторожно позванивая шпорами, входит в Третьяковскую галерею. Входит, ловко скинув внизу, в вестибюле, серую шинель на руки сторожу, и потом долго стоит перед «Демоном» и разглядывает его сумрачными глазами.

Это он написал о себе горькие слова: «Как в ночь звезды падучей пламень, не нужен в мире я». Но боже мой, как он ошибался! И как нужен миру этот мгновенный пламень падучих звезд! Потому что не единым хлебом жив человек.

Он считал себя пленником земли. Он растратил жар души в пустыне. Но пустыня расцвела после этого и наполнилась его поэтической силой, его гневом, тоской, его постижением счастья. Ведь это он застенчиво признался: «Из-под куста мне ландыш серебристый приветливо кивает головой». И кто знает, может быть, острый и режущий воздух горных вершин, забрызганных кровью демона, наполнен очень слабым, очень отдаленным запахом этого приветливого лесного цветка. А он, Лермонтов, как и этот поверженный демон, – просто ребенок, не получивший от жизни того, к чему он страстно стремился: свободы, справедливости и любви.

– Ну что, – снова спросил меня из-за двери отец, – есть уже московские снимки?

Голос отца вывел меня из оцепенения. Я начал проявлять следующую катушку и позавыл о Врубеле. На пленке появились заваленные снегом московские улицы с низкими домами. Поперек улицы были построены из бочек, досок, камней и вывесок невысокие баррикады. Около баррикад стояли штатские люди, но с винтовками и револьверами в руках.

Потом появились высокие дома, пробитые снарядами, Горбатый мост, Зоологический сад, весь в дыму пожара, простреленные вывески трактиров, опрокинутые трамваи.

Все это было затянуто зимней муťou, и тут уже я ничем не мог помочь. Никакой проявитель не мог разрезать эту муťу и сообщить ясность снимкам.

Эта муťу хорошо передавала самую обстановку восстания. Казалось, что от снимков тянет пороховым дымком.

Восстание! Это слово звучало необычно в тогдашней, как будто патриархальной России. Я читал повести о восстании индусов, знал о восстании коммунаров в Париже, о мятеже декабристов, но Московское восстание казалось мне самым сильным и романтическим.

Я достал карту Москвы. Отец показал мне на ней все места, где были бои и баррикады, – Чистые пруды, Смотеку, Кудринскую площадь, Грузины, Пресню и Горбатый мост. С тех пор самые эти названия были овеваны для меня особой прелестью мест, ставших историческими на моей памяти.

Все, что окружало это восстание, приобрело для меня значительность: московская лохматая зима, чайные, где собирались дружинники, смешение древних московских черт с новой эпохой, связанной с восстанием.

Извозчики в рваных армяках, крендели над булочными, торговки с горячими пирогами, а рядом – свист пуль, перебежки, сталь револьверов, красные флаги, пение «Варшавянки»: «Вихри враждебные веют над нами, темные силы нас злобно гнетут».

В этом была поэзия борьбы, дыхание недалекой свободы, еще туманной, как чуть забрезживший зимний рассвет. Были бодрость, вера, надежда.

Вся огромная российская равнина следила за заревами, полыхавшими на Пресне, ждала победы дружинников. Это восстание было подобно зимней грозе – предвестнице новых гроз и новых освежающих потрясений.

Сейчас я могу передать то приподнятое состояние, что овладело мною тогда. В то время я все это чувствовал, но не мог объяснить.

На следующий день я отпечатал все снимки и отнес отцу. Уже смеркалось. В кабинете горела лампа. Она освещала на письменном столе знакомые вещи: стальную модель паровоза, статуэтку Пушкина с курчавыми баками и груды сатирических революционных журналов – их много выходило в то время. На самом видном месте стояла открытка с портретом лейтенанта Шмидта в черном плаще с застежками в виде львиных голов.

Отец лежал на диване и читал газету. Он просмотрел все снимки и сказал:

– Невероятная страна! Врубель и восстание! Все уживается вместе, и все ведет к одному.

– К чему к одному?

– Все ведет к лучшему. Ты еще много увидишь интересного, Костик. Если сам, конечно, будешь интересным человеком.



## Пустынная Таврида

Через два года, когда мне было уже четырнадцать лет, мама настояла, чтобы мы на этот раз поехали на лето не в Рёвны, а в Крым. Она выбрала самый тихий из крымских городков – Алушту.

Ехали мы через Одессу. Гостиницы в Одессе были переполнены. Пришлось остановиться в подворье Афонского монастыря, около вокзала. Монастырские послушники – бледные юноши в рясах и черных лакированных поясах – угощали нас щами из крапивы и сушеной камсы.

Я был в восторге от этих щей, от нарядного белого города, шипучей сельтерской воды и от порта. Над ним сизыми тучами носились голуби и перемешивались с белыми тучами чаек.

Опять я встретился с морем. У этих степных берегов оно было ласковее, чем у берегов Кавказа.

Старый пароход «Пушкин» шел в Ялту. Над морем стоял штиль. Дубовые планширы нагревались так сильно, что на них нельзя было положить руку. В салоне все подрагивало и звенело от вращения парового винта. Солнце проникало через световой люк, иллюминаторы и открытые двери. Меня поражало обилие южного света. От него сверкало все, что только могло сверкать. Даже грубые парусиновые занавески на иллюминаторах вспыхивали ярким огнем.

Крым поднялся из морской голубизны, как остров сокровищ. Облака лежали на вершинах его сиреневых гор. Белый Севастополь медленно плыл нам навстречу. Он встретил наш старый пароход полуденным пушечным выстрелом и голубыми крестами андреевских флагов.

«Пушкин» долго бурлил, разворачиваясь в бухте. Со дна взлетали фонтаны пузырей. Вода шипела. Мы носились с борта на борт, чтобы ничего не пропустить. Вот Малахов курган и Братское кладбище, Графская пристань, Константиновский форт, выдвинутый в самые морские буруны, и мятежный крейсер «Очаков», окруженный понтонами. Катера с военных кораблей проносились мимо, отбрасывая на корму малахитовую воду.

Я смотрел как зачарованный на все вокруг. Значит, на самом деле, а не только в книгах существует этот город, где умер Нахимов, где рвались на бастионах круглые ядра, где сражался артиллерист Лев Толстой, где клялся в верности народу лейтенант Шмидт. Вот он здесь, этот город, – в горячем дне, в перистой тени акаций.

До Ялты «Пушкин» добрался вечером. Он медленно вплывал в ялтинскую гавань, как в садовую беседку, убранную огнями.

Мы спустились на каменный мол. Первое, что я увидел, была тележка черномазого торговца. Над ней висел на шесте фонарь. Он освещал пушистые персики и большие сливы, покрытые сизым налетом.

Мы купили персиков и пошли в гостиницу «Джалита». Веселые носильщики тащили наши вещи.

Я так устал, что в гостинице тотчас уснул, едва заметив сороконожку, притаившуюся в углу, и черные кипарисы за окнами. Несколько мгновений я еще слышал, как тоненьким голосом напевал фонтан среди двора. Потом сон поднял меня и понес, покачивая, как в каюте, куда-то далеко, в чудесную страну – сестру таинственного Крыма.

После Ялты с ее пышной набережной Алушта показалась мне скучной. Мы поселились на окраине, за Стахеевской набережной.

Каменистая земля, пахучие заросли туи, пустое море и далекие Судакские горы – вот все, что окружало нас в Алуште. Больше в Алуште ничего не было. Но и этого было достаточно, чтобы я постепенно примирился с Алуштой и полюбил ее.

Мы часто ходили с Галей на соседний виноградник и покупали там сладкую шашлу, крупный холодный чауш и розоватый мускат. На винограднике пели цикады. На земле цвели маленькие, с булавочную головку, желтые цветы.

Из белого низкого дома выходила пожилая женщина Анна Петровна, с таким загорелым лицом, что серые ее глаза казались совершенно белыми. Она нарезала нам виноград. Иногда она высылала к нам свою дочь Лену, босоногую семнадцатилетнюю девушку с выгоревшими косами, заложенными венком вокруг головы, и такими же серыми глазами, как у матери.

Эту девушку взрослые прозвали «русалкой». В сумерки Лена часто проходила мимо нашей дачи, спускалась к морю, купалась и долго плавала, а потом возвращалась с полотенцем на плече и пела:

Там, в голубом просторе,  
В лазоревой дали,  
Забудем мы и горе,  
И бедствия земли.

Галя подружилась с Леной и выпытала у нее все. Галя вообще любила подробно расспрашивать людей обо всех обстоятельствах жизни. Она делала это с упорством близорукого и любопытного человека.

Оказалось, что Анна Петровна – вдова, бывшая библиотекарьша из Чернигова, что Лена заболела туберкулезом и доктора посоветовали увезти ее в Крым. Анна Петровна приехала в Алушту. В Алуште она вышла замуж за старого украинца, владельца виноградника. Старик вскоре умер, и теперь Анна Петровна и Лена остались единственными хозяевами этого виноградника. Зимой Лена жила в Ялте, училась в ялтинской гимназии, но по воскресеньям приезжала в Алушту к матери. Болезнь Лены совершенно прошла.

Лена собиралась после окончания гимназии стать певицей. Галя отговаривала ее от этого. По мнению Гали, единственным достойным занятием для женщины было преподавание. Сама Галя хотела быть сельской учительницей. Мне все эти Галины мысли давно наскучили, тем более что она говорила о своем будущем призвании слишком много и доказывала всем, хотя с ней никто и не спорил, что нет лучшего занятия на свете, чем быть педагогом.

Меня почему-то злило, что Галя отговаривает Лену сделаться певицей. Я любил театр. Назло Гале я восторженно рассказывал Лене обо всех пьесах, какие видел в театре: «Синей птице», «Дворянском гнезде», «Мадам Сан-Жен» и «Горе от ума».

Я многое преувеличивал. Я предсказывал Лене заманчивое будущее. Мне нравилось думать, что загорелая и худенькая эта девушка, плававшая в море лучше любого матроса, когда-нибудь выйдет на сцену в тонком платье с треном, на груди у нее будет вздрагивать от дыхания темный цветок, и даже сквозь пудру будет проступать на ее лице морской загар.

Я окружил Лену своими безудержными мечтами. Она слушала меня, откинув голову, будто косы оттягивали ее назад, и едва заметно краснела. Иногда она спрашивала:

– Ну сознайтесь, вы все это выдумываете? Правда? Я не буду сердиться.

Она говорила мне «вы», хотя была на три года старше меня. В то время «ты» говорили друг другу только очень близкие люди.

Я не мог признаться в этом, потому что искренне верил всему, что выдумывал. Это свойство стало причиной многих моих несчастий. Удивительнее всего было то, что за всю жизнь я не встретил ни одного человека, который захотел бы понять или хотя бы оправдать это свойство.

Но Лена мне верила. Ей хотелось верить всему, что я выдумывал. Если два-три дня я не приходил с Галей на виноградник, она сама приносила нам виноград, говорила, смущаясь, маме: «Это Анна Петровна прислала вам в подарок» – и, улучив минуту, быстро шептала мне:

– Ей-богу, это свинство! Почему не приходите?

Отец вскоре уехал из Алушты. Ему нужно было по делам в Петербург. Потом уехал Боря – держать экзамен в Киевский политехнический институт.

Мама была почему-то встревожена отъездом отца и не обращала на нас внимания. Она даже была рада, когда мы целыми днями пропадали у моря и ее не тревожили.

Я все время бродил по пояс в воде и ловил под камнями крабов. Кончилось это тем, что как-то, выкупавшись вечером в море, я простудился и схватил воспаление легких. Вдобавок в первую же ночь, когда я лежал в жару, меня укусила сколопендра.

Шел август. Скоро начинались занятия в гимназии. Надо было возвращаться в Киев. Моя болезнь спутала все карты. В конце концов мама отправила Галю с Димой, а сама осталась со мной.

Я болел тяжело и долго. Все ночи я почти не спал. Было больно дышать. Я старался дышать осторожно и с тоской смотрел на белые стены. Из трещин в стенах выползали сороконожки. Лампа горела на столе. Тени от склянок с лекарствами казались доисторическими чудовищами – они обнюхивали потолок, вытянув длинные шеи.

Я поворачивал голову и смотрел на черное окно. В нем отражалась лампа. За этим отражением гудело море.

Ночная бабочка билась в стекло. Ей хотелось улететь из лекарственной комнатной духоты.

Мама спала в соседней комнате. Я звал ее, просил пить и выпустить бабочку. Мама выпускала ее, и я успокаивался.

Но потом, не знаю как, я видел, что бабочка садилась на сухую траву тут же, за окном, и, немного посидев, возвращалась и опять влетала в комнату, большая, будто сова. Она опускалась мне на грудь. Я чувствовал, что бабочка тяжелая, как камень, и что вот сейчас она раздавит мне сердце.

Я снова звал маму и просил, чтобы она прогнала бабочку. Мама, сжав губы, снимала с меня тугий горячий компресс и укутывала меня одеялами.

Я потерял счет ночам, наполненным непонятным гулом и сухим жаром простынь.

Однажды днем пришла Лена. Я не сразу сообразил, что это она. На ней было коричневое форменное платье, черный передник и маленькие черные туфли. Светлые ее косы были тщательно заплетены и висели, перекинута на грудь, по сторонам загорелого лица.

Лена пришла попрощаться перед отъездом в Ялту. Когда мама вышла из комнаты, Лена положила мне руку на лоб. Рука была холодная, как льдинка. Конец косы упал мне на лицо. Я чувствовал теплый и свежий запах волос.

Вошла мама. Лена быстро убрала руку, а мама сказала, что Лена принесла для меня замечательный виноград.

– Лучшего у нас, к сожалению, нет, – ответила Лена.

Отвечая, она смотрела не на маму, а на меня, будто хотела сказать мне что-то важное.

Потом она ушла. Я слышал, как она сбежала по лестнице. В доме, кроме нас, никто уже не жил, все разъехались, и потому каждый звук был хорошо слышен.

С этого дня я начал поправляться. Доктор сказал, что после того, как я встану, мне надо будет прожить в Алуште не меньше двух месяцев, до самого ноября. Надо окрепнуть и отдохнуть. Тогда мама решила выписать из Киева Лизу, чтобы она присматривала за мной и меня кормила. Сама же мама торопилась в Киев – не знаю почему.

Лиза приехала через неделю, и на следующий же день мама уехала на лошадях в Симферополь.

Лиза все время ахала. Она ни разу не видела моря, кипарисов, виноградников – мама вывезла Лизу в Киев из Брянских лесов, из Рёвен.

Я остался с Лизой. Я уже начинал вставать. Но выходить мне еще не позволяли. Весь день я сидел на застекленной террасе под осенним и не очень жарким солнцем и читал. Я нашел в комод «Тристана и Изольду». Я несколько раз прочел эту удивительную легенду, и каждый раз после того, как я ее перечитывал, мне становилось все грустнее.

Потом я решил сам написать что-нибудь вроде «Тристана и Изольды» и несколько дней сочинял повесть. Но дальше описания морской бури у скалистого берега я не пошел.

В конце сентября доктор позволил мне наконец выходить. Я бродил один по безлюдной Алуште. Я любил ходить на пристань во время прибоев. Волны катились под дырявым настилом. Через щели взлетали струи воды.

Однажды я зашел к Анне Петровне. Она напоила меня кофе и сказала, чтобы я непременно приходил в воскресенье, так как в этот день должна приехать из Ялты Лена. Все время после этого я думал, как я встречу с Леной.

Это воскресенье я помню ясно, будто оно было вчера, потому что в этот день случилось два события.

Я знал, что Лена приедет из Ялты утренним катером. Я пошел на пристань. Но как только катер показался из-за мыса, я спрятался за дощатый киоск. В нем продавали открытки с видами Крыма. Я сел на камень и просидел там все время, пока катер не подошел к пристани. С него сошла Лена и, поискав кого-то на пристани, медленно пошла домой.

Я боялся, что она меня заметит. Это было бы совсем глупо. Она несколько раз оглянулась, потом возвратилась к пристани и немного постояла у деревянной тумбы с афишами. Она делала вид, что читает афиши, хотя все они уже были оборваны и висели клочьями.

Украдкой я смотрел на нее. На голову она накинула теплый белый платок. Она побледнела и похудела в Ялте. Она стояла около тумбы, опустил глаза, хотя ей надо было поднять их, если она действительно читала афиши. Потом она ушла, уже совсем.

Я подождал немного и вернулся домой. Мне было стыдно своей трусости.

Я не знал, идти мне теперь к Лене или нет. За обедом я ничего не ел. Лиза пригрозила мне, что пошлет об этом телеграмму маме. Лиза была малограмотная, и я только усмехнулся на ее угрозу.

После обеда я наконец решился, надел шинель и вышел. Лиза крикнула мне вслед, чтобы я застегнул шинель, но я не послушался.

Я подошел к винограднику. Он уже был совсем багровый. Я открыл калитку. Тотчас хлопнула дверь в белом доме, и я увидел Лену. Она бежала мне навстречу в одном платье.

Это был хороший день. Я перестал стесняться и рассказывал о Рёвках, учителе географии Черпунове и тете Наде. Лена незаметно подкладывала мне на тарелку то виноград, то сливы – ренклоды. Потом она сказала:

– Почему вы пришли в расстегнутой шинели в такой холод? Перед кем вы франтите?

– Вы же сами выбежали в одном платье, – ответил я.

– Потому что... – сказала она и замолкла. – Потому что у меня не было воспаления легких.

Румянец проступил у нее под загаром. Анна Петровна посмотрела на Лену из-под очков и покачала головой:

– Лена, не забывай, что тебе уже семнадцать лет.

Она сказала это таким тоном, будто Лена была совершенно взрослой женщиной, а между тем делает глупости.

Анна Петровна и Лена проводили меня до дому и зашли ко мне, чтобы посмотреть, как я живу. Лиза покраснела, как свекла, но быстро успокоилась и пожаловалась Анне Петровне, что я не слушаюсь и хожу в расстегнутой шинели. Анна Петровна сказала, чтобы Лиза, если ей что-нибудь нужно, всегда приходила к ней. Лиза обрадовалась. У нее в Алуште не было

знакомых. Изредка она гуляла со мной, собирала полынь и развешивала ее в комнате. Все свободное время она гадала на картах.

Лиза была краснощекая, с заплавленными добрыми глазками и очень доверчивая. Она верила любой чепухе, которую ей рассказывали.

Анна Петровна с Леной ушли. Мне стало скучно. Впереди был длинный вечер. Мне хотелось опять пойти на виноградник, но я знал, что этого нельзя делать.

Я вновь решил писать свою повесть, зажег лампу и сел к столу. Но вместо повести я написал первые стихи. Я их забыл сейчас. В памяти осталась только одна строчка:

О, срывайте цветы на поникших стеблях...

Мне нравились эти стихи. Я собирался писать еще долго, но вошла Лиза, сказала: «Ишь чего выдумал – портить глаза! Давно спать пора» – и задула лампу. Я рассердился, сказал, что я уже взрослый, и обозвал ее дурехой. Лиза ушла к себе, заплакала от обиды и сказала хриплым голосом:

– Вот уйду завтра пешком в Киев, – делай тут один чего хочешь.

Я молчал. Тогда Лиза сказала, что завтра же пошлет маме телеграмму о моем поведении. Она долго что-то ворчала в своей комнате, потом вздохнула:

– Ну, бог с тобой. Спи. Ишь ветер какой забушевал на дворе!

Над головой у меня висели круглые стенные часы. Каждый раз, когда они били два часа ночи, я просыпался. На этот раз я тоже проснулся и долго не мог понять, что случилось. На стене мигал багровый свет. Окно выходило на море. За ним однообразно гудел ветер. Я сел на кровати и выглянул в окно. Над морем качалось зарево. Оно освещало низкие тучи и взволнованную воду.

Я начал торопливо одеваться.

– Лиза! – крикнул я. – Пожар на море!

Лиза зашевелилась, вскочила и тоже начала одеваться.

– Что же это может гореть на воде? – спросила она.

– Не знаю.

– Зачем же ты встал? – спросила Лиза.

Спросонок она плохо соображала.

– Пойду на берег.

– Я тоже.

Мы вышли. Ветер рванул из-за угла дома и охватил меня тугим холодом. Зарево подымалось к небу. Около ворот стоял дворник-татарин.

– Пароход горит, – сказал он. – Что сделаешь, а!

Мы сбежали к берегу. Около пристани, очевидно на спасательной станции, звонил колокол. На берегу стояли кучками люди. Я сразу же потерял в темноте Лизу.

Рыбаки в высоких сапогах и штормовых плащах стаскивали по гальке в море бот. Слышны были торопливые голоса: «Пассажирский», «Мили две от берега», «Корму удержи-вай, слышь, не давай раскатываться». Мокрые рыбаки полезли в бот, разобрали весла. Бот подняло на волну, и он пошел в море.

Кто-то взял меня за локоть. Я обернулся. Рядом стояла Лена. Зарево слабо освещало ее. Я смотрел на Лену, на ее строгое лицо.

Мы молча стояли у края набережной. В море поднялась белая ракета. За ней поднялась вторая.

– Помощь подходит, – сказала Лена. – Если бы не мама, я пошла бы с рыбаками на боте. Непременно пошла бы.

Она помолчала и спросила:

– Когда ты уезжаешь?

У меня заколотилось сердце – так неожиданно она сказала мне «ты».

– Должно быть, через неделю.

– Значит, я увижу тебя. Я постараюсь приехать пораньше.

– Я буду очень ждать, – ответил я, и мне показалось, что после этих страшных слов я сорвался в пропасть.

Лена слегка оттащила меня от края набережной.

– Что же делать? – спросила она тихо. – Мама напугана. Она где-то здесь, около пристани. Ты не сердись на меня?

– За что?

Она не ответила.

– Лена! – позвала из темноты Анна Петровна. – Где же ты? Идем домой!

– Я завтра уеду утренним дилижансом, – прошептала Лена. – Смотри не вздумай провожать. Прощай.

Она пожала мне руку и ушла. Я смотрел ей вслед. Несколько мгновений – не больше – был виден ее белый платок, накинутый на голову.

Зарево на море тускло. Над водой лег зеленый луч прожектора. Это подходил на помощь горящему пароходу миноносец «Стремительный». Я разыскал Лизу, и мы вернулись домой.

Мне хотелось скорее лечь и уснуть, чтобы не думать о том удивительном и хорошем, что произошло только что между мной и Леной.

Утром, когда на месте зарева курился слабый дымок, я пошел на пристань и узнал, что в море горел пароход. Говорили, что в трюме парохода взорвалась адская машина, но капитану удалось посадить пароход на прибрежные скалы.

Узнав эти новости, я ушел далеко по шоссе в сторону Ялты. Всего час назад здесь проезжала на дилижансе Лена. Я сел на парапет над морем и долго просидел, засунув руки в рукава шинели.

Я думал о Лене, и у меня тяжело билось сердце. Я вспоминал запах ее волос, теплоту ее свежего дыхания, встревоженные серые глаза и чуть взлетающие тонкие брови. Я не понимал, что со мной. Страшная тоска сжала мне грудь, и я заплакал.

Мне хотелось только одного – видеть ее все время, слышать только ее голос, быть около нее.

Я было совсем уже решил идти сейчас же пешком в Ялту, но в это время за поворотом шоссе закрипела мажара. Я быстро вытер глаза, отвернулся и начал смотреть на море. Но опять набежали слезы, и я ничего не увидел, кроме синего режущего блеска.

Я сильно озяб и никак не мог унять дрожь во всем теле.

Проезжавший на мажаре старик в соломенной шляпе остановил лошадей и сказал:

– Садись, друг, подвезу до Алушты.

Я влез в мажару. Старик оглянулся и спросил:

– Ты, часом, не из сиротского дома?

– Нет, я гимназист, – ответил я.

Последние дни в Алуште были необыкновенно грустные и хорошие. Такими всегда бывают последние дни в тех местах, с которыми жаль расставаться.

С моря нахлынул туман. От него отсырела трава перед нашей дачей. Сквозь туман просвечивало солнце. Лиза топила печку желтыми акациевыми дровами.

Падали листья. Но они были не золотые, как у нас в Киеве, а сероватые, с лиловыми жилками.

Волны бесшумно выходили из тумана, набегали на берег и бесшумно уходили в туман. Мертвые морские коньки валялись на прибрежной гальке.

Чатыр-Даг и Бабуган-Яйла закутались в облака. С гор спускались отары овец. Одиичалые овчарки бежали позади отар, подозрительно поглядывая по сторонам.

Стало так тихо от тумана и осени, что со своего балкона я слышал голоса внизу, в городке. В чебуречной на базаре жарко горели мангалы, пахло пригорелым жиром и жареной кефалью.

Мы должны были уезжать с Лизой в понедельник утром. Лиза уже наняла извозчика до Симферополя.

Я ждал Лену в субботу, но она не приехала. Я несколько раз проходил мимо виноградника, но никого не заметил. И в воскресенье утром ее тоже не было. Я пошел к станции дилижансов. Там было пусто.

Обеспокоенный, я вернулся домой. Лиза подала мне конверт.

– Какой-то парнишка принес, – сказала она. – Должно быть, от Анны Петровны. Чтобы ты пришел попрощаться. Ты пойдешь. Они хорошие люди.

Я ушел в сад, разорвал конверт и вынул полоску бумаги. На ней было написано: «Приходи в шесть часов к трем платанам. Лена».

Я пришел к трем платанам не к шести, а к пяти часам. Это было пустынное место. В каменистом овраге около русла высохшего ручья росли три платана. Все поблекло вокруг. Только кое-где доцветали тюльпаны. Должно быть, на этом месте был когда-то сад. Деревянный мостик был переброшен через ручей. Под одним из платанов стояла ветхая скамья на заржавленных чугунных лапах.

Я пришел раньше назначенного времени, но уже застал Лену. Она сидела на скамье под платаном, зажав руки между коленями. Платок упал у нее с головы на плечи.

Лена обернулась, когда я подошел к самой скамье.

– Ты не поймешь, – сказала она и взяла меня за руку. – Нет, ты не обращай внимания... Я всегда говорю ерунду.

Лена встала и виновато улыбнулась. Она опустила голову и смотрела на меня исподлобья.

– Мама говорит, что я сумасшедшая. Ну что ж! Прощай!

Она притянула меня за плечи и поцеловала в губы, потом отстранила и сказала:

– А теперь иди! И не оглядывайся! Я прошу. Иди!

Слезы появились у нее на глазах, но только одна сползла по щеке, оставив узенький мокрый след.

И я ушел. Но я не выдержал и оглянулся. Лена стояла, прислонившись к стволу платана, закинув голову, будто косы оттягивали ее назад, и смотрела мне вслед.

– Иди! – крикнула она, и голос ее странно изменился. – Все это глупости!

Я ушел. Небо уже померкло. Солнце закатилось за гору Кагель. С Яйлы дул ветер, шумел жесткими листьями.

Я не соображал, что все кончено, совсем все. Гораздо позже я понял, что жизнь по непонятной причине отняла тогда у меня то, что могло бы быть счастьем.

На следующее утро мы с Лизой уехали в Симферополь.

В лесах за Чатыр-Дагом лил дождь. Всю дорогу до Киева дождь хлестал по вагонным окнам.

Дома моего приезда как будто не заметили. Что-то плохое случилось в нашей семье. Но я еще не знал, что именно.

Я был даже рад, что на меня не обращают внимания. Я все время думал о Лене, но не решался ей написать.

После этой осени я попал в Крым только в 1921 году, когда все, что случилось между мною и Леной, стало воспоминанием, не причиняло боли, а вызывало только раздумья. Но у кого их нет, этих раздумий? Стоит ли о них говорить?

## Крушение

После Крыма все сразу переменялось. У отца произошло столкновение с начальником Юго-Западной железной дороги. Отец бросил службу. Благополучие окончилось сразу.

Мы переехали с Никольско-Ботанической улицы на Подвальную. Как будто по насмешке, мы поселились на этой улице в подвальном этаже.

Мы жили только тем, что мама распродала вещи. В холодноватой и темной квартире все чаще появлялись безмолвные люди в барашковых шапках. Они шныряли острыми глазками по мебели, картинам, по выставленной на столе посуде, потом тихо и убедительно беседовали с мамой и уходили. А через час-два во двор въезжали дроги и увозили то шкаф, то стол, то трюмо и ковер.

На кухне мы заставляли по утрам татарина в черной стеганой тюбетейке. Мы звали его «шурум-бурум». Он сидел на корточках и разглядывал на свет отцовские брюки, пиджаки и простыни.

«Шурум-бурум» долго торговался, уходил, опять приходил, мама сердилась, пока наконец «шурум-бурум» не бил по рукам, не вытаскивал из кармана толстый бумажник и не отсчитывал, деликатно поплеывая на пальцы, рванные деньги.

Отца почти никогда не было дома. Он уходил утром и возвращался поздно, когда мы спали. Где он проводил все дни, никто из нас не знал. Очевидно, он искал службу.

Мама сразу постарела. Седая прядь волос все чаще падала у нее со лба на лицо, — мама начала причесываться очень небрежно.

Боря ушел от нас и поселился в меблированных комнатах «Прогресс», около вокзала, якобы потому, что оттуда ближе до Политехнического института. На самом деле он ушел потому, что не ладил с отцом, считал его виновником несчастий в нашей семье и не хотел жить в угрюмой обстановке Подвальной улицы. Боря зарабатывал на себя уроками, но помогать нам не мог. Дима тоже давал уроки, или, как говорили тогда, был репетитором.

Только я был еще молод, чтобы учить других, а Галя так близорука, что не могла ничем заниматься, кроме помощи маме по дому. Лизу пришлось отпустить.

Однажды утром к нам пришел вместе с дворником сухопарый скрипучий старик, судебный пристав, и описал за какие-то отцовские долги почти всю оставшуюся обстановку. Отец скрыл от мамы эти долги. Теперь все обнаружилось. После этого отец взял первое попавшееся и очень плохое место на сахарном заводе вблизи Киева и уехал.

Мы остались одни. Несчастье вошло в семью. Она умирала. Я это понимал. Это было особенно трудно после Крыма, после короткой и грустной любви моей к Лене, после легкого моего детства.

Раз в месяц дядя Коля присылал маме деньги из Брянска. Мама, получив эти деньги, каждый раз плакала от стыда.

Однажды я увидел маму в приемной директора гимназии. Я бросился к ней, но она отвернулась, и я понял, что она не хочет, чтобы я ее заметил.

Я не мог догадаться, зачем мама приходила к директору, но ни о чем ее не спрашивал. Через несколько дней новый наш директор, Терещенко, назначенный вместо Бессмертного, лысый, низенький и круглый, с головой будто смазанной маслом (за это ему дали прозвище «Маслобой»), остановил меня в коридоре и сказал:

— Передайте вашей мамаше, что педагогический совет уважил ее просьбу и освободил вашего брата и вас от платы за ученье. Но имейте в виду, что освобождаются только хорошие ученики. Поэтому советую подтянуться.

Это было первое унижение, какое я испытал. Дома я сказал маме:

— Диму и меня освободили от платы. Зачем ты ходила к директору?



– Что же я могла сделать другое? – тихо спросила мама. – Взять вас из гимназии?

– Я сам бы заработал на себя.

Тогда впервые я увидел на мамином лице испуг, как будто ее ударили.

– Не сердись, – сказала мама и опустила голову. Она сидела и шила у стола. – Разве я могу заставлять тебя работать?

Она заплакала.

– Если бы ты знал, как мне тяжело за всех и особенно за тебя! Как он смел, ваш отец, так необдуманно поступать и быть таким легкомысленным! Как он мог!

С некоторых пор мама называла отца «он» или «ваш отец». Она плакала, склонившись над старым платьем. Обрезки материи и белые нитки валялись на полу.

Мама распродала почти все вещи. В квартире стало сыро и пусто. Промозглый свет проникал из окон. За ними были видны шаркающие сапоги, боты, глубокие калоши. Мелькание ног, забрызганных грязью зимней распутицы, мешало сосредоточиться и раздражало. Будто все эти чужие люди ходили по самой квартире, наносили холод и даже не считали нужным взглянуть на нас.

Среди зимы мама получила письмо от дяди Коли. Письмо очень ее взволновало.

Вечером, когда все мы сидели за круглым столом, где горела единственная лампа, и каждый занимался своим делом, мама сказала, что дядя Коля настаивает, чтобы я переехал на время к нему в Брянск, что он устроит меня в брянскую гимназию и что это совершенно необходимо, пока отец не получит хорошее место и не вернется в семью.

Галя с испугом посмотрела на маму. Дима молчал.

– Отец к нам не вернется, – твердо сказала мама. – У него есть другие привязанности. Ради них он сделал долги и оставил нас нищими. И я не хочу, чтобы он возвращался. Я не хочу об этом слышать ничего, ни одного слова.

Мама долго молчала. Губы у нее были крепко сжаты.

– Ну хорошо, – сказала она наконец. – Не стоит говорить об этом. Как же быть с Костиком?

– Очень просто, – сказал Дима, не глядя на маму. Для Димы все было просто. – Я в этом году кончаю гимназию и поступлю в Московский технологический институт. Мы продадим всё. Ты, мама, с Галей переедешь в Москву и будешь жить со мной. Мы продержимся. А Костик пусть пока поживет у дяди Коли.

– Но как же так! – встревожилась Галя. – Как же он там будет жить? Зачем же нам разлучаться?

Я сидел, опустив голову, и судорожно рисовал на бумаге цветы и завитушки. С некоторых пор каждый раз, когда мне было тяжело, я начинал бессмысленно рисовать на чем попало эти замысловатые завитушки.

– Перестань рисовать! – сказала мама. – Я не понимаю, чему ты улыбаешься! И что ты об этом думаешь?

– Я не улыбаюсь, – пробормотал я, но почувствовал у себя на лице напряженную улыбку. – Это так...

Я замолчал и продолжал рисовать. Я не мог остановиться.

– Костик, милый, – неожиданно сказала мама глухим голосом, – что же ты молчишь?

– Хорошо... – ответил я. – Я поеду... если надо...

– Так будет лучше всего, – сказал Дима.

– Да... будет хорошо... конечно, – согласился я, чтобы не молчать.

Все рушилось в эту минуту. Впереди я видел только жгучее одиночество и свою ненужность.

Я хотел сказать маме, что не надо отправлять меня в Брянск, что я могу давать уроки не хуже, чем Дима, и даже помогать ей, что мне очень горько и я никак не могу избавиться от

мысли, что меня выбрасывают из семьи. Но у меня так болело горло и так сводило челюсти, что я не мог говорить и молчал.

На мгновение у меня мелькнула мысль завтра же уехать к отцу. Но мысль эта тотчас ушла и снова сменилась мыслью о том, что я уже совершенно один.

С трудом я наконец собрал все силы и повторил, запинаясь, что согласен и даже рад поехать в Брянск, но что у меня болит голова и я пойду лягу.

Я ушел в свою холодную комнату, где мы жили вместе с Димой, быстро разделся, лег, натянул на голову одеяло, стиснул зубы и так пролежал почти всю ночь. Мама пришла, окликнула меня, но я притворился спящим. Она укрыла меня поверх одеяла еще моей гимназической шинелью и вышла.

Сборы в Брянск затянулись до декабря. Мне трудно было бросать гимназию, товарищей, начинать новую и, как я знал, невеселую жизнь.

Я написал отцу, что уезжаю в Брянск, но долго не получал ответа. Получил я его за два дня до отъезда.

Обыкновенно, возвращаясь домой из гимназии, я проходил через пустынную площадь за Оперным театром. Возвращался я всегда с товарищами-попутчиками Станишевским и Матусевичем.

Однажды нам встретилась на площади за театром молодая женщина – невысокая, в густой вуали. Она прошла мимо, остановилась и посмотрела нам вслед.

На следующий день мы опять встретили эту женщину на том же месте.

Она прямо пошла навстречу нам и спросила меня:

– Извините, вы не сын Георгия Максимовича?

– Да. Я его сын.

– Мне надо поговорить с вами.

– Пожалуйста, – ответил я и покраснел.

Станишевский и Матусевич ушли. Они сделали вид, что их совершенно не интересует этот случай, и даже не оглянулись.

– Георгий Максимович, – торопливо сказала женщина, роясь в маленькой сумочке, – просил меня передать вам письмо. Вы понимаете, он хотел, чтобы оно попало непосредственно к вам... Извините, что я это говорю... Я не могла ему отказать. Я вас сразу узнала. Вы похожи на отца. Вот письмо.

Она протянула конверт.

– Вы уезжаете? – спросила она.

– Да. На днях.

– Что ж... Жаль. Могло бы быть все по-другому.

– Вы увидите папу?

Она молча кивнула головой.

– Поцелуйте его за меня, – сказал я неожиданно. – Он очень хороший.

Я хотел сказать, чтобы она очень любила и жалела отца, но сказал только эти три слова: «Он очень хороший».

– Да? – сказала она и вдруг засмеялась, слегка приоткрыв рот. Я увидел ее маленькие, очень белые и влажные зубы. – Спасибо!

Она пожала мне руку и быстро ушла. На руке у нее зазвенел браслет.

До сих пор я не знаю, как звали эту женщину. Мне не удалось это узнать. Знала одна только мама, но тайну этого имени она унесла с собой в могилу.

Мне эта женщина и голосом, и смехом, и браслетом напомнила ту, что я видел у старика Черпунова. Может быть, если бы не густая вуаль, я бы и узнал ее, бабочку с острова Борнео. До сих пор меня иногда мучит мысль, что это была именно та молодая женщина, что угощала меня какао в кондитерской Кирхгейма.

Письмо отца было короткое. Он писал, чтобы я перенес свои испытания мужественно и с достоинством.

«Может быть, – писал он, – жизнь обернется к нам светлой стороной, и тогда я смогу помочь тебе. Я верю твердо, что ты добьешься в жизни того, чего не мог добиться я, и будешь настоящим. Помни один мой совет (я тебе своими советами никогда не надоедал): не осуждай сгоряча никого, в том числе и меня, пока ты не узнаешь всех обстоятельств и пока не приобретешь достаточный опыт, чтобы понять многое, чего ты сейчас, естественно, не понимаешь. Будь здоров, пиши мне и не волнуйся».

На вокзал меня провожали мама и Галя. Поезд отходил утром. Дима не мог пропускать уроки в гимназии. Уходя в гимназию, он поцеловал меня, но ничего не сказал. Мама и Галя тоже молчали.

Маме было холодно, и она не вынимала рук из муфты. Галя цеплялась за маму. У нее за последний год усилилась близорукость. Она терялась в толпе и пугалась паровозных гудков. Мама перекрестила меня, поцеловала холодными тонкими губами, взяла за рукав, отвела в сторону и сказала:

– Я знаю, тебе трудно и ты сердисься. Но пойми, что хоть тебя одного из нас всех я хочу уберечь от нищеты и от этих мучений. Только ради этого я настояла, чтобы ты поехал к дяде Коле.

Я ответил, что хорошо все понимаю и ничуть не сержусь. Я говорил хорошие слова, но на сердце у меня был холод, и я хотел только, чтобы поезд поскорее отошел и окончилось мучительное прощание.

Должно быть, настоящее прощание с мамой случилось раньше, в ту ночь, когда она в последний раз укрыла меня шинелью. Поезд отошел, но я не видел из окна ни мамы, ни Гали, потому что густой пар от паровоза закрыл платформу и всех провожающих.

На сердце у меня был холод – такой же, как и в вагоне, освещенном жидким светом зимы. В окна пронзительно дуло. Снежные равнины наводили уныние. Ночью шуршала поземка. Мне хотелось уснуть, но сон не приходил. Я смотрел на язычок свечи в фонаре. Ветер отгибал его в сторону и старался задуть. Я загадал, что если свеча не погаснет, то у меня в жизни еще будет что-то хорошее. Свеча упорно боролась с ветром и не погасла до утра. От этого мне стало легче.

Когда я сошел утром в Брянске, был такой мороз, что весь воздух выл от скрипа полозьев. Стужа лежала цепким дымом на земле. В небе пылало багровым огнем обледенелое солнце.

За мною выслали лошадей. В санях лежали тулуп, башлык и рукавицы. Я закутался. Лошади с места взяли вскачь. Мы неслись среди блестящей снеговой пыли – сначала по дамбе, потом по Десне. Неистово колотились под дугой колокольчики. Вдали на горах мерцал, как игрушка из фольги, старый город в мохнатых узорах из инея и сосулек.

Сани остановились около деревянного дома на склоне горы. Я поднялся на крыльцо. Дверь распахнулась. Тетя Маруся схватила меня за рукав, втащила в столовую, где прыгали по потолку солнечные зайчики, и насильно заставила выпить полстакана красного вина. От мороза у меня свело губы. Я не мог говорить.

Все было звонко и весело в доме у дяди Коли. Гудел самовар, лаял Мордан, смеялась тетя Маруся, из печей с треском вылетали искры.

Вскоре пришел из арсенала дядя Коля. Он расцеловал меня и встряхнул за плечи:

– Главное – не скисай! Тогда мы наделаем таких дел, что небу будет жарко.

В доме у дяди Коли я начал постепенно оттаивать. Как всегда в таких случаях, память отодвинула в сторону все неприятное. Она как будто вырезала из ткани плохой кусок и соединила только хорошие – осень в Крыму и эту звонкоголосую русскую зиму.

Я старался не думать о том, что было недавно в Киеве. Я предпочитал вспоминать об Алуште, о трех платанах, о Лене. Я даже написал ей письмо в Ялту, но так и не решился отпра-

вить. Оно казалось мне очень глупым. А более умного письма я написать не мог, сколько я над ним ни бился.

## Артиллеристы

Офицеры-артиллеристы из брянского арсенала прозвали дядю Колю «полковником Вершининым». Дядя Коля напоминал Вершинина из чеховских «Трех сестер» даже внешне – черной бородкой и темными живыми глазами. Таким мы все, по крайней мере, представляли себе Вершинина.

Так же как Вершинин, дядя Коля любил говорить о хорошем будущем и верил в него, был мягок и жизнерадостен, но от Вершинина отличался тем, что был хорошим металлургом, автором многочисленных статей о свойствах разных металлов. Статьи эти он сам переводил на французский язык – им он владел в совершенстве – и печатал в парижском журнале «Ревю де металлуржи». Печатались эти статьи и в России, но гораздо реже, чем во Франции. Когда я приехал в Брянск, дядя Коля с увлечением работал над изготовлением булатной стали.

Жадность дяди Коли к жизни была удивительной. Казалось, не было таких вещей, которые его не интересовали. Он выписывал почти все литературные журналы, прекрасно играл на рояле, знал астрономию и философию, был неистощимым и остроумным собеседником.

Самым преданным другом дяди Коли был бородатый капитан Румянцев. Наружностью он напоминал Фета, но только был совершенно рыжий, подслеповатый и добродушный. Все офицерское сидело на нем криво и косо. Даже брянские гимназисты дразнили его «штафиркой».

Рассмотреть Румянцева с первого взгляда было не очень легко. Его всегда окутывали облака табачного дыма, а по застенчивости своей он выбирал в гостиной самые темные углы. Там он сидел за шахматной доской, углубившись в решение задач. Если ему удавалось решить шахматную задачу, он заливался смехом и потирал руки.

Румянцев редко участвовал в общих разговорах. Он только покашливал и поглядывал прищуренными глазками. Но как только разговор заходил о политике – Государственной думе или забастовках, – он оживлялся и высказывал самые крайние взгляды.

Румянцев был не женат. С ним жили три его сестры – все одинаково маленькие, стриженные и в пенсне. Все они курили, носили твердые черные юбки, серые кофточки и, будто сговорившись, прикалывали часики английскими булавками к груди на одном и том же месте.

Сестры постоянно прятали на квартире у Румянцева каких-то студентов, стариков в крылатках и таких же строгих женщин, какими были сами. Дядя Коля предупредил меня, чтобы я никому не говорил ни слова, кто живет у Румянцева.

Кроме Румянцева и его сестер, к дяде Коле приходил штабс-капитан Иванов – чистенький, белорукий, с тщательно заостренной светлой бородкой и тонким голосом.

Как большинство холостяков, Иванов прижился в чужой семье у дяди Коли. Он не мог провести ни одного вечера, чтобы не прийти посидеть и поболтать. Всякий раз, снимая в передней шинель и отстегивая шашку, он краснел и говорил, что зашел «на огонек» или для того, чтобы посоветоваться с дядей Колей по делу. Потом он, конечно, засиживался до полночи.

Я был благодарен Иванову за то, что он отучил меня от привычки стесняться простых вещей.

Как-то я встретил Иванова на базаре. Он покупал картошку и капусту.

– Помогите мне дотащить все это до извозчика, – попросил он меня. – Мой Петр, – (Петр был денщиком Иванова), – захворал. Приходится все делать самому.

Когда я тащил вместе с ним к извозчику тяжелую кошелку с капустой, нам встретилась молоденькая учительница немецкого языка из брянской гимназии. В ответ на мой поклон она фыркнула и отвернулась. Я покраснел.

– Напрасно смущаетесь, – сказал Иванов. – Вы же не делаете ничего дурного. Чтобы избавиться от насмешливых взглядов, у меня есть прием – смотреть людям прямо в глаза. Очень хорошо действует.

Мы сели на извозчика, заваленного овощами, и поехали по главной Московской улице. Нам встречалось много знакомых. Встретился даже ехавший в пароконном экипаже начальник арсенала генерал Сарандинаки.

Завидев нас, знакомые усмехались, но Иванов прямо смотрел им в глаза. Под этим взглядом они смущались, переставали усмехаться и в конце концов даже приветливо нам кивали. А Сарандинаки остановил экипаж и предложил Иванову прислать к нему своего денщика. Но Иванов вежливо отказался, заметив, что он прекрасно справляется с этой несложной работой. Генерал поднял брови, слегка толкнул кучера в спину шашкой в черных ножнах, и серые генеральские лошади с места пошли рысью.

– Вот видите, – сказал мне Иванов, – никогда не следует пасовать перед предрассудками.

Я знал, конечно, что Иванов прав, но все же мне было неприятно под обстрелом насмешливых глаз. Сказывалась дурная привычка.

Иногда я ловил себя на том, что боялся поступить не так, как все, стеснялся своей бедности, пытался скрыть ее от товарищей.

Мама относилась к перемене в нашей жизни как к величайшему несчастью. Из всех сил она скрывала это от знакомых. Все знали, что отец оставил семью, но мама на вопросы знакомых всегда отвечала, что отец уехал ненадолго и у нас все благополучно. Ночи напролет она штопала и переделывала нашу одежду, боясь, чтобы «люди не заметили» признаков обнищания. Мужество изменило маме. Ее робость передалась и нам.

Когда извозчик подымался на гору к дому Иванова, рассыпалась капуста. Кочаны, подпрыгивая и перегоня друг друга, покатались по мостовой. Засвистели мальчишки. Извозчик остановился. Мы слезли и начали подбирать кочаны.

Я был, должно быть, совершенно красный от стыда, потому что Иванов, взглянув на меня, предложил:

– Давайте я подберу сам. А вы уж идите лучше домой.

Если раньше мне было стыдно подбирать кочаны на глазах у прохожих, то после этих слов я покраснел до слез от стыда за себя. Я с остервенением подобрал последние кочаны и мимоходом дал оглушительную затрещину мальчишке Самохину, сыну брянского купца. Он приплясывал на тротуаре и дразнился:

Ехал, ехал гимназист,  
Потерял капустный лист!

Юный Самохин, ревя и размазывая слезы, скрылся в своем дворе.

Я был уверен, судя по хитрым глазам Иванова, что он рассыпал капусту нарочно.

С этого времени я начал даже бравировать. Каждый день я выходил на улицу с деревянной лопатой и разгребал снег, колот дрова, топил печи и не только не уклонялся от грубой работы, но всячески на нее напрашивался. А мальчишка Самохин еще долго, завидев меня, прятался за калитку и кричал оттуда:

– Синяя говядина!

«Синей говядиной» звали гимназистов за их синие фуражки. Но эти выпады Самохина уже не производили на меня впечатления.

Жизненные уроки Иванова подкрепил подполковник Кузьмин-Караваев, узкогрудый человек с серыми твердыми глазами.

Он основал в Брянске первое потребительское общество и открыл на Волховской улице потребительскую лавку. Он сам доставал товары и торговал ими в тесном амбаре.

Эта затея Караваева вызвала смятение среди брянских купцов. Старшина купеческого сословия посылал на Караваева доносы в Петербург, в Главное артиллерийское управление. Но за Караваева стеной стояли интеллигенция и рабочие арсенала. Доносы не помогли. Потребительская лавка с каждым днем богатела и расцветала.

Все по очереди помогали Караваеву торговать в лавке, меня же он взял к себе постоянным помощником.

Почти все свободное время я проводил в лавке, откупоривал пахучие ящики с бакалейным товаром, развешивал соль, муку и сахар. Караваев, в грубом фартуке, какие носят кузнецы, надетом поверх щегольской тужурки, работал быстро, шутил с покупателями и рассказывал мне много интересных вещей о происхождении товаров.

В лавке у Караваева были собраны товары со всей страны – табаки из Феодосии, грузинские вина, астраханская икра, вологодские кружева, стеклянная мальцевская посуда, сарептская горчица и сарпинка из Иваново-Вознесенска. В лавке пахло селедочным рассолом, мылом, но все заглушал чудесный запах свежих рогож, сваленных в задней комнате.

Вечером Караваев закрывал амбар на железный засов, и мы пили с ним крепкий чай. Чайник подпрыгивал на чугунной печурке. Караваев колот японским плоским штыком сахар. От сахара летели синие искры. Я доставал из деревянного ларя медовые пряники – жамки.

К чаепитию в лавку всегда приходил кто-нибудь из знакомых посидеть и поболтать – то Иванов, то сестры Румянцевы, то тетя Маруся.

Иванов садился на пустой ящик, не снимая шинели и даже перчаток, и начинал доказывать Караваеву, что Россия еще не доросла до потребительских лавок. Караваев удушливо кашлял и отмахивался от Иванова.

Тетя Маруся всегда приносила к чаю домашние коржики или пирожки.

Сестры Румянцевы пили чай из блюдец, поблескивая пенсне. Они называли Караваева Дон-Кихотом и говорили, что его возня с лавкой – проповедь малых дел и что России нужны не потребительские лавки, а великие потрясения.

Тогда Иванов начинал позванивать шпорой и напевать «Мальбрук в поход собрался». Сестры Румянцевы обзывали Иванова ретроградом и уходили.

Ранней весной потребительская лавка сгорела. Поджог был сделан грубо и откровенно – дверь в лавку взломали, а товары облили керосином.

Весь город знал, что поджог – дело брянских купцов, но следствие тянулось долго и окончилось ничем. Караваев осунулся, начал кашлять еще сильнее и, отмахиваясь от собственного кашля, говорил:

– *Finita la comedia!*<sup>1</sup> Нашу страну может перекроить только потрясение. Вздернуть на дыбы всю Россию, тогда получится толк.

Убытки от пожара были большие. Их с трудом покрыли пайщики потребительского общества – рабочие брянского арсенала и товарищи Караваева, артиллеристы. Удивительнее всего было то, что львиную долю убытков взял на себя штабс-капитан Иванов. Он был бережлив и за годы службы в арсенале скопил несколько тысяч рублей. Почти все эти деньги он отдал Караваеву.

Я провел зиму и лето в дружной семье арсенальцев. Но горечь пережитого в Киеве не проходила. Я постоянно вспоминал о маме, об отце, и мне было временами стыдно, что я живу в теплом и гостеприимном доме, где всегда было ровное и веселое настроение. Я представлял себе холодный киевский подвал, пустой стол с хлебными крошками, озабоченное лицо мамы, усталого от репетиторства Диму.

---

<sup>1</sup> Комедия окончена! (лат.)

Мама писала мне редко, а Галя и Дима не писали совсем. Иногда мне казалось, что мама не пишет потому, что у нее нет денег даже на марки. Надо было что-то делать, чтобы ей помочь, но я не знал что.

Я не мог привыкнуть к брянской гимназии. Все гимназисты в моем классе были гораздо старше меня. Я все чаще с сожалением вспоминал киевскую гимназию и задумывался над тем, чтобы вернуться в Киев. В конце концов я написал письмо своему классному наставнику, латинисту Субочу. Я откровенно рассказал ему все, что со мной случилось, и спрашивал, могу ли я вернуться. Вскоре я получил ответ.

«С нового учебного года, то есть с осени, – писал Субоч, – вы уже зачислены обратно в Первую гимназию, в мой класс, и будете освобождены от платы. Что касается материальной стороны дела, то я смогу предложить вам несколько приличных уроков. Это даст возможность существовать хотя и скромно, но самостоятельно и ни для кого не являться обузой. А переживаниями передрягами не огорчайтесь – *tempora mutantur et nos mutamur in illis*, – надо надеяться, что меняемся мы в лучшую сторону».

Я прочел это как будто деловое письмо, и спазма сжала мне горло. Я понял ласковость письма и еще понял, что с этой минуты я уже сам, ни на кого не надеясь, начинаю строить свою жизнь.

От этого сознания стало страшно, хотя в то время мне было уже почти шестнадцать лет.



## Великий трагик Кин

На заборах в Брянске были расклеены желтые афиши о гастролях актера Орленева.

Афиши были напечатаны на шершавой и тонкой бумаге. Она насквозь промокала от клея. Козы срывали и сжевывали эти афиши. Из рта у жующих коз торчали обрывки желтой бумаги с черными словами: «Гений... беспутство». Только на немногих уцелевших афишах можно было прочесть, что Орленев выступит в Брянске в роли английского трагика Кина в пьесе «Кин, или Гений и беспутство».

Дядя Коля заранее взял билеты на спектакли Орленева. Несколько дней в доме у дяди Коли говорили только об Орленеве.

Спектакли были назначены в летнем театре в городском саду. Театр был деревянный, старый, покрытый облупившейся розовой краской. На стенах его годами клеили афиши. Выцветшая от дождей бумага висела толстыми клочьями.

Театр был всегда заколочен. В сумерки из-под крыши театра вылетали летучие мыши и шныряли над глухими аллеями. Девушки в белых платьях визжали от страха – существовало поверье, что летучие мыши вцепляются во все белое и потом их нельзя оторвать.

Заброшенный театр казался таинственным. Я был уверен, что в пустом его зале и актерских уборных до сих пор валяются засохшие цветы, коробочки с гримом, ленты, пожелтевшие ноты. Валяются еще с тех времен, когда в этом театре, по городскому преданию, играла заезжая оперетта.

Нарумяненные юные женщины с подведенными синькой глазами пробегали из уборных по скрипучим доскам на сцену, волоча бархатные шлейфы. Обольстительно звенели гитары под пальцами нагловатых первых любовников, и слова жестоких романсов щемили простодушные сердца горожан:

Мне снился день, который не вернется,  
И человек, который не придет...

Этот театр видел все: молодых цыганок с надрывающим сердце голосом, разорившихся помещиков, пахнувших лошадиным потом, – они скакали сто верст, чтобы попасть на концерт какой-нибудь Нины Загорной, – корнетов с черными баками, купцов в коричневых котелках, невест, трепещущих от испуга, в пышных, как пена, розовых платьях.

Мои мысли об этом театре были связаны с июльскими ночами, когда над шапками лип мигали зарницы, кровь шумела в голове, ничего не было страшно и ничего не было жаль ради забубенной женской песни и мимолетной любви. Когда всё – трын-трава, и все счастье – в одном только взгляде из-под милых ресниц. Взгляде под звон бубенцов, под гиканье захмелевшего ямщика. Один только взгляд, как взмах черной зарницы в этих душных ночах, что настоялись на запахе лип и были полны далеким гулом Брянских лесов – бездорожных, непроходимых, врачующих сердце от хандры и измены.

Стены театра хранили в себе отзвуки умолкнувших голосов, память о жизни напропалую, похищениях, дуэлях, заглушенных рыданиях и горячих сердцах.

Казалось, что театр давно умер, затянулся паутиной и никто никогда в нем больше не будет играть.

Но его открыли, прибрали, проветрили, постелили ковровые дорожки, смахнули пыль с бархатной обивки лож, и она из серой снова сделалась вишнево-красной.

Под потолком загорелась люстра. Старенький ее хрусталь сначала поблескивал неуверенно и тускло, но потом, вздрогнув от первых пассажей оркестра, смело засверкал десятками разноцветных позванивающих звезд.

У дверей появились старые капельдинеры в нитяных белых перчатках. Пахнуло духами, свежестью сада, запахом конфет. Послышался приглушенный гул голосов, бречанье шпор, скрип кресел, смех, шуршание узких программ – на них была напечатана лира в венке из дубовых листьев.

– Орленев, Орленев, Орленев! – слышалось во всех концах театрального зала.

Дядя Коля сидел в ложе в изящном своем форменном сюртуке с черным бархатным воротом. Тетю Марусю окружал пепельный блеск. Он исходил от ее серого, похожего на дым, нового платья, от ее волос и возбужденных серых глаз – она давно уже не была в театре.

Штабс-капитан Иванов спокойно прошел по ковровым дорожкам. На его остроносых ботинках журчали маленькие шпоры.

Даже капитан Румянцев расчесал рыжую бороду-лопату и пришел в сюртуке. Он поминутно вынимал из заднего кармана носовой платок и вытирал красное лицо.

Сестры Румянцевы сидели тесно рядом, и щеки у них нестерпимо пылали.

На спектакль пришли и мои старые знакомые по Рёвнам – Володя Румянцев и Павля Теннов.

Володя Румянцев забрался на галерку, хотя у него было место в ложе, – он был в ссоре с сестрами.

Павля Теннов сидел со снисходительным видом, далеко вытянув перед собой скрещенные ноги. Ему ли, старому петербургскому студенту, было волноваться перед этим спектаклем!

В ложе тетя Маруся притянула меня за руку, сняла пушинку с ворота моей куртки, внимательно посмотрела на мои волосы и пригладила их.

– Ну вот, теперь хорошо.

Я взглянул на себя в тусклое зеркало в аванложе. Я был очень бледен и так еще по-детски худ, что, казалось, вот-вот сломаюсь.

Занавес поднялся, и начался спектакль.

Я видел в Киеве хороших актеров, но сейчас невысокий человек с печальным и резким лицом совершал на сцене великое чудо. Каждый звук его голоса раскрывал больную и прекрасную душу великого Кина. «Оленя ранили стрелой!» – крикнул он звенящим голосом, и в этом возгласе прорвалась вся безысходная тоска по милосердию.

Я весь дрожал, когда в зрительном зале начался разыгранный актерами театральный скандал. Я не мог сдержать слез, когда опустился занавес, на авансцену вышел заплаканный старый режиссер-англичанин и сказал дрожащим голосом, что спектакль не может продолжаться, потому что «солнце Англии – великий трагик Кин сошел с ума».

Тетя Маруся обернулась ко мне, похлопала меня по руке и что-то хотела сказать, должно быть шутливое, но вместо этого изумленно вскрикнула и встала. Дядя Коля тоже обернулся и встал.

Весь зал сотрясали аплодисменты.

Я тоже обернулся. За моей спиной стоял отец, все такой же усталый, с ласковой и печальной улыбкой, но совершенно седой. У меня все завертелось в глазах, потом сразу оборвалось и стало тихо и темно. Отец подхватил меня.

Я плохо помню, вернее – совсем не помню, что было дальше. Я очнулся на маленьком диване в аванложе. Ворот моей куртки был расстегнут. По подбородку стекала вода, а тетя Маруся смачивала мне виски одеколоном. Отец поднял меня за плечи, посадил и поцеловал.

– Посиди немного, не двигайся, – сказал он. – Сейчас все пройдет. Неужели вы не получили моей телеграммы?

Пока усталый Орленев выходил кланяться и подбирали цветы, летевшие на сцену, отец наскоро рассказал, что он получил место на вагоностроительном заводе в Бежице. Поселок Бежица был всего в восьми километрах от Брянска.

Отец только что приехал, никого не застал в доме у дяди Коли и пришел за нами в театр.

– А как же мама? – спросил я.

– Мама? – переспросил отец. – Кстати, я привез тебе письмо от нее. Мама не хочет жить в Бежице. Она поедет с Димой в Москву и думает поселиться там навсегда. Конечно, возьмет с собой и Галю.

– А обо мне она что-нибудь говорила?

Отец подумал.

– Кажется, нет. Я ее очень мало видел. Она, должно быть, все тебе написала. Ты прочти.

Он протянул мне письмо. Все еще гремели аплодисменты. Я быстро прочел письмо. Оно было короткое и сухое.

Мама писала, что я должен еще побыть у дяди Коли, пока жизнь не наладится. Сейчас мама ничего мне не может сказать утешительного. В Москву она собирается переезжать через месяц, в июле. Лето я должен прожить в Брянске, но если хочу, то могу прожить и в Бежице с отцом. Но все же было бы лучше и спокойнее, если бы я провел его в Брянске. «На пути из Киева в Москву, – писала мама, – мы, к сожалению, не сможем остановиться в Брянске, но я пришлю телеграмму, ты приедешь на вокзал, мы увидимся и обо всем поговорим».

Когда я кончил читать письмо, тетя Маруся, смеясь, сказала отцу:

– Мы его теперь никому не отдадим. Даже вам, Георгий Максимович.

– Ни за что не отдадим, – сказал дядя Коля. – Но, в общем, мы с тобой об этом поговорим, Георгий.

– Поговорим, – согласился отец.

Мы пошли через городской сад к экипажу. Калильные фонари шипели среди деревьев. Военный оркестр на эстраде играл бравурный марш, будто радовался тому, что спектакль окончился и снова можно греметь во всю силу фанфар и тромбонов.

Мы сели в экипаж. Лошади, перебирая ногами, спускались с крутой горы.

Я был обескуражен маминым письмом. После него все оставалось таким же неясным, как и было. Очевидно, мама так и не помирилась с отцом. Я не мог понять, почему мама пишет мне так холодно. Неужели она начала забывать обо мне? Неужели я уже никому не нужен?

Отец оживленно говорил с дядей Колей. Почему он не расспросил меня ни о чем? Я мог бы ему рассказать много печального. Может быть, я заплакал бы и мне стало бы легче.

Все любили меня в доме дяди Коли – и он, и тетя Маруся, и даже все товарищи дяди Коли, но все же в груди у меня постоянно стоял тяжелый комок. Я должен был скрывать свою грусть, чтобы не обидеть ею дядю Колю и тетю Марусю.

Я вспомнил слова Субоча, что скоро я уже смогу ни для кого не быть обузой. Я весь сжался. Все стало понятно. Значит, я обуза для всех. У отца своя жизнь. Кто знает, может быть, в Бежице он будет жить не один.

А мама? Почему же мама так легко отказалась от меня? Должно быть, из-за Гали. Галя слеpla, врачи ничем не могли ей помочь. Мама была в отчаянии от этого. Страшная судьба Гали поглощала все ее мысли. Должно быть, у мамы ничего уже не оставалось в душе, кроме неистовой жалости к Гале.

Пыльная луна висела над городом. Железные крыши, залитые лунным светом, казались мокрыми. Тетя Маруся наклонилась ко мне:

– Дай мне, если можно, письмо.

Я протянул ей письмо.

Она сложила его узкой полоской, засунула в прорез лайковой перчатки и застегнула прорез на перламутровую пуговку.

У меня разболелась голова. Она болела так сильно, что на глазах даже выступили слезы.

– Что с тобой? – спросила тетя Маруся.

– Очень болит голова.

– Бедный, все на тебя сразу свалилось!

Дома меня уложили в постель. Я лежал и прислушивался к разговору в столовой и к голосу отца. Я все ждал, когда же он придет ко мне проститься на ночь.

Свежий воздух лился в окно и туманил голову. Засыпая, я слышал, как Орленев крикнул в соседней комнате измученным голосом: «Оленя ранили стрелой!» Тотчас далеко, на самом краю ночи, заиграла нежная музыка. Она уходила вдаль, затихала, как будто оглядывалась и кивала мне головой.

Потом тетя Маруся сказала: «Он слабый у вас. Слишком большое для него волнение». – «У кого это – у вас?» – спросил я. «Спи, – сказал голос тети Маруси. – Я от тебя не уйду. Вы уж сами налейте себе чаю». Чайные ложечки начали вертеться в стаканах все скорей и скорей. От этого у меня закружилась голова, и я начал падать. Я падал долго и, пока падал, все забыл.

Несколько дней я пролежал в жару, с головной болью. За это время отец уехал в Бежицу.

Как только я поправился, мы с дядей Колей поехали к отцу.

Бежица оказалась сырым и скучным поселком. Земля здесь была перемешана с ноздреватым шлаком из заводских печей. В палисадниках росли кривые березы. Дымил завод.

В бревенчатом доме, в квартире отца, тоже пахло угольным дымом. Обстановка была скучная. Кроме отца, в квартире никто не жил.

Мы застали отца за чтением энциклопедического словаря.

Отец очень обрадовался нам.

– Я понимаю, – сказал он дяде Коле, – что Костику здесь совсем нельзя жить: и скучно, и неустроенно, и одиноко. Да я и сам здесь долго не протяну.

– А что же ты думаешь делать? – строго спросил дядя Коля.

– Уеду куда-нибудь. Жизнь, в общем, не задалась. Теперь мне все равно. Сам виноват.

Я смотрел на отца. Сейчас он был совсем не таким, как был в пятом году или давным-давно – в Городище, Геленджике или в комнате художника Врубеля. Как будто там был действительно он, а здесь его двойник – неудачник.

## Один на большой дороге

И вот они пришли наконец, эти дни с первыми признаками увядания.

За домом дяди Коли тянулся по крутому склону оврага старый яблоневоый сад. Дуплистые стволы яблонь и кривой забор были покрыты лишаями.

В саду, кроме меня, почти никто не бывал.

Я приходил в сад с тетрадкой, ложился на землю и писал стихи. Насколько я теперь понимаю, это были плохие стихи. В них все тонуло в расплывчатой грусти.

По стихотворным строчкам суетливо бегали муравьи, перетаскивали сухую осу. Гнилые веточки падали на тетрадку с деревьев.

Небо, прозрачное, несмотря на свою густоту, сверкало над садом. По небу тянул ветер, сваливал за Десну облака. Я как-то начал их считать, насчитал двести и бросил. У меня заребило в глазах.

Осень предупреждала о своем приходе то сухим листком, невзначай забытым на скамейке, то маленькой зеленой гусеницей, спускавшейся по паутине прямо мне на голову.

Было жалко уходящего лета. Дядя Коля провел его в Брянске. Летом я часто приходил к дяде Коле в арсенал, в его лабораторию или в кузнечную мастерскую.

Я любил смотреть, как работал паровой молот. Около этого молота я услышал от штабс-капитана Иванова рассказ о знаменитом кузнеце Обуховского завода. Он мог так осторожно расколоть стопудовым паровым молотом грецкий орех на донышке перевернутого стакана, что стакан оставался целым.

Мне нравился арсенал, его низкие здания, построенные еще при Екатерине, дворы, заросшие муравой и заваленные чугунными отливками, сирень у стен мастерских, цилиндры старых паровых машин, блестящих маслянистой медью, запах спирта в лабораториях, бородатые кузнецы и литейщики и фонтан голубоватой артезианской воды, бившей из-под земли около стены арсенала.

Надо было прощаться со всем этим, с Брянском, с уютным домом дяди Коли, и, может быть, прощаться надолго.

Осенью я уезжал обратно в Киев. Так было решено на коротком семейном совете на Брянском вокзале, когда мама с Галей и Димой проезжала в Москву. Я приехал на вокзал с дядей Колей и тетей Марусей, чтобы повидать маму.

Мама постарела и разговаривала с дядей Колей виноватым голосом, будто хотела перед ним оправдаться.

Галя почти совсем ослепла. Кроме того, она начала плохо слышать. Она носила толстые двойные очки. Когда к ней обращались, она долго озиралась, стараясь догадаться, кто с ней разговаривает, и отвечала невпопад. Дима был угрюм и спокоен.

Мама обняла меня, потом осмотрела с ног до головы и заметила, что я выгляжу гораздо лучше, чем в Киеве. В голосе ее послышалась обида.

Я сказал, что хочу вернуться в Киев и что меня приняли обратно в Первую гимназию. Я буду жить с Борей и зарабатывать уроками.

Мама отвернулась и ответила, что она очень хотела бы взять меня в Москву, но сейчас это невозможно. Она сама не знает, как сложится ее жизнь в Москве.

Галя все говорила:

– Костик, ты где? Ах, ты здесь! А я тебя совсем не вижу.

Тетя Маруся быстро начала говорить, что отпускать меня в Киев безумие, что она, может быть, ничего не понимает и не имеет права вмешиваться в наши семейные дела, но...

Она замолчала, заметив предостерегающий взгляд дяди Коли. Мама ничего не ответила. Она смотрела за окно вагона на платформу. Глаза ее потемнели от гнева.

– Наконец-то! – сказала мама. – Лучше поздно, чем никогда.

По платформе шел отец. Он только что приехал рабочим поездом из Бежицы. На отце был черный, лоснившийся от старости пиджак.

Отец вошел в вагон. Тотчас вокзальный колокол ударил два раза.

Мы начали прощаться. Отец поцеловал у мамы руку и сказал:

– Маруся, Костика я беру на себя. Я буду каждый месяц посылать ему на жизнь и на все необходимое.

– Дай-то бог! Хоть этот пустяк ты не забывай делать. Прошу тебя.

Дима холодно попрощался с отцом, а Галя, совсем как слепая, протянула к отцу руку и старалась дотронуться до его лица. Отец так побледнел, что даже глаза у него сделались белыми.

Пробил третий звонок.

Мы вышли на платформу. Мама сказала из окна, что обязательно приедет ко мне зимой в Киев.

Поезд тронулся.

Отец стоял, сняв шляпу, и смотрел на пробегавшие колеса вагона. Он не захотел поехать в город к дяде Коле, сославшись на то, что ему нужно первым же поездом возвращаться в Бежицу, где его ждет срочная работа.

Мы возвращались в экипаже домой. В дороге дядя Коля и тетя Маруся молчали. Тетя Маруся покусывала маленький платок. Потом она посмотрела на дядю Колю и сказала:

– Нет, я все-таки не понимаю. Как же так можно!

Дядя Коля нахмурился и показал ей глазами на меня.

Тетя Маруся замолчала.

Мне было стыдно за всю нашу семейную неурядицу, портившую жизнь не одним только нам. Я мечтал о том, чтобы поскорее уехать в Киев и забыть эти беды и неприятности. Лучше одиночество, чем жизнь в клубке взаимных обид, утомительных и непонятных.

Я ждал августа, когда уеду в Киев. Он пришел наконец, с палыми листьями и пасмурными дождями.

В день моего отъезда сеялся дождь, задувал ветер. Вагоны поезда Москва – Киев были исхлестаны дождем. Отец не приехал проводить меня, хотя и обещал.

На вокзале дядя Коля пытался односложно шутить. Тетя Маруся засунула мне в карман шинели конверт и сказала: «Прочтешь в дороге».

Когда поезд тронулся, она отвернулась. Дядя Коля взял ее за локоть и повернул лицом к поезду. Тетя Маруся улыбнулась мне и опять отвернулась.

Дождевые капли бежали по оконному стеклу. Из-за них ничего не было видно. Я опустил окно и высунулся.

Дядя Коля и тетя Маруся стояли на платформе и смотрели вслед поезду. Пар падал на землю. Далеко позади поезда я увидел полосу чистого неба. Там уже светило солнце.

Мне это показалось хорошим предзнаменованием. Я достал из кармана конверт. В нем были деньги и записка:

«Береги себя. Ты выходишь один на большую дорогу, а потому не забывай, что у тебя есть провинциальные дядя и тетя. Они тебя крепко любят и всегда готовы помочь».

## Дикий переулок

Боря жил в меблированных комнатах «Прогресс» на грязной Жилианской улице, около вокзала.

Он встретил меня приветливо и покровительственно.

– Молодец, – сказал он, – что решил быть самостоятельным! Поживи пока у меня. Потом мы найдем тебе место получше. Здесь тебе жить не стоит.

– Почему?

– Увидишь.

Увидел я это довольно скоро. Как только Боря ушел в Политехнический институт, в комнате немедленно появился одутловатый человек с лицом, похожим на кочан кислой капусты. На одутловатом висела пыльная студенческая тужурка и болтались зеленые брюки с пузырями на коленях. Выпуклые и пустые его глаза медленно вращались, разглядывая комнату, полку с продуктами и меня.

– Граф Потоцкий! – представился одутловатый. – Ближайший друг вашего брата. Бывший студент Политехнического института. Выбыл из него по неизлечимой болезни.

– Чем же вы больны? – спросил я участливо.

– Болезнь моя не поддается описанию, – ответил граф Потоцкий и зачерпнул из коробки на столе горсть Бориных папирос. – Страдаю невыразимо. Благодаря болезни три года подряд проваливался на экзамене у профессора Патона. Вы знаете Патона?

– Нет.

– Зверь! – заметил граф Потоцкий, взял со стола колбасу, повертел ее и сунул в карман. – Гонитель всех, кто жаждет успеха. Лекарство от моей болезни – обыкновенный креозот. Но родители задержали высылку денег, и, натурально, иссякла наличность, чтобы сбежать в аптеку за вышеупомянутым креозотом. Нельзя ли у вас сообразить до завтра?

– Что сообразить? – спросил я, не понимая.

– Ну ладно! – Граф Потоцкий добродушно улыбнулся. – Надоело паясничать! Хотел попросить у Бори три рубля, да вот опоздал. Может быть, у вас найдется зелененькая?

– Да, конечно! – Я поспешно достал из кармана деньги. – Вам три рубля?

– Ах, юноша! – воскликнул с огорчением Потоцкий. – Если просит взаймы нахал, то он преувеличивает, а если порядочный, то преуменьшает. Если бы я был, избави бог, нахалом, я попросил бы двадцать рублей. Я же прошу всего три! Вы спросите, где же истина? Истина, как всегда, посередине. Двадцать минус три равно семнадцати. Мы делим семнадцать на два и получаем восемь с полтиной. Некоторое закругление дает цифру в девять рублей. Удобно и просто.

Я протянул ему вместо девяти десять рублей. Он взял их очень странно. Я даже не заметил, как он их взял. Деньги как бы растаяли в воздухе.

Пока мы разговаривали с графом Потоцким, дверь в номер все время поскрипывала. Но как только деньги растаяли в воздухе, дверь решительно распахнулась и в комнату влетела коротенькая женщина в пеньюаре. При каждом шаге у нее на ногах шелкали туфли. Они были ей велики.

– Зачем?! – закричала она страстным голосом. – Зачем давать этому изуверу деньги? Отдай! – прошипела она сквозь зубы и схватила графа Потоцкого за тужурку.

Рукав тужурки затрещал.

Граф вырвался и метнулся в коридор. Женщина бросилась за ним. Туфли ее стреляли, как пистолеты.

– Отдай! – кричала она. – Хоть три рубля! Хоть два!

Но граф с непостижимой быстротой скатился по лестнице на улицу и исчез. Женщина в пеньюаре прислонилась к стене и зарыдала ненатуральным, противным голосом. Из всех комнат начали выглядывать жильцы. Это помогло мне увидеть их всех сразу. Первым выглянул прыщавый юноша в лиловой рубашке. Он пристегивал к ней розовый целлулоидовый воротничок.

– Мадам Гуменюк, – сказал он повелительно, – примите меры!

В коридоре показалась владелица меблированных комнат «Прогресс» мадам Гуменюк – полная дама с ласковыми томными глазами. Она подошла к женщине в пеньюаре и сказала неожиданно очень ясным и злым голосом:

– Марш к себе! Без скандала! Вы дождетесь полиции! Даю честное слово женщины!

Женщина в пеньюаре спокойно пошла к себе в комнату. Коридор еще долго шумел, обсуждая происшествие с графом Потоцким.

Когда пришел Боря, я рассказал ему обо всем. Боря заметил, что я дешево отделался, и сказал, чтобы впредь я не поддавался ни на какие уловки. Граф Потоцкий вовсе не граф и не бывший студент, а судейский чиновник, выгнанный со службы за пьянство.

– Меня они боятся, – заметил Боря. – Но с твоим характером лучше их избегать. Здесь собрались одни подонки.

– Зачем же ты здесь живешь?

– Я привык. Мне они не мешают.

Через месяц Боря нашел мне комнату «на всем готовом» у маминой знакомой старушки, пани Козловской, в Диком переулке.

Я получил деньги от отца и рассчитал, что если даже он больше ничего мне не пришлет, то три месяца я смогу прожить, не занимаясь уроками.

В квартире у пани Козловской, кроме нее и ее сына, пехотного поручика Ромуальда, никто не жил. Это была тесная квартирка с липкими от плохой краски полами. Окна выходили в вырубленный сад. В нем осталось всего два-три дерева. Зимой в этом саду устраивали каток. В кучи снега по краям катка втыкали елочки. Они быстро желтели. Каток был дешевый, для мальчишек с Глубочицы и Львовской улицы. На нем даже не было оркестра, а играл граммофон с огромной лиловой трубой.

Дикий переулок был действительно диким. Он никуда не вел. Он терялся в пустырях, заваленных снегом и кучами золы. Зола курилась сизым дымком. С пустырей всегда несло угаром.

Я украсил свою каморку портретами Байрона, Лермонтова и Гюго. По вечерам я зажигал кухонную лампочку. Она освещала только стол и портрет Гюго. Бородатый писатель сидел, грустно подперев голову рукой в круглой крахмальной манжете, и смотрел на меня. У него было такое выражение, будто он говорил: «Ну-ну, молодой человек, что же вы будете делать дальше?»

Я увлекался в то время «Отверженными» Гюго. Пожалуй, больше, чем самое содержание романа, я любил бурные вылазки старика Гюго в историю.

В ту зиму я вообще много читал. Я никак не мог привыкнуть к одиночеству. Книги помогали мне избавляться от него. Я часто вспоминал нашу жизнь на Никольско-Ботанической, Лену, веселых артиллеристов, фейерверки в старом парке в Рёвнах, Брянск. Всюду я был окружен разнообразными и доброжелательными людьми.

Сейчас я ощущал вокруг себя безлюдье. В лампе что-то гудело. Этот звук усиливал одиночество.

Но прошел месяц, второй, и произошел перелом. Я начал замечать, что чем непригляднее выглядела действительность, тем сильнее я чувствовал все хорошее, что было в ней скрыто.



Я догадывался, что в жизни хорошее и плохое лежат рядом. Часто хорошее просвечивает через толщу лжи, нищеты и страданий. Так иногда в конце ненастного дня серые тучи вдруг насквозь просветятся огнем заходящего солнца.

Я старался находить черты хорошего всюду. И часто находил их, конечно. Они могли блеснуть неожиданно, как хрустальная туфелька Золушки из-под ее серого рваного платья, как мог блеснуть где-нибудь на улице внимательный и ласковый взгляд ее глаз. «Это я, – говорил этот взгляд. – Разве ты не узнал меня? Сейчас я обернулась нищенкой, но стоит мне сбросить лохмотья, и я превращусь в принцессу. Жизнь полна неожиданного. Не бойся. Верь в это».

Смутные эти мысли одолевали меня в ту зиму.

Я был в начале жизненного пути, но мне казалось, что я уже знаю этот путь целиком. Я вычитал у Фета стихи. Они, по-моему, подходили к тому, что ожидало меня:

Из царства выюг, из царства льдов и снега  
Как свеж и чист твой вылетает май!

Я читал вслух эти стихи. Пани Козловская слушала из-за стены. Поручик Ромуальд приходил поздно, а иногда и совсем не ночевал дома. Пани Козловской было скучно, и она радовалась звукам любого человеческого голоса.

## Осенние бои

В гимназии учителя и товарищи встретили меня после Брянска так же приветливо, как и Боря. Даже протоиерей Трегубов произнес несколько подходящих к случаю назидательных слов о блудном сыне.

Субоч придирчиво расспросил меня, как я устроился, и пообещал через месяц достать мне уроки. Инспектор Бодянский издал страшный звук носом, похожий на храп, – этим звуком он привык пугать кишат, – и сказал:

– Виновны, но заслуживаете снисхождения. Ступайте в класс и больше не грешите!

Но согрешить мне все же пришлось.

В нашей гимназии в каждом классе было по два отделения – первое и второе. Первое отделение считалось аристократическим, второе – демократическим.

В первом отделении учились преимущественно оболтусы – сыновья генералов, помещиков, крупных чиновников и финансистов. В нашем же, втором отделении учились дети интеллигентов, разночинцев, евреи и поляки.

Разделение это производилось, очевидно, сознательно, в силу предписания свыше.

Вражда между первым и вторым отделениями никогда не затихала. Она выражалась во взаимном презрении. Но раз в год, осенью, происходила традиционная драка между первыми и вторыми отделениями во всех классах. В ней не участвовали только кишата и гимназисты последнего класса. Они уже считались взрослыми, почти студентами, и драться им было не к лицу. Случались и пустые осени, когда драк не бывало.

День драки менялся из года в год. Делалось это, чтобы обмануть бдительное наше начальство. Но начальство по некоторым признакам догадывалось о приближении знаменательного дня, начинало нервничать и шло на хитрости, чтобы предотвратить сражение: то неожиданно распускало после первого же урока подозрительный класс, который мог быть зачинщиком боя, то уводило два-три класса на экскурсию в художественный музей, то внезапно закрывало выходы в сад, где обычно происходила драка.

Но никакие ухищрения не помогали. Бой начинался в назначенный день и всегда на большой перемене.

Некоторых гимназистов класс «освобождал» от драки. Освобождали больных, слабых или тех мальчиков, которые чувствовали отвращение не только к драке, но даже к обыкновенной возне друг с другом. Их освобождали охотно: никакого толку от них все равно не было. Меня освобождали по последней причине.

Освобожденные во время боя должны были быть без кушаков. В этом случае, по железным законам гимназической войны, их никто не трогал.

Освобожденные предпочитали все же не выходить в сад и наблюдали бой из окон классов – оттуда было лучше видно.

Бой начинался с внезапной и зловещей тишины в здании гимназии. Коридоры мгновенно пустели. Все гимназисты устремлялись в сад.

Потом раздавался глухой и грозный рев. От него бледнел и крестился инспектор Бодянский. В облаках пыли, поднятой наступающими друг на друга рядами, проносились, свистя, как картечь, сотни каштанов.

Все сторожа – Казимир, Максим Холодная Вода и еще несколько других – бежали рысью в сад. За ними мчались, обгоняя друг друга, испуганные надзиратели. Хлопали двери. В коридорах раздавались встревоженные голоса учителей.

Инспектор Бодянский, натягивая на ходу форменное пальто и нахлобучивая фуражку с кокардой, сбегал по лестнице, торопясь на место боя.

Однажды вслед за Бодянским в сад поспешно спустился и ксендз-каноник Олендский. Мы полезли на подоконники. Нам хотелось увидеть, как Олендский подымет над головой крест и будет призывать враждующих к примирению.

Но вместо этого Олендский, засучив рукава сутаны, начал разнимать дерущихся и расшвыривать их в стороны. Он делал это с необыкновенной ловкостью. Гимназисты отлетали от него, как мячи. Должно быть, Олендский вспомнил свое детство.

Ксендз, отдуваясь, вернулся из сада в учительскую. Судя по его разгоряченному и сияющему лицу, участие в этом бою, даже в качестве примирителя, доставило ему большое удовольствие.

Как только вспыхивал бой, все запасные выходы в сад немедленно открывались. Это было военной хитростью. Выходы открывались для того, чтобы сторожа и надзиратели, разъединяя дерущихся, могли оттеснять их по частям в эти запасные выходы.

– В Первой гимназии началось! – орали на улице мальчишки.

Из окон трудно было разобрать, что происходит и что началось. Летела пыль, трещали ветки деревьев. Были слышны крики и глухой топот, будто в саду наступали друг на друга, отдавливая ноги, стада слонов.

Потом, все сметая, раскатываясь по гулким коридорам, возникал, рос, превращался в громоподобный рев ликующий победный крик – это значило, что второе отделение победило, а первое обращается в бегство.

На моей памяти не было случая, чтобы первое отделение одержало победу.

Почти всегда в первых рядах победителей был гимназист с задорным вздернутым носом – будущий писатель Михаил Булгаков. Он врзался в бой в самые опасные места. Победа носилась следом за ним и венчала его золотым венком из его собственных растрепанных волос.

Оболтусы из первого отделения боялись Булгакова и пытались опорочить его. После боя они распускали слухи, что Булгаков дрался незаконным приемом – металлической пряжкой от пояса. Но никто не верил этой злой клевете, даже инспектор Бодянский.

Но этот раз я участвовал в бою, потому что мне надо было посчитаться с гимназистом Хавиным, сыном биржевого маклера.

Этот высокий развинченный гимназист почти в каждую фразу ухитрялся вставлять слово «сакраментально», несмотря на то что сильно картавил. Сидя в театре, он посылал томные воздушные поцелуи знакомым девушкам. Он приезжал в гимназию в собственном экипаже и был налит презрением к нам, разночинцам.

Все вышло из-за пани Козловской. Старушка плохо видела и боялась одна выходить в город. Почти каждое воскресенье я провожал ее в костел. Пани Козловская смущалась тем, что затрудняет меня, без устали извинялась и от стеснения краснела, как девушка.

Обыкновенно я вел ее под руку, иначе она натыкалась на встречающих. Иногда меня сменял в роли поводыря поручик Ромуальд. Но это бывало редко. Я подозревал, что поручик стыдился старушки-матери, ее старомодного пальто и ее беспомощности. Во всяком случае, по утрам в воскресенье поручик почти всегда бывал «чертовски занят».

В одно из воскресений я вел пани Козловскую в костел по Михайловской улице. Нам встретился Хавин. Он поднял брови и, прищурившись, посмотрел на меня. Лицо его изобразило презрительное недоумение. Потом он медленно с ног до головы осмотрел пани Козловскую, усмехнулся, громко щелкнул пальцами, свистнул и прошел.

Когда начался бой, я вышел в сад. Хавин стоял в стороне. Кушака на нем не было. Он был «освобожденный». Я тоже был «освобожденный» и тоже был без кушака. Но я подошел к Хавину и дал ему оплеуху.

Хавин странно пискнул. Меня схватил за руку надзиратель «Шпонька».

На следующий день инспектор Бодянский вызвал меня к себе.

– Это что ж такое? – сказал Бодянский. – Я еще понимаю, если бы вы дрались в обязательном порядке, как все наши готтентоты. А то извольте – дать человеку пощечину! За что?

– Было за что. Я никогда в жизни не дрался, Павел Петрович. Вы же знаете.

– Так, так! Рискуете все-таки, что во втором полугодии вам не дадут освобождения от платы. За что вы его ударили?

Я уперся и не хотел сказать, за что я ударил Хавина.

– Стоило. Можете мне верить или нет, Павел Петрович, но больше я ничего не скажу.

– Верю, – сказал Бодянский. – Идите! И пусть этот случай поглотит медленная Лета.

После каждого боя у директора и Бодянского были неприятные объяснения с попечителем учебного округа и с родителями потрепанных оболтусов.

– Вот что значит, если у людей нет царя в голове, – говорил нам с горечью Бодянский. – А еще читаете всяких Ибсенов и Леонидов Андреевых! Просвещенные юноши! Будущие столпы общества! Зулусы и троглодиты!

## «Живые» языки

Из «мертвых» языков мы изучали в гимназии только латынь. Она была главным предметом. Преподавал нам латынь наш классный наставник Владимир Фаддеевич Субоч, похожий на высокого, худого кота с оттопыренными светлыми усами. Он был добрый человек, и мы его любили, хотя он и позволял себе иногда неожиданные и стремительные разгромы по латинскому языку всего нашего класса.

Бодянский тоже строго следил за нашими познаниями в латыни и любил повторять:

– Латинская речь есть величайший феномен языкосложения!

Греческий язык был необязателен. Изучали его немногие. Преподавал этот язык старый, обсыпанный табачным пеплом чех Поспешиль. Он медленно продвигался по коридорам на больных, опухших ногах и всегда опаздывал на уроки. За это мы переименовали его из Поспешила в Опоздаль.

Из «живых» языков мы изучали французский и немецкий. Это были скучные уроки.

Француз Сэрму, сухорукий, с рыжей острой бородкой времен короля Генриха IV, приносил под мышкой большие олеографии и развешивал их на стене.

На олеографиях была изображена счастливая жизнь поселян неизвестной национальности в разные времена года. Весной эти поселяне в соломенных шляпах с разноцветными лентами пахали землю, в то время как их румяные жены, затянутые в корсажи, кормили желтых цыплят. Летом поселяне косили сено и плясали вокруг стогов, помахивая ветками розанов. Осенью они молотили хлеб около игрушечных хижин, а зимой, очевидно за неимением других дел, катались на коньках по замерзшей реке.

Но все же картинки с поселянами были гораздо интереснее других картинок, изображавших скучные геометрические комнаты со скудной мебелью и котенком, играющим клубком шерсти.

Сэрму развешивал олеографии, брал в здоровую руку указку, показывал на поселян, танцующих с серпами, или на котенка и спрашивал громовым голосом по-французски:

– Что видим мы на этой интересной картинке?

Мы хором отвечали по-французски, что на этой картинке мы ясно видим добрых пейзажей или совсем маленькую кошку, играющую нитками достопочтенной бабушки.

Эта канитель с картинками длилась два года, пока однажды вместо Сэрму инспектор не привел к нам на урок нового учителя, мосье Говаса.

Мосье Говас только что приехал в Россию. Он не знал ни слова по-русски. Первый его урок в этой загадочной стране выпал как раз на наш класс.

Мосье Говас происходил из Бретани. Это был низенький толстый человек, настолько равнодушный, что он даже не давал себе труда на нас сердиться.

Инспектор представил нам мосье Говаса и ушел. Тогда встал гимназист-француз Регамэ и на великолепном парижском диалекте учтиво сообщил мосье Говасу, что в России перед уроком принято читать молитву. Мосье Говас снисходительно улыбнулся, очевидно подумав, что каждая страна имеет свои странности.

Тогда наступила очередь гимназиста Литтауэра. Он был еврей, но хорошо знал православное богослужение.

Литтауэр вышел, остановился против иконы, широко перекрестился и начал «молитву перед учением»: «Преблагий Господи, ниспошли нам благодать Духа твоего Святого, дарствующего и укрепляющего душевные наши силы».

Он прочел эту молитву пять раз, потом прочел «Великую ектению». После этого Литтауэр огласил «Символ веры», «Отче наш» и начал читать молитву Ефрема Сирина.

Мосье Говас стоял, вежливо склонив голову и недоумевая.

– Господи, владыко живота моего! – взывал Литтауэр. – Дух праздности, уныния, любоначалия и празднословия не даждь ми!

Мы хором повторяли слова молитвы и поглядывали на часы. До конца урока оставалось десять минут. Мы боялись, что у Литтауэра не хватит богослужебных познаний, чтобы дотянуть эти десять минут. Но Литтауэр нас не подвел. Он второй раз прочел «Символ веры» и закончил урок торжественным чтением молитвы «Спаси, Господи, люди твоя».

Затрещал звонок, и мосье Говас, слегка пожав плечами, ушел в учительскую. Черный его сюртук блеснул в солнечном луче и поплыл, лоснясь, по коридору.

Мы хохотали, прячась за поднятыми крышками парт, но через минуту в класс вкатился, задыхаясь, инспектор Бодянский и крикнул:

– Фигли-мигли! Кошунствовать изволите, лоботрясы! Кто тут устроил молебствие? Наверное, ты, Литтауэр?

– Что вы! – воскликнул, вставая, Литтауэр. – Я же еврей, Павел Петрович.

– Ой-ой-ой! – сказал Бодянский. – Еврей! Интересный резон! Будто я поверю, что если ты перекрестишься, то у тебя отсохнет рука! Собери книги и ступай домой. По дороге можешь обдумывать то печальное обстоятельство, что отныне ты уже имеешь вторую четверку по поведению.

При мосье Говасе мы погрузились в дебри неправильных глаголов и спряжений. Великолепный язык оборачивался тяжелой схемой. Мы путались среди загадочных ударений, между всеми этими «аксанта эгю», «аксан грав» и «аксан сирконфлекс». Постепенно случилось так, что живой язык Флобера и Гюго начал существовать для нас как нечто совершенно оторванное от того, что преподавал нам мосье Говас.

Чем старше мы становились, тем больше любили французскую литературу, стремились читать французов в подлинниках. Для этого мы изучали язык сами или с помощью частных преподавателей, махнув рукой на флегматичного бретонца. А он все спрягал и склонял, поглядывая за окно, где падал с русского неба холодный белый снег. И в глазах у мосье Говаса ничего нельзя было прочесть, кроме тоски по огню камелька.

Мы пытались заговаривать с ним о Бальзаке и Дюма, о Гюго и Доде, но мосье Говас или отмалчивался, или замечал, что это литература для взрослых, а не для русских мальчиков, которые до сих пор не знают разницы между «фютюром» и «кондиционером».

С течением времени выяснилось, что у мосье Говаса есть в Бретани, в маленьком городке, каменный домик и старуха-мать и что мосье Говас приехал в Россию только для того, чтобы, заработав за несколько лет кругленькую сумму, вернуться в свой дом, где мать его разводила кроликов, а мосье Говас собирался выращивать шампиньоны и сбывать их в Париж – это было выгодно. Поэтому мосье Говаса совершенно не интересовали ни Россия, ни французская литература.

Один только раз мосье Говас разговаривал с нами. Это было весной. Мосье Говас готовился поехать на летние каникулы в Бретань. Этим объяснялось его хорошее настроение.

Он угрюмо шутил и сообщил нам, что человек создан, чтобы жить без всяких волнений. А для этого нужно подчиняться законам и довольствоваться малым.

Потом он рассказал нам, как ловил мальчиком омаров со своим дедом, вздохнул и задумался. За окнами цвели каштаны. Весна бродила вместе с легким сквозным ветром по коридорам, дышала в лицо девичьим своим дыханием. Мосье Говас смотрел на весну и печально покачивал головой – жизнь выбросила его в мир, как ветер сдувает с зеленого листика толстую божью коровку. А все потому, что он был небогат и должен был скучным своим трудом сколачивать тихое будущее.

– Да, – сказал мосье Говас, – такова жизнь! Будем же терпеливы. Не станем роптать на судьбу и на Бога. Терпенье вознаграждается. Не так ли?

Никто ему не ответил, потому что в то время мы были уверены в том, что терпение сродни идиотизму.

Много лет спустя я рассказал своему другу, писателю Аркадию Гайдару, как мосье Сэрму обучал нас французскому языку по олеографиям.

Гайдар обрадовался, потому что и он учился этим же способом. Воспоминания начали одолевать Гайдара. Несколько дней подряд он разговаривал со мной только по методу Сэрму.

Мы жили тогда под Рязанью, много бродили, ловили рыбу в озерах.

– Что мы видим на этой картинке? – спрашивал по-французски Гайдар во время наших скитаний и тут же сам себе отвечал: – Мы видим негостеприимную деревню, покидаемую бедными путниками. Мы видим поселян, не пожелавших обменять путникам три яйца на горсть табаку.

Когда мы возвращались в Москву по пустынной железнодорожной ветке от станции Тума до Владимира, Гайдар разбудил меня ночью и спросил:

– Что мы видим на этой интересной картинке?

Я ничего не видел, потому что свеча в фонаре сильно мигала и по вагону бегали тени.

– Мы видим, – объяснил Гайдар, – одного железнодорожного вора, который вытаскивает из корзинки у почтенной старушки пару теплых русских сапог, называемых валенками.

Сказав это, Гайдар – огромный и добродушный – соскочил со второй полки, схватил за шиворот юркого человека в клетчатой кепке, отобрал у него валенки и сказал:

– Выйди вон! И чтобы я тебя больше не встречал в жизни!

Испуганный вор выскочил на площадку и прыгнул на ходу с поезда. Это было, пожалуй, единственное практическое применение метода господина Сэрму.

Уроки немецкого языка были интереснее французских. Не потому, что Оскар Федорович Иогансон был образцовым преподавателем, а потому, что на этих уроках мы иногда занимались вещами, далекими от немецкого языка. Чаще всего Оскар Федорович давал нам переписывать партитуру своей оперы «Дух токайского вина».

Иогансон был венец, пожилой и нервный. В класс он приходил с деревянной ножкой, отпиленной от стула. Когда беспорядок достигал недопустимых размеров, Иогансон хватал ножку от стула и начинал изо всей силы колотить по столу. Мы сразу приходили в себя.

Иогансон был знатоком и любителем музыки. Он собирался быть композитором, но какая-то несчастная история в его жизни помешала ему в этом, и он с отвращением занялся преподаванием.

От нас он требовал самых ничтожных познаний в немецком языке. Если кто-нибудь из нас проваливался, Иогансон долго смотрел на него поверх пенсне, вздыхал и медленно ставил тройку с минусом.

Однажды, когда я был уже в шестом классе, Иогансон потерял в трамвае рукопись своей оперы. Это был единственный экземпляр. Он напечатал об этом объявление в газетах. Но никто оперу не возвращал. Целую неделю Иогансон не приходил в гимназию, а когда пришел, мы его почти не узнали – он посерел, и желтая его шея была замотана рваным шарфом. В этот день на уроке у Иогансона стояла глубокая тишина.

– Ну вот, юноши, – заговорил Иогансон, – все кончено! Эта опера была делом всей моей жизни. Я становился молодым, когда писал ее. С каждой страницей с меня слетало по несколько лет. Да! Это было так! То была музыка счастья. Я писал о нем. Где оно? Всюду! В том, как шумит лес. В листьях дуба, в запахе винных бочек. В голосах женщин и птиц. Везде и всюду. Я мечтал быть бродячим певцом, а не таскать этот форменный сюртук. Я завидовал цыганам. Я пел бы на деревенских свадьбах и в доме лесника. Пел бы для влюбленных и одиноких, для героев и поэтов, для обманутых и не потерявших веры в добро. Все это было в моей

опере. Все! Я надеялся, что умру спокойно, если увижу ее на сцене венского театра. Может быть, думал я, мой друг, старый поэт Альтенберг, придет и сядет, как медведь, в бархатное кресло, и слеза появится у него на глазах. Это было бы для меня лучшей наградой. А может быть, эту музыку услышала бы та, что никогда не верила в мои силы...

Иогансон говорил, рассматривая свои худые пальцы. Он будто опьянел от горя. Он всегда говорил немного пышно и театрально, но сейчас мы этого не замечали. Мы сидели потупясь.

После урока на перемене к нам пришел Субоч.

– Я хотел предупредить вас, – сказал он, когда мы его окружили, – чтобы вы особенно деликатно вели себя теперь на уроках Оскара Федоровича. Но я подумал, что вы догадаетесь об этом и без моих указаний.

В тот же день по всем классам гимназии пронесся призыв: «Найти оперу! Найти ее во что бы то ни стало!»

Кто бросил этот призыв, я не знаю. Он передавался из уст в уста. Мы собирались кучками и обсуждали пути поисков. Мы ходили как заговорщики. В душе у каждого бушевало нетерпение.

Поиски начались. Мы опрашивали кондукторов трамваев, обходили базары. Мы рылись у торговцев в оберточной бумаге. Наконец на Лукьяновском базаре опера была найдена.

Увидел ее один гимназист восьмого класса у торговки салом. Торговка жаловалась, что бумага не годится для обертки – чернильные строчки отпечатываются на сале, и покупатели сердятся. Поэтому в рукописи не хватало всего трех страниц.

Рукопись вернули Иогансону на уроке в восьмом классе. Мы не видели, как это произошло. Мы только видели, как Иогансон шел после урока по коридору, окруженный восьмиклассниками. Он был без пенсне. Он шел нетвердо, пошатываясь. Восьмиклассники поддерживали его. В дверях учительской комнаты стоял инспектор Бодянский, улыбался и кивал головой. Он обнял Иогансона, и они поцеловались.

В гимназии несколько дней длилось нотное безумие. Иогансон приносил партитуру оперы и чистую нотную бумагу. Он раздавал нам эту бумагу, и мы переписывали оперу в нескольких экземплярах.

Это было в конце зимы, а весной я получил по почте кусочек картона. На нем было написано, что Оскар Федорович Иогансон просит меня «почтить своим присутствием» исполнение отрывков из его оперы, которое произойдет на квартире у одного из моих товарищей по классу.

Вечером я пошел в назначенное место, на Бибиковский бульвар. Широкая лестница в доме моего товарища была ярко освещена. Два больших зала были полны народа. Больше всего было гимназистов, но были и гимназистки из Мариинской гимназии, и седовласые музыканты, и актеры.

Иогансона еще не было. Я стоял у входа в зал и видел освещенную лестницу. На ней появился Оскар Федорович. Он взбежал по лестнице – тонкий, помолодевший, в черном элегантном сюртуке. Он быстро вошел в зал. Все зааплодировали.

Тотчас началась музыка. Играл квартет в сопровождении рояля. Это была действительно музыка о счастье, о страданиях любящих, равных мучениям Тристана и Изольды. Я не могу передать певучесть этой музыки, ее струнную силу.

Когда музыка окончилась и большинство гостей, поздравив Иогансона, разошлось, нас, оставшихся, пригласили к столу.

Поздней ночью мы проводили Иогансона до дому. По дороге он зашел на телеграф и послал телеграмму в Вену. Он вышел из телеграфной конторы погрузневший и сказал, что слишком долго ждал этого дня. А когда слишком долго ждешь, то радость превращается в некоторую печаль.



## «Господа гимназисты»

Кто мог знать, что получится из нас, «господ гимназистов», как называл нас Бодянский? Что получится из этих юношей в выгоревших фуражках, всегда готовых ко всяческим выходкам, насмешкам и спорам? Что, например, получится из Булгакова? Никто этого не мог знать.

Булгаков был старше меня, но я хорошо помню стремительную его живость, беспощадный язык, которого боялись все, и ощущение определенности и силы – оно чувствовалось в каждом его, даже незначительном, слове.

Булгаков был полон выдумок, шуток, мистификаций. Он превращал изученный нами до косточки гимназический обиход в мир невероятных случаев и персонажей.

Какой-нибудь выцветший надзиратель «Шпонька», попадая в круг булгаковских выдумок и «розыгрышей», вырастал до размеров Собакевича или Тартарена. Он начинал жить второй, таинственной жизнью уже не как «Шпонька» с опухшим, пропитым носом, а как герой смехотворных и чудовищных событий.

Своими выдумками Булгаков чуть смещал окружающее из мира вполне реального на самый краешек мира преувеличенного, почти фантастического.

Мы встретились с Булгаковым после гимназии только в 1924 году, когда он был уже писателем. Он не изменил Киеву. В пьесе его «Дни Турбиных» я узнал вестибюль нашей гимназии и сторожа Максима Холодная Вода – честного и прилипчивого старика. За кулисами театра зашелестели наши осенние киевские каштаны.

Почти в одно время со мной в гимназии учились несколько юношей, ставших потом известными литераторами, актерами и драматургами. Киев всегда был городом театральных увлечений.

Было ли случайностью, что эта гимназия за короткое время воспитала стольких людей, причастных к литературе и искусству? Я думаю, нет. (Недаром Субоч говорил нам, когда мы «случайно» опаздывали на уроки: «Нет в жизни ничего случайного, кроме смерти». Высказав эту сентенцию, Субоч ставил опоздавшему пять с минусом по поведению.)

Это не было, конечно, случайностью. Причины этого явления так многочисленны и трудно уловимы, что мы, по лености своей, не хотим в них углубляться и предпочитаем думать, что все произошло по счастливой случайности.

Мы забываем об учителях, которые внушили нам любовь к культуре, о великолепных киевских театрах, о повальном нашем увлечении философией и поэзией, о том, что во времена нашей юности были еще живы Чехов и Толстой, Серов и Левитан, Скрябин и Комиссаржевская.

Мы забываем о революции Пятого года, о студенческих сходках, куда мы, гимназисты, ухитрялись пробираться, о спорах взрослых, о том, что Киев всегда был городом с большим революционным накалом.

Мы забываем, что запоем читали Плеханова, Чернышевского и революционные брошюры, отпечатанные на рыхлой серой бумаге с лозунгами «Пролетарии всех стран, соединяйтесь!» и «Земля и воля». Читали Герцена и Кропоткина, «Коммунистический манифест» и романы революционера Кравчинского.

Но и это беспорядочное чтение давало свои плоды.

Мы забываем о знаменитой библиотеке Идзиковского на Крещатике, о симфонических концертах, о киевских садах, о сияющей и хрустящей от листвы киевской осени, о том, что торжественная и благородная латынь сопровождала нас на всем протяжении гимназических лет. Забываем о Днепре, мягких туманных зимах, богатой и ласковой Украине, окружавшей город кольцом своих гречишных полей, соломенных крыш и пасек.

Трудно уловить влияние этих вещей, разнообразных и подчас далеких друг от друга, на наше юношеское сознание. Но оно было. Оно давало особый поэтический строй нашим мыслями и ощущениям.

Мы увлекались поэзией и литературой. Но понимание русской литературы, всей ее классической ясности и глубины, пришло к нам позже, чем понимание более легкой литературы Запада.

Мы были молоды, и западная литература привлекала нас изяществом, спокойствием и совершенством рисунка. Холодный и прозрачный Мериме был легче для нас, чем мучительный Достоевский. У Мериме или у Флобера все было ясно, как в летнее утро, а Достоевский надвигался, как гроза с ее тревогой и желанием спрятаться под надежную крышу. И Диккенс не знал сомнений. И Гюго. И Бальзак.

А может быть, в увлечении нашем западной литературой повинны и дешевые желтенькие книжки «Универсальной библиотеки». Они наводняли тогда книжные магазины. За двадцать копеек можно было прочесть «Монт Ориоль», «Евгению Гранде», «Дикую утку» и «Пармский монастырь». Мы читали все это запоем.

Одно время мы особенно увлекались французской поэзией – Верленом, Лекантом де Лилем и Теофилом Готье. Мы читали их в подлинниках и в переводах. Легкий, временами почти неуловимый, как отдаленный запах, а временами твердый, как металл, французский язык звучал у этих поэтов колдовством.

Эта поэзия привлекала нас не только певучестью и туманным содержанием, похожим на весеннюю дымку, но и тем, что она вызывала представление о самих поэтах, о Париже. Поэзия эта существовала как одна из заманчивых вещей в ряду многих заманчивых вещей, связанных с Парижем. Аспидные крыши, кольцо бульваров, дождь, огни, Пантеон, розовая ночь над Сеной и, наконец, стихи. Так возникал в нашем наивном представлении Париж. Он был немыслим без стихов, как без баррикад и поцелуев.

Но очень скоро я, увлекавшийся французской поэзией, понял, что это холодный блеск, тогда как рядом сверкают россыпи живой и чистой поэзии русской.

Роняет лес багряный свой убор,  
Сребрит мороз увянувшее поле...

Мы росли, и постепенно могучая и, быть может, величайшая в мире русская литература овладевала нашими сердцами и вытесняла на второй, хотя и почетный, план литературу Запада.

Кроме литературы, мы увлекались еще и живописью.

На мраморной доске в актовом зале гимназии золотыми буквами были написаны имена медалистов и знаменитых людей, окончивших нашу гимназию. В числе этих людей был художник Ге. Этого художника, хотя он и был нашим старшим товарищем, мы всё же не признавали за черный тон и нравоучительность его картин. В наше время начиналось запоздалое увлечение импрессионизмом.

Мой товарищ по классу Эмма Шмуклер готовился быть художником. Он учился живописи у киевского импрессиониста Маневича. Мне нравились картины Маневича – местечковые домишки и дворы, написанные жирно, почти малярным мазком.

Я часто бывал в доме у Эммы. Это был, как говорили, артистический дом.

Отец Эммы, широко известный в городе врач-бессребреник, в юности мечтал стать оперным актером. Почему-то это не удалось ему. Но все же страсть к опере преобладала у доктора Шмуклера над всем.

Все в его доме было оперное – не только сам хозяин, крупный, бритый и громогласный, но и рояль, ноты, написанные от руки, жардиньерки для цветочных подношений, афиши, портреты знаменитых певцов и перламутровые бинокли.

Даже шум, не затихавший в квартире у доктора, был совершенно оперный. Окрики на детей, горячие ссоры – все это походило на рулады, речитативы, модерато, аллегро и форте, на дуэты и трио, на перебивающие друг друга мужские, женские и детские арии. Во всем этом шуме был скрытый напев. Голоса из квартиры Шмуклера звучали звонко и свободно, как «бельканто», и разносились по всей парадной лестнице.

Я часто бывал у Эммы Шмуклера, но все же предпочитал этому семейному дому каморку другого моего товарища по гимназии, поляка Фицовского. Так же как и я, он жил один.

Фицовский, коренастый, с русой прядью на лбу, был всегда невозмутимо спокоен и относился ко всему как к глупой суете.

У него были свои чудачества, раздражавшие учителей. Например, он разговаривал со своим соседом по парте, весельчаком Станишевским, на чистейшем русском языке, но так, что порой нельзя было понять ни слова. Достигалось это простым способом. Все ударения в словах Фицовский делал неправильно и говорил очень быстро.

Фицовский заставил меня изучить международный язык «эсперанто». У этого языка, выдуманного варшавским зубным врачом Заменгофом, было только то достоинство, что он был легкий. На этом языке печаталось в разных странах много газет. В этих газетах меня интересовали столбцы адресов тех людей, которые хотели переписываться на эсперанто.

По примеру Фицовского я начал переписываться с несколькими эсперантистами в Англии, Франции, Канаде и даже Уругвае. Я посылал им открытки с видами Киева, а взамен получал открытки с видами Глазго, Эдинбурга, Парижа, Монтевидео и Квебека. Постепенно я начал разнообразить свою переписку. Я просил присылать мне портреты писателей и иллюстрированные журналы. Так у меня появился прекрасный портрет Байрона, присланный молодым английским врачом из города Манчестера, и портрет Виктора Гюго. Его мне прислала молоденькая француженка из Орлеана. Она была очень любопытна и задавала много вопросов – правда ли, что русские священники носят одежды из листового золота и что все русские офицеры говорят по-французски.

Каждую неделю мы устраивали в каморке у Фицовского пирушки. На этих пирушках мы меньше всего пили (денег хватало только на бутылку наливки), но больше всего разыгрывали из себя лермонтовских гусар, читали стихи, спорили, произносили речи и пели.

Засиживались мы до утра. Рассвет, проникавший в прокуренную каморку, казался нам рассветом удивительной жизни. Она ждала нас за порогом. Особенно хороши были рассветы весной. В чистом утреннем воздухе звенели птицы, и голова была полна романтических историй.

Эта удивительная жизнь, что ждала нас за порогом, была неуловимым образом связана с театром.

В тот год мы увлекались русской драмой и актрисой Полевицкой. Она играла Лизу в «Дворянском гнезде» и Настасью Филипповну в «Идиоте».

Ходить в театр мы могли только с разрешения инспектора Бодянского. Он не давал нам больше одного разрешения в неделю. Тогда мы начали подделывать разрешения. Я подписывал их за Бодянского и так набил руку, что Бодянский только качал головой, когда надзиратели показывали ему отобранные у гимназистов разрешения. Он не мог отличить фальшивые от настоящих и говорил:

– Я этих театралов скручу в бараний рог! Латинский язык надо учить, а не шлаться по галеркам! Фальшивомонетки вы, а не сыновья почтенных родителей!

Мы поджидали Полевицкую после спектаклей около актерского подъезда. Она выходила – высокая, светлоглазая. Она улыбалась нам и садилась в сани. Встряхивались бубенцы. Их звон уносился вниз по Николаевской улице, исчезал в снежной ее глубине.

Мы расходились по домам, а снег все падал и падал. Пылали щеки. Молодое и пылкое наше счастье бежало наперегонки с нами по скользким тротуарам, провожало нас, долго не давало заснуть.

Оно мигало на стенах моей комнаты светом ночного фонаря. Оно сыпалось на землю ворохами снега. Оно пело всю ночь сквозь теплый сон свою вечную песню о любви и печали.

За окном свистели полозья. Горячие лошади скакали мимо. Кого они уносили в эту ночь?

В комнате поручика Ромуальда сама по себе звучала струна на гитаре. Звук струны долго дрожал. Он делался все тоньше, пока не становился сначала как серебряный волосок, потом как серебряная паутина. Тогда он затихал.

Так, в радостном возбуждении, в сумятице дней, где жизнь переплеталась со строчками стихов так крепко, что их нельзя было оторвать друг от друга, тянулась зима.

Я тогда жил уже совершенно один и зарабатывал дешевыми уроками. Денег мне хватало на еду и на библиотеку, но я в то время совершенно не ощущал, должно быть по молодости, никакой тяжести и тревоги.

## Горбоносый король

Когда в Киев приезжало какое-нибудь сановное лицо, ему непременно показывали нашу гимназию. Она была одной из старейших в России.

Начальство гордилось не только историей этой гимназии, но и ее зданием – величественным и неуютным. Единственным украшением этого здания был беломраморный зал в два света. В этом зале всегда было холодно, даже летом.

Мы любили сановные посещения, потому что каждая высокая особа просила директора освободить в память своего посещения гимназистов от занятий на один или на два дня.

Директор благодарил за честь и соглашался. Мы торопливо связывали ремешками книги и вываливались буйными толпами на улицу.

Но не все посещения высоких особ сходили так гладко. Бывали и неприятности. Одна такая неприятность случилась с королем Сербии Петром Карагеоргием. Мы знали, что он вступил на престол после кровавого дворцового переворота.

За неделю до его приезда Платон Федорович начал обучать нас сербскому гимну «Боже правды, ты, что спасе от напасти досад нас». Кроме того, нам было приказано, приветствуя короля, кричать не «ура», а «живио».

Директор Терещенко, Маслобой, должен был сказать королю несколько приветственных слов по-французски. Текст приветствия написал мосье Говас. Он гордился этим. Впервые ему выпала на долю высокая честь писать приветствие его величеству королю.

Директор выучил приветствие наизусть. В этом он сравнился с нами. Но «Маслобой» отличался слабой памятью. Он боялся забыть приветствие перед лицом Петра Карагеоргия.

Директор нервничал. Он потребовал от нового нашего инспектора Варсонофия Николаевича (Бодянский был в то время назначен директором Третьей гимназии), чтобы тот дал ему в помощь лучшего подсказчика-гимназиста.

Мы не любили «Маслобоя» и отказались назвать лучшего подсказчика. Пусть «Маслобой» справляется сам.

Лучший подсказчик в гимназии – к тому же француз – Регамэ учился в нашем классе. Вместе с нами он невозмутимо выслушивал просьбы инспектора и вежливо улыбался.

Наконец мы сдались. Мы обещали дать подсказчика, но только в том случае, если будет исправлена несправедливая двойка по математике безответному гимназисту Боримовичу. Иванов обещал переделать двойку на тройку.

Соглашение было достигнуто. Регамэ получил текст приветствия и переписал его на шпаргалку. Приветствие начиналось словами: «Sir, permettez à nous» – и так далее. По-русски это звучало примерно так: «Сир, позвольте нам приветствовать вас в седых стенах нашей славной гимназии».

Мы все выучили это приветствие наизусть. Когда директор проходил по коридору, мы хором, подражая его пискливому голосу, говорили из класса ему в спину: «Сир, позвольте нам приветствовать вас в седых стенах нашей славной гимназии!»

Нас особенно веселили «седые стены». «Маслобой» делал вид, что ничего не слышит.

В день приезда короля гимназия светилась праздничной чистотой. Широкую лестницу устлали красными коврами. День был солнечный, но, несмотря на это, в актовом зале зажгли люстры.

Мы пришли в парадных мундирах. Наш класс выстроили в две шеренги в вестибюле. Сбоку стоял Субоч с маленькой шпагой, засунутой в карман вицмундира. Над карманом блеснул только тонкий золотой эфес. От Субоча пахло духами. Его пенсне так сверкало, будто стеклышки его были сделаны из пластинок алмаза.

У мраморной колонны стоял «Маслобой». По нашей гимназической терминологии, «Маслобой» «выпустил пар». Он был бледен. Ордена дребезжали на его тугом сюртуке.

С улицы слышалось «ура». Это кричали войска, расставленные шпалерами.

«Ура» приближалось к гимназии. Грянул оркестр. Двери распахнулись. «Маслобой» беспомощно оглянулся на Рагамэ и двинулся рысцой навстречу королю.

Низенький горбоносый король с седыми усами, в голубой шинели с серебряным набором, быстро вошел, припрыгивая, в вестибюль. За его спиной все голубело от шинелей и лоснилось от цилиндров.

Швейцар Василий, бывший цирковой борец, должен был снять с короля шинель. Но Василий растерялся и, вместо того чтобы снимать шинель, начал натягивать ее на короля.

Король сопротивлялся. Он даже покраснел. Наконец он вырвался из могучих лап Василия. К королю подскочил адъютант и, отстранив Василия рукой в белой лайковой перчатке, услужливо снял королевскую шинель. Глаза у Василия помутнели, как у пьяного. Василий стоял вытянувшись и отдувался – он не мог сообразить, что случилось.

– Сир! – сказал Маслобой, склонившись перед королем, и отчаянно замахал засунутой за спину левой рукой. Это значило, что он забыл речь.

Рагамэ тотчас начал «подавать». Он делал это виртуозно.

Король недовольно смотрел на красную директорскую лысину. Он еще тяжело дышал после борьбы с Василием. Потом король услышал подсказку и усмехнулся.

Директор кое-как окончил приветствие и показал королю на узкий проход между шеренгами гимназистов, приглашая «его величество» проследовать в актовый зал.

Король двинулся. За ним, гремя саблями, небрежно волоча их по чугунным полам вестибюля, хлынула свита. Аксельбанты замелькали в наших глазах.

На шаг позади короля шел воинственный генерал Иванов, командующий Киевским военным округом.

За свитой шли, сняв цилиндры и слащаво улыбаясь, сербские министры.

Мы заранее обо всем договорились. Как только король вошел в проход между синими гимназическими мундирами, мы дружно и во весь голос грянули: «Жулье!» Это было похоже на «живио».

Мы повторили этот крик несколько раз. Он гремел в «седых стенах» гимназии.

Король, ничего не подозревая, медленно шел, позванивая шпорами, кивал нам и улыбался.

Субоч побледнел. Командующий Киевским военным округом генерал Иванов незаметно показывал нам за спиной кулак. В нем была зажата перчатка. Перчатка тряслась от негодования. «Маслобой», приседая от испуга, семенил за королем.

Король прошел, и мы слышали, как гимназический хор торжественными и постными голосами запел наверху: «Боже правды, ты, что спасе...»

Субоч пристально осмотрел всех нас. Но мы стояли стройно и безмолвно. На наших лицах не отражалось ничего, кроме умиления перед этой торжественной минутой. Субоч пожал плечами и отвернулся.

Но история с королем еще не была окончена. Когда король шел обратно, мы дружно и оглушительно прокричали: «Держи его!» Это опять было похоже на «живио». И король опять ничего не понял. Он милостиво улыбался, а министры все так же изящно несли перед собой цилиндры с атласной белой подкладкой.

Но когда мимо нас проходил седобородый премьер-министр Пашич, считавшийся либералом, мы впервые прокричали понятно и правильно: «Живио, Пашич!»

Мы, конечно, перестарались. Матусевичу, обладавшему могучим басом (впоследствии Матусевич был певцом Киевской оперы), поручили прокричать «Держи его!» прямо в ухо королю. Король пошатнулся, но быстро овладел собой и любезно кивнул Матусевичу.

После этого случая с королем двенадцать гимназистов из нашего класса, в том числе и я, получили разнос от директора. После разноса нам запретили три дня посещать гимназию. Начальство явно старалось замять всю эту историю с королем, боясь огласки.

До сих пор я не понимаю смысла нашего исключения. Это были три дня безмятежного отдыха, чтения, прогулок по Днепру и посещения театров.

Скрыть случай с сербским королем, конечно, не удалось. Нам неистово завидовала вся наша гимназия. И не только наша, но и Вторая, и Третья, и реальное училище, куда никогда не возили никаких королей.

## Из пустого в порожнее

До сих пор я подозрительно отношусь к людям с черными, как маслины, круглыми глазами. Такие глазки были у моей ученицы Маруси Казанской.

Они бессмысленно озирали мир и вспыхивали любопытством только при виде brave юнкера или лицеиста в шинели с бобровым воротником. Стоило за окном прошагать юнкеру, и все вызубренное наизусть – хронология, география и правила синтаксиса – мгновенно вылетало из Марусиной головы.

Я был репетитором у Маруси Казанской. Она мне дорого обошлась, щебечущая и остроногая Маруся с булавочными глазками! Урок этот мне устроил Субоч. «Семейство почтенное, – сказал мне Субоч, – но предупреждаю, что девица не блещет талантом».

Почтенное семейство Маруси состояло из Маруси, ее отца – отставного генерала и матери – тощей француженки.

Генерал был ростом с карлика, но носил окладистую бороду. Он был так мал, что не мог дотянуться до вешалки, чтобы повесить шинель.

Это был очень чистенький, вымытый генерал с пухлыми ручками и водянистыми глазами. Но глаза эти загорались яростью, когда он вспоминал своих врагов – генералов, обогнавших его по службе: Сухомлинова, Драгомирова, Куропаткина и Ренненкамппа.

Казанский дослужился до чина генерал-адъютанта, командовал разными военными округами и обучал Николая Второго стратегии.

– В стратегии сей молодой человек был форменным дубиной, – говаривал Казанский о Николае Втором.

Он считал, что последним настоящим царем был Александр Третий.

У Казанского была богатая военная библиотека. Но я ни разу не видел, чтобы он достал из закрытых шкафов хотя бы одну книгу. Весь день он проводил за чтением «Нового времени» и раскладыванием пасьянсов. На коленях у генерала лежал, свернувшись, маленький шпиц с такими же черными глазками, как у Маруси. Шпиц был глупый и злой.

После каждого урока Казанский провожал меня до Галицкого базара. Он любил эти ежедневные прогулки. На улице генерал начал тотчас резвиться – хихикать и рассказывать армейские анекдоты.

Он толкал тростью в живот солдат и юнкеров, становившихся перед ним во фронт, и говорил:

– Очертело, братец! Только и видишь что ваши животы.

Мадам Казанская звала мужа «дусиком», а он называл ее «муфточкой».

Я видел много скучных людей. Но более скучного существа, чем мадам Казанская, я не встречал.

Весь день она, моргая заплаканными, как у болонки, глазками, шила фартучки для Маруси или рисовала масляными красками на атласных лентах лиловые ирисы.

Эти розовые ленты она дарила знакомым в дни семейных праздников. Назначение этих лент было непонятно. Их нельзя было ни к чему пристроить. Иные знакомые вешали их на стены или клали на столики в гостиной. Другие пытались использовать их как закладки для книг. Но ленты были широкие и в книги не лезли. Наиболее взыскательные прятали эти ленты подальше от глаз.

Но мадам Казанская с идиотическим упорством рисовала все новые ленты и дарила их одним и тем же знакомым во второй и третий раз.

Вся квартира Казанских была в этих лентах. Они цеплялись за пальцы, скрипели и могли довести нервного человека до крапивницы.



Квартира у Казанских была очень высокая и светлая, но свет этот казался холодным и серым. Солнечные лучи, попав в эту квартиру, теряли яркость и жар и лежали на полах, как листы выцветшей бумаги.

Я не мог сразу разгадать, чем жили Казанские. Они верили в Бога и в то, что мир устроен Богом именно так, как выгодно для семьи Казанских. Бог, в их представлении, был вроде генерал-губернатора, но только во всемирном масштабе. Он наводил порядок во вселенной и покровительствовал добропорядочным семьям.

Кроме Бога, у Казанских была Маруся. Они ее любили болезненной любовью стариков, родивших ребенка в старости.

Капризы Маруси считались не только милыми, но даже священными. Стоило ей надуть губы, и папа-генерал тотчас отстегивал шпоры, ходил на цыпочках и вздыхал, а мама судорожно готовила на кухне любимое Марусино лакомство – воздушный пирог.

Главной темой бесед между стариками было замужество Маруси. Выискивание женихов шло исподволь. Оно превратилось в манию, в страсть. Память мадам Казанской походила на пухлую бухгалтерскую книгу, где были пронумерованы и подшиты к делу все достойные женихи Киева и Юго-Западного края.

Маруся училась в частной гимназии Дучинской. Это была буржуазная гимназия, где отметки ставились в зависимости от богатства и чина родителей.

Но Маруся была так глупа, что даже высокий чин папы Казанского не спасал ее от двоек. Когда Марусю вызывали к доске, она злобно молчала, крепко стиснув губы, и теребила край черного передника.

Каждая двойка вызывала переполох в генеральской семье. Маруся запиралась у себя в комнате и объявляла голодовку. Мадам Казанская плакала, сотрясаясь. Генерал бегал из угла в угол и кричал, что завтра же поедет к губернатору и разгонит всю эту «еврейскую лавочку».

На следующий день генерал надевал парадный сюртук и все ордена и ехал объясняться к начальнице гимназии Дучинской, величественной даме, хорошо знавшей толк в служебном положении родителей своих учениц.

Дело кончалось тем, что Марусе переправляли двойку на тройку с минусом. Дучинская не хотела терять ученицу из сановной семьи. Это могло бы бросить тень на ее безупречное заведение. А семейство Казанских успокаивалось до новой двойки.

После первого же урока я убедился, что объяснять Марусе что бы то ни было совершенно бессмысленно. Она ничего не могла понять. Тогда я пошел на рискованный шаг. Я заставлял ее вызубривать учебники наизусть. С этим она кое-как справлялась. Она выучивала страницу за страницей, как дети запоминают абракадабру вроде «считалки»: «Эна, бена, рес, квинтер, мунтер, жес!»

С таким же успехом, как Марусю, я мог бы обучать истории, географии и русскому языку попугая. Это была адская работа. Я очень от нее уставал.

Но вскоре я был вознагражден: Маруся получила первую тройку с плюсом.

Когда вечером я позвонил у дверей Казанских, мне открыл сам генерал. Он приплясывал и потирал руки. На шее у него подпрыгивал орден Святого Владимира. Он помог мне снять мою старенькую гимназическую шинель.

Маруся в новом платье и с огромными бантами в волосах вальсировала со стулом под звуки пианино среди гостиной. На пианино играла мадемуазель Мартен, учительница французского языка. Она тоже давала Марусе уроки. Шпиц носился по комнатам и беспорядочно лаял.

Распахнулась дверь из столовой, и вошла мадам Казанская в платье со шлейфом. За ее спиной я заметил празднично сервированный стол.

По случаю первой тройки с плюсом был дан изысканный ужин.

В конце ужина генерал ловко откупорил бутылку шампанского. Мадам Казанская пристально следила, чтобы генерал не пролил шампанское на скатерть.

Генерал начал пить шампанское как воду. Он мгновенно покраснел, взмахнул руками, и из рукавов его тужурки вылетели круглые блестящие манжеты.

– Да-с! – сказал генерал и горестно покачал головой. – Каждый мужчина должен нести свой крест в этой чертовой жизни. И мы несем его, не гуляем! Женщины, господин гимназист, нас не поймут. У них цыплячьи мозги.

– Дусик, – испуганно воскликнула мадам Казанская, – что это ты такое говоришь! Я совсем не понимаю.

– Наплевать! – сказал решительно генерал. – Трижды наплевать! Выпьем, господин гимназист. Как сказал наш гениальный поэт: «Что за штукавина, создатель, быть взрослой дочери отцом!»

– Дусик! – вскричала мадам Казанская, и у нее под глазами задрожали сизые мешки.

– Муфточка, – произнес генерал слащаво, но грозно, – ты не забыла, что я генерал-адъютант русской армии?

Он стукнул кулаком по столу и закричал надтреснутым голосом:

– Попрошу слушать, когда вам говорят! Я обучал государя императора и не желаю, чтобы мне делали замечания безмозглые дуры! Встать!

Кончилось все это тем, что генерал вскочил, схватил со стола салфетку, притопнул и начал плясать русскую. Потом он упал в кресло, и его отпаивали валерьянкой. Он стонал и отбрыкивался короткими ножками.

Мы вышли с этого пиршества вместе с мадемуазель Мартен. Едва светили фонари. Был туманный мартовский вечер.

– Ох! – сказала мадемуазель Мартен. – Как я утомилась! Я больше не могу заниматься с этой дурой. И бывать в этом глупом доме. Я откажусь.

Я позавидовал мадемуазель Мартен – она могла отказаться от уроков с Марусей, но я не мог этого сделать: Казанские платили мне тридцать рублей в месяц. Это была неслыханно высокая плата для репетитора.

К тому времени отец неожиданно бросил службу на Брянском заводе и уехал из Бежицы в Городище, в дедовскую усадьбу. Он больше не мог мне помогать. А маме я соврал. Я написал ей, что зарабатываю пятьдесят рублей в месяц и мне присылать ничего не надо. Да и что она могла мне прислать!

Мадемуазель Мартен попрощалась со мной на углу Безаковской улицы. Повалил густой снег. Калильный фонарь жужжал над входом в аптекарский магазин.

Мадемуазель Мартен быстро пошла к Бибииковскому бульвару своей скользящей походкой, будто она бежала короткими шагами на роликах. Она наклонила голову и прикрыла ее муфтой от снега.

Я стоял и смотрел ей вслед. После шампанского я испытывал странное состояние. Голова то затуманивалась – и все казалось мне полным чудесного смысла, то туманная волна исчезала – и я с полной ясностью понимал, что ничего особенного в моей жизни не произошло. Завтра, так же как и сегодня, я буду идти по этим же изученным до последней вывески улицам мимо палисадников, извозчиков, афишных тумб и городских к дому Казанских, подымусь по лестнице, облицованной желтым кафелем, позвоню у выкрашенных под дуб дверей, в ответ на звонок залает шпиц, и я войду все в ту же переднюю с зеркалом и вешалкой, и на ней все на том же самом крючке будет висеть застегнутая на все пуговицы генеральская шинель с красными отворотами.

Но когда набегала туманная волна, я думал о родстве одиноких людей, таких как мадемуазель Мартен, Фицовский и я. Мне казалось, что мы должны сдружиться и оберегать друг друга, чтобы сообща преодолевать эту тугую жизнь.

Но откуда я взял, что мадемуазель Мартен одинокая? Я ее совсем не знал. Я слышал только, что она родом из города Гренобля, и видел, что у нее темные, немного хмурые глаза. Вот и все.

Я постоял на углу и пошел к Фицовскому. Его не было дома. Я достал в условленном месте ключ и отпер дверь.

В комнате было холодно. Я зажег лампу, растопил чугунную печурку, взял со стола книгу, лег на клеенчатый диван, укрылся шинелью и открыл книгу. Это были стихи.

Снова нахлынула туманная волна. «Медлительной чредой нисходит день осенний», – читал я. Между строчками стихов появился теплый свет. Он разрастался и согревал мне лицо. «Медлительно кружится желтый лист, и день прозрачно свеж, и воздух дивно чист – душа не избежит невидимого тленья».

Я отложил книгу. Я лежал и думал, что впереди меня ждет жизнь, полная очарований, то радостных, то печальных.

Жизнь была, как эта ночь с ее слабым светом сугробов, молчанием садов, заревом фонарей. Ночь скрывала в своей темноте тех милых людей, что когда-нибудь будут мне близки, тот тихий рассвет, что непременно забрезжит над этой землей. Ночь скрывала все тайны, все встречи, все радости будущего. Как хорошо!

Нет, мы, молодые, не были несчастны. Мы верили и любили. Мы не зарывали талант свой в землю. Наша душа, конечно, избежит «невидимого тленья». Нет и нет! Мы будем до самой смерти пробиваться к удивительным временам.

Так я думал, лежа на клеенчатом диване. Будь же прокляты все эти тошнотворные Казанские, весь этот злой и добропорядочный муравейник.

Когда я пришел от Фицовского к себе в Дикий переулок, пани Козловская подала мне телеграмму. В ней было сказано, что в усадьбе Городище, около Белой Церкви, умирает мой отец.

На следующее утро я уехал из Киева в Белую Церковь.

Смерть отца порвала первую нить, которая связывала меня с семьей. А потом начали рваться и все остальные нити.

## Корчма на Брагинке

Старый пароход, шлепая колесами, полз вверх по Днепру. Была поздняя ночь. Я не мог уснуть в душной каюте и вышел на палубу.

Из непроглядной темноты задувал ветер, наносил капли дождя. Старик в заплатанной свитке стоял около капитанского мостика. Тусклый фонарь освещал его щетинистое лицо.

– Капитан, – говорил старик, – невжли не можете сделать снисхождение престарелому человеку! Скиньте меня на берег. Отсюда до моего села версты не будет.

– Ты что, смеешься? – спросил капитан. – Своего носа не видать, а я буду притыкаться к берегу, бить из-за тебя пароход!

– Нету мне смысла смеяться, – ответил старик. – Вот туточки за горой и мое село. – Он показал в темноту. – Скиньте! Будьте ласковы!

– Терентий, – спросил капитан рулевого, делая вид, что не слушает старика, – ты что-нибудь видишь?

– Своего рукава не вижу, – мрачно проворчал рулевой. – Темнотюга проклятая! На слух веду.

– Покалечим пароход! – вздохнул капитан.

– Ничего с вашей чертопхайкой не сделается! – сердито пробормотал старик. – Тоже мне капитаны! Вам в Лоеве грушами торговать, а не пароходы водить по Днепру! Ну? Скинете или нет?

– Поговори у меня!

– И поговорю! – сварливо ответил старик. – Где это слыхано, чтобы завозить пассажиров до самых Теремцов!

– Да пойми ты, – жалобно закричал капитан, – что ни черта же не видно! Где я пристану? Ну где?

– Да ось тут, против яра! – Старик снова показал в крошечную темноту. – Ось тут! Давайте я стану коло лоцмана и буду ему указывать.

– Знаешь что? – сказал капитан. – Катись ты на кутю к чертовой бабушке!

– Ага! – воскликнул старик с торжеством. – Значит, отказываете? Так?

– Да! Отказываю!

– Значит, вам безынтересно, что я поспешаю на свадьбу до своей дочки? Вам это безынтересно. Вы старого человека угнетаете!

– Какое мне дело до твоей дочки!

– А до Андрея Гона вам есть дело? – вдруг тихо и грозно спросил старик. – С Андреем Гоном вы еще не здоровкались? Так будьте известны, что сам Андрей Гон гуляет на той свадьбе.

Капитан молчал.

– Смолкли? – злорадно спросил старик. – Чертопхайку вашу зовут «Надеждой». Так нема у вас никакой надежды воротиться в добром благополучии, если не скинете меня на берег. Гон мне удружит. Мы с ним свояки. Гон этого не оставит.

– А ты не грозись! – пробормотал капитан.

– Сидор Петрович, – прохрипел рулевой, – сами видите, до чего упорный дед. Давайте скинем его на берег. С Гоном нет смысла связываться.

– Ну, шут с тобой! – сказал капитан старику. – Становись с лоцманом, показывай. Только смотри не побей пароход.

– Господи! Да я Днепро знаю, как свою клуню! Пароход – это же вещь государственная! Старик стал к штурвалу и начал командовать:

– На правую руку забирай! Круче! А то занесет в черторой. Так. Еще круче!

Ветки лозняка начали хлестать по бортам. Пароход ткнулся в дно и остановился. Внизу на крытой палубе зашумели разбуженные толчком пассажиры.

Матрос посветил с носа фонарем. Пароход стоял в затопленных зарослях. До берега было шагов тридцать. Черная вода бежала среди кустов.

– Ну вот, – сказал капитан старику, – вылезай. Приехали.

– Да куда же я слезу? – удивился старик. – Тут мне будет с головой. Я же могу утонуть!

– А мне что? Сам напросился. Ну! – крикнул капитан. – Вытряхивайся, а то прикажу матросам скинуть тебя в воду!

– Интересное дело! – пробормотал старик и пошел на нос парохода.

Он перекрестился, перелез через борт и прыгнул в воду. Вода была ему по плечи.

Чертыхаясь, старик начал шумно выбираться на берег. Пароход медленно сработал назад и вышел из зарослей.

– Ну как, живой? – крикнул капитан.

– Чего гавкаешь! – ответил с берега старик. – Все одно, не миновать тебе здороваться с Андреем Гоном.

Пароход отошел.

В то лето по Черниговской губернии и по всему Полесью бродили неуловимые разбойничьи шайки. Они налетали на фольварки, на поместья, грабили почту, нападали на поезда.

Самым смелым и быстрым из всех атаманов был Андрей Гон. Отряды драгун и стражников обкладывали его в лесах, загоняли в непроходимые полесские топи, но Андрей Гон всегда вырывался на волю, и зарева пожаров снова шли следом за ним в темные ночи.

Вокруг Андрея Гона уже плела свою сеть легенда. Говорили, что Андрей Гон – защитник бедняков, всех обездоленных и сирых, что нападает он только на помещиков, что сам он не то черниговский гимназист, не то сельский кузнец. Имя его стало символом народного мщения.

Я ехал на лето как раз в те места, где хозяйничал Андрей Гон, к дальним моим родственникам Севрюкам. У них в Полесье была небогатая маленькая усадьба Иолча. Поездку эту мне устроил Боря. Севрюков я совершенно не знал.

– Ты отдохнешь в Иолче, – сказал он. – Севрюки люди со странностями, но очень простые. Они будут рады.

Я согласился поехать в Иолчу, потому что другого выхода у меня не было. Я перешел в восьмой класс гимназии. Только что я сдал экзамены, и мне предстояло томительное лето в Киеве. Дядя Коля уехал с тетей Марусей в Кисловодск. Мама оставалась в Москве. А в Городище я не хотел ехать, потому что из писем дяди Илько догадывался, что у него начались нелады с тетушкой Дозей. Всякие семейные неурядицы меня пугали. Я не хотел больше быть их свидетелем и невольным участником.

На второй день к вечеру пароход подвалил к низкому полесскому берегу Днепра. Тучи комаров зудели в вышине. Багровое солнце опускалось в беловатый пар над рекой. Из зарослей тянуло холодом. Горел костер. Около костра стояли поджарые верховые лошади.

На берегу меня ждали Севрюки: худой человек в сапогах и чесучовом пиджаке – хозяин поместья, невысокая молодая женщина – его жена и студент – ее брат.

Меня усадили на телегу. Севрюки вскочили на верховых лошадей и, гикая, помчались вперед размашистой рысью.

Они быстро скрылись, и я остался один с молчаливым возницей. Я соскочил с телеги и пошел рядом по песчаной дороге. Трава по обочинам стояла в темной болотной воде. В этой воде тлел, не потухая, слабый закат. Равномерно посвистывая тяжелыми крыльями, пролетали дикие утки. Из кустов серыми лохмотьями, припадая к земле, выползал туман.

Потом сразу закричали сотни лягушек, и телега загрохотала по бревенчатой гати. Показалась усадьба, окруженная частоколом. На поляне в лесу стоял странный восьмиугольный деревянный дом со множеством веранд и пристроек.

Вечером, когда мы сидели за скромным ужином, в столовую вошел сутулый старик в постолах и картузе с оторванным козырьком. Он снял с плеча длинное охотничье ружье и прислонил к стенке. За стариком, клякая когтями по полу, вошел пегий пойнтер, сел у порога и начал колотить по полу хвостом. Хвост стучал так сильно, что старик сказал:

– Тихо, Галас! Понимай, где находишься!

Галас перестал бить хвостом, зевнул и лег.

– Ну что слышно, Трофим? – спросил Севрюк и, обернувшись ко мне, сказал: – Это наш лесник, обходчик.

– А что слышно? – вздохнул Трофим, садясь к столу. – Все то же. В Лядах подпалили фольварк, а за Старой Гутой вбылы до смерти папа Капуцинского, царствие ему небесное. Тоже, правду сказать, был вредный и подлый старик. Кругом всех убивают и рушат, только вас одних милуют. Странное дело! И чего он вас не трогает, тот Андрей Гон? Неизвестно. Может, прослышал, что вы и простому люду доверчивые. А может, еще не дошли до вас руки.

Жена Севрюка, Марина Павловна, засмеялась.

– Вот так он все время, Трофим, – заметила она. – Все удивляется, что мы еще живы.

– И живите себе на здоровье, – сказал Трофим. – Я не против. А за поводыря слышали?

– Нет, – живо ответила Марина Павловна. – А что?

– Да что? Завтра его ховать будут. В Погонном. Поехать бы следовало.

– Мы поедем, – сказала Марина Павловна. – Непременно.

– За то вам Бог много прегрешений отпустит, – вздохнул Трофим. – И меня с собой прихватите. Мне туда идти через силу.

Трофим оглянулся на окно и спросил вполголоса:

– Никого лишнего нету?

– Все свои, – ответил Севрюк. – Говори.

– Так вот, – таинственно сказал Трофим, – в корчме у Лейзера на Брагинке собрались мастера.

– Кто? – спросил студент.

– Ну, мастера, могилевские деды.

– погоди, Трофим, – сказал Севрюк. – Дай людям объяснить. Они про могилевских дедов ничего не знают.

Тогда я впервые услышал удивительный рассказ о знаменитых могилевских дедах. После этого рассказа время сдвинулось и перенесло меня на сто лет назад, а может быть, и еще дальше – в Средние века.

Издавна, еще со времен польского владычества, в Могилеве на Днепре начала складываться община нищих и слепцов. У этих нищих – их звали в народе «могилевскими дедами» – были свои старшины и учителя – мастера.

Они обучали вновь принятых в общину сложному своему ремеслу – пению духовных стихов, умению просить милостыню – и внушали им твердые правила нищенского общежития.

Нищие расходились по всему Полесью, Белоруссии и Украине, но мастера собирались каждый год в тайных местах – в корчмах на болотах или в покинутых лесных сторожках – для суда и приема в общину новых нищих.

У могилевских дедов был свой язык, непонятный для окружающих.

В беспокойные времена, в годы народных волнений, эти нищие представляли грозную силу. Они не давали погаснуть народному гневу. Они поддерживали его своими песнями о несправедливости панской власти, о тяжелой доле замордованного сельского люда.

После этого рассказа Полесье, куда я сейчас попал, представилось мне совершенно иным, чем раньше. Оказалось, что в этом краю болот, чахлых лесов, туманов и безлюдья тлеет, не погасая, подобно длинным здешним закатам, огонь мести и обиды. С тех пор мне казалось, что сермяги нищих пахнут не хлебом и пылью дорог, а порохом и гарью.

Я начал присматриваться к слепцам, к убогим и понял, что это особое племя не только несчастных, но талантливых и суровых волей людей.

– Зачем они собрались в корчме на Брагинке? – спросил Севрюк.

– Их дело, – неохотно ответил Трофим. – Что ни год, то они собираются. Стражники тут шныряли?

– Нет, – ответил Севрюк. – Говорят, были вчера в Комарине.

– Ну так! – Трофим встал. – Спасибо. Пойду на сеновал, отдохну.

Трофим ушел, но не на сеновал, а в лес и появился только на следующий день утром.

Марина Павловна рассказала мне историю мальчика-поводыря.

Два дня назад слепец с поводырем забрел в усадьбу богатого помещика Любомирского. Его погнали со двора. Когда слепец вышел за ворота, сторож-ингуш (тогда многие богатые помещики держали у себя в имениях наемную стражу из ингушей) спустил на слепца цепного пса-волкодава.

Слепец остановился, а поводырь испугался и бросился бежать. Волкодав догнал его и задушил. Слепец спасся только тем, что стоял неподвижно. Волкодав обнюхал его, порывал и ушел.

Крестьяне подобрали мертвого мальчика и принесли в село Погонное. Завтра мальчика будут хоронить.

Мне нравились Севрюки. Марина Павловна была великолепной наездницей и охотницей. Маленькая, очень сильная, с протяжным голосом, она ходила быстро и легко, судила обо всем резко, по-мужски, и любила читать длинные исторические романы вроде «Беглые в Новороссии» Данилевского.

Севрюк казался человеком больным. Он был очень худой, насмешливый. Он не дружил ни с кем из соседей, предпочитал общество крестьян-полешуков и занимался своим небольшим хозяйством. А брат Марины, студент, все дни пропадал на охоте. В свободные часы он набивал патроны, отливал дробь и чистил свою бельгийскую двустволку.

На следующий день мы поехали в село Погонное. Мы переправились на пароме через глубокую и холодную Брагинку. Ивовые берега шумели от ветра.

За рекой песчаная дорога пошла по опушке соснового леса. По другую сторону дороги тянулось болото. Оно терялось за горизонтом в тускловатом воздухе, светилось окнами воды, желтело островами цветов, шумело серовой осокой.

Я никогда еще не видел таких огромных болот. Вдали от дороги среди зеленых и пышных трясин чернел покосившийся крест – там много лет назад утонул в болоте охотник.

Потом мы услышали похоронный звон, долетавший из Погонного. Линейка въехала в пустынное село с низкими хатами, крытыми гнилой соломой. Куры, вскрикивая, вылетали из-под лошадиных копыт.

Около деревянной церкви толпился народ. Через открытые двери были видны язычки свечей. Огни освещали гирлянды из бумажных роз, висевшие около икон.

Мы вошли в церковь. Толпа молча раздалась, чтобы дать нам дорогу.

В узком сосновом гробу лежал мальчик с льняными, тщательно расчесанными волосами. В сложенных на груди бескровных руках он держал высокую и тонкую свечу. Она согнулась и горела, потрескивая. Воск капал на желтые пальцы мальчика. Косматый священник в черной ризе торопливо махал кадилом и читал молитвы.

Я смотрел на мальчика. Казалось, что он старается что-то припомнить, но никак не может.

Севрюк тронул меня за руку. Я оглянулся. Он показал мне глазами в сторону от гроба. Я посмотрел. Там шеренгой стояли старые нищие.

Все они были в одинаковых коричневых свитках, с блестящими от старости деревянными посохами в руках. Седые их головы были подняты. Нищие смотрели вверх на царские врата.

Там был образ седобородого бога Саваофа. Он странно походил на этих нищих. У него были такие же впалые и грозные глаза на сухом темном лице.

– Майстры! – шепотом сказал мне Севрюк.

Нищие стояли неподвижно, не крестясь и не кланяясь. Вокруг них было пусто. Позади нищих я увидел двух мальчиков-поводырей с холщовыми сумками за спиной. Один из них тихонько плакал и вытирал нос рукавом свитки. Другой стоял, опустив глаза, и усмехался.

Вздыхали женщины. Иногда с паперти доносился глухой гул мужских голосов. Тогда священник подымал голову и начинал громче читать молитву. Гул стихал.

Потом нищие сразу двинулись к гробу, молча подняли его на руки и понесли из церкви. Сзади поводыри вели слепцов.

На кладбище с поваленными крестами гроб опустили в могилу. На дно ее уже натекла вода. Священник прочел последнюю молитву, снял ризу, свернул ее и ушел, хромя, с кладбища.

Двое пожилых полешуков, поплевав на ладони, взялись за лопаты. Тогда к могиле подошел слепец с ястребиным лицом и сказал:

– Погодите, люди!

Толпа затихла. Слепец, щупая палкой землю, поклонился гробу, потом выпрямился и, глядя перед собой белыми глазами, заговорил нараспев:

Под сухою вербой коло мелкой криницы  
Сел Господь отдохнуть от тяжелой дороги.  
И подходят ко Господу всякие люди  
И приносят ему всё, что только имеют...

Толпа придвинулась к слепцу.

Бабы – пряжу и мед, а невесты – монисто,  
Старики – черный хлеб, а старухи – иконы.  
А одна молодница пришла с барвинками  
И поклала у ног, а сама убежала  
И сховалась за клуней. А Бог усмехнулся  
И спросил: «Кто же мне принесет свое сердце?  
Кто мне сердце свое подарить не жалеет?»

Молодая женщина в белом платке тихо вскрикнула. Слепец замолчал, обернулся в сторону женщины и сказал:

И тогда положил ему на руки хлопчик  
Свое сердце – трепещет оно, как голубка,  
Глянул Бог, а то сердце пробито и кровью  
Запеклось и совсем, как земля, почернело.  
Почернело от слез и от вечной обиды,  
Оттого, что тот хлопчик по свету бродяжил  
Со слепцами и счастья не видел ни разу.

Нищий протянул перед собой руки.

Встал Господь и поднял это слабое сердце.  
Встал Всесильный и проклял неправду людскую.



И на землю упали пречерные тучи,  
Раскололись леса от великого грома.  
И раздался Господний всеслышимый голос.

Слепец вдруг радостно улыбнулся.

«Это сердце снесу я к престолу на небе,  
Тот богатый подарок от рода людского,  
Чтобы добрые души ему поклонялись».

Слепец замолчал, подумал и запел глухим и сильным голосом:

То сиротское сердце – богаче алмазов,  
И пышнее цветков, и светлее сиянки,  
Потому что отдал его хлопчик прелестный  
Всемогущему Богу как дар небогатый.

Женщины в толпе вытирали глаза концами темных платков.

– Пожертвуйте, люди, – сказал слепец, – за упокой души невинно убиенного отрока Василия.

Он протянул старый картуз. В него посыпались медяки. Могилу начали забрасывать землей.

Мы медленно пошли к церкви, где нас ждали лошади. Марина Павловна ушла вперед. Всю обратную дорогу мы молчали. Только Трофим сказал:

– Тысячи лет живут люди, а до добра не додумекались. Странное дело!

После похорон поводыря в усадьбу Севрюков вселилась тревога. Вечером двери запирали на железные засовы. Каждую ночь Севрюк со студентом вставали и обходили усадьбу. Они брали с собой заряженные ружья.

Однажды ночью в лесу загорелся костер. Он горел до рассвета. Утром Трофим рассказал, что у костра ночевал неизвестный человек.

– Надо думать, гоновец, – добавил он. – Ходят кругом, как волки.

Днем после этого в усадьбу зашел босой парень в солдатских черных штанах с выгоревшим красным кантом. Сапоги висели у него за спиной. У парня было облупленное от загара лицо. Глаза его смотрели хмуро и цепко.

Парень попросил напиться. Марина Павловна вынесла ему кувшин молока и краюху хлеба. Парень жадно выпил молоко и сказал:

– Смелые господа. Не страшитесь жить в таком месте.

– Нас никто не тронет, – ответила Марина Павловна.

– Это почему? – усмехнулся парень.

– Мы никому не делаем плохого.

– Со стороны виднее, – загадочно ответил парень и ушел.

Поэтому Марина Павловна с неохотой отпустила на следующий день Севрюка в соседнее местечко, где надо было купить продукты и порох. Севрюк взял с собой меня. Мы должны были вернуться в тот же день к вечеру.

Мне понравилась эта поездка по безлюдному краю. Дорога шла среди болот, по песчаным буграм, поросшим низким сосновым лесом. Песок все время сыпался тонкими струйками с колес. Через дорогу переползали ужи.

Было знойно и потому хорошо видно, как над болотами мреет нагретый воздух.

В местечке по заросшим мхом крышам еврейских домов ходили козы. Деревянная звезда Давида была приколочена над входом в синагогу.

На площади, засыпанной трухой от сена, дремали расседланные драгунские лошади. Около них лежали на земле красные от жары драгуны. Мундиры их были расстегнуты. Драгуны лениво пели:

Солдатушки, бравы ребятушки,  
Где же ваши жены?  
Наши жены – пушки заряжены,  
Вот где наши жены!

Драгунский офицер сидел на крылечке постоялого двора и пил мутный хлебный квас.

Мы ходили по магазинам – «склепам». В них было темно и прохладно. Голуби склевывали зерна с десятичных весов. Еврей-торговцы в черных лоснящихся картузах жаловались, что торговать нет резона, потому что весь барыш идет на угощение исправника. Они рассказывали, что третьего дня Андрей Гон налетел на соседний фольварк и угнал четверку хороших лошадей.

В одном из «склепов» нас напоили чаем. Он пахивал керосином. К чаю подали розовый постный сахар.

Мы запоздали. Когда мы выехали из местечка, Севрюк начал гнать лошадей. Но лошади выбились из сил на песках и могли идти только шагом.

Тучи слепней висели над конскими крупами. Непрерывно свистели жидкие конские хвосты.

С юга заходила гроза. Болота почернели. Начал налетать ветер. Он трепал листву и нес запах воды. Мигали молнии. Земля вдалеке гроыхала.

– Придется свернуть в корчму на Брагинке, – сказал Севрюк. – Там заночуем. Завозились мы в местечке.

Мы свернули на едва заметную лесную дорогу. Телегу било по корням.

Начало быстро темнеть. Лес поредел. В лицо дохнуло сыростью, и мы подъехали к черной корчме.

Она стояла на самом берегу Брагинки, под ивами. Позади корчмы берег зарос крапивой и высокими зонтичными цветами болиголова. Из этих пахучих зарослей слышался тревожный писк – там, очевидно, прятались испуганные грозой цыплята.

На кривое крылечко вышел пожилой тучный еврей – хозяин корчмы Лейзер. Он был в сапогах. Его широкие, как у цыгана, штаны были подпоясаны красным кушаком.

Лейзер сладко улыбнулся и закрыл глаза.

– Какой гость! – воскликнул он и покачал головой. – Легче найти в лесу бриллиант, чем заманить до себя такого приятного гостя. Сделайте любезность, заходите прямо в чистое помещение.

Несмотря на сладкую улыбку, Лейзер осторожно поглядывал на нас из-под набрякших красных век.

– Я знаю, Лейзер, – сказал ему Севрюк, – что у вас в корчме живут мастера. Не беспокойтесь. Нам до этого нет никакого дела. Мало ли кто ночует в корчме!

– Что я могу! – тяжело вздохнул Лейзер. – Кругом лес, болото. Разве я выбираю себе постояльцев? Я сам их иногда опасаюсь, пане Севрюк.

Мы вошли в чистую половину. Скрипели выскобленные полы. Комната перекосилась, и все в ней стояло криво. На кровати сидела распухшая седая женщина, обложенная розовыми подушками.

– Моя мамаша, – объяснил Лейзер. – У нее водянка. Двойра! – крикнул он. – Становь самовар!

Из-за занавески выглянула и поздоровалась с нами маленькая женщина с тоскливым лицом – жена Лейзера.

Окна из-за грозы были закрыты. О стекла бились мухи. Засиженный мухами портрет генерала Куропаткина висел на стене.

Лейзер принес сена и постелил нам на полу. Сено он накрыл толстым рядном.

Мы сели к столу и начали пить чай. Тотчас ударил такой гром, что на столе подпрыгнула голубая тарелка. С тяжелым ровным шумом налетел на корчму ливень. Серая тьма лилась потоками за окном. Ее непрерывно разрывали мутные молнии.

Ливень заглушал писк самовара. Мы пили чай с баранками. Давно уже чай не казался мне таким вкусным. Мне нравилась эта корчма, вся эта глушь, шум дождя, грохот грома в лесах. Из-за стены едва слышно доносились голоса нищих.

Я устал от тряски в телеге и длинного жаркого дня и тотчас после чая уснул на полу, на сене. Проснулся я ночью весь в испарине. Керосиновая духота висела слоями. Мигал ночник. Стонала старуха. Севрюк сидел на сене рядом со мной.

– Ляжем лучше в телеге, – сказал он. – У меня будет разрыв сердца от этой духоты.

Мы осторожно вышли. Телега стояла под навесом. Мы разворошили сено, легли на него и укрылись рядном.

Гроза прошла. Над лесом светились влажные звезды.

С крыши еще текли, постукивая, капли дождя. Запах мокрого бурьяна проникал под навес.

Скрипнула дверь. Из корчмы кто-то вышел. Севрюк сказал мне шепотом:

– Не шумите. Это, должно быть, майстры.

Кто-то сел на колоду около навеса и начал высекать кремнем огонь. Запахло махоркой.

– Как запыляется, мы разом и помандруем, – сказал скрипучий голос. – А то еще засунут нас в торбу.

– Просто, – ответил хриплый голос. – Зажились у Лейзера. Архангелы рыщут.

– Доси ничего не видно, – тревожно произнес третий голос, совсем еще молодой. – Может, от дождя все намокло.

– Для гоновцев нет ни мокроты, ни беды, – ответил скрипучий.

– Сбудется, – сказал хриплый. – Они нашу обиду заметят. Увидим божью кару. Пока очи еще не померкли.

Нищие замолчали.

– Петро, – спросил скрипучий, – а все люди готовые?

– Все, – ответил молодой.

– Так пусть выйдут с корчмы. И чтобы Лейзер не торкался. Его дело стороннее. Гроши свои он взял. Проезжие сплять?

– Сплять. Чего им делается?

Голоса снова затихли. Я зашевелился. Севрюк тронул меня за руку. Из корчмы вышли еще несколько человек.

– Я на Чернобыль да на Овруч буду с Кузьмой подаваться, – сказал знакомый голос. – Может, найду под Чернобылем поводыря. Там народ голодует.

Это говорил тот слепец, что пел в Погонном над могилой поводыря. Снова стало тихо. У меня колотилось сердце.

Мне казалось, что прошло очень много времени, прежде чем я услышал тихий возглас:

– Занялось!

Нищие зашевелились.

– Ну, братья, – сказал хриплый, – помолимся Господу, да и в дорогу.

– «Отче наш, иже еси на небесех, – вполголоса запели нищие. – Да святится имя твое, да придет царствие твое...»

Нищие поднялись и пошли.

– О чем они говорили? – спросил я Севрюка.

– Не знаю, – ответил он. – Пойду покурю подальше от сена.

Он встал и вышел из-под навеса.

– Что такое! – сказал он удивленно из темноты. – Идите-ка сюда.

Я вскочил. За черной Брагинкой, за зарослями верболоза, дымилось и розовело небо. Высокие снопы искр вылетали как будто из-за соседних кустов. Зарево тускло отражалось в реке.

– Что же это горит? – спросил Севрюк.

– Любомирский горит, – ответил из темноты Лейзер. Мы не заметили, как он к нам подошел.

– Пане Севрюк, – сказал он умоляющим голосом, – пожалейте себя и бедного корчмаря. Я вам запрягу коней, и поезжайте себе с богом. Неудобно вам тут оставаться.

– А что?

– Могут наскочить из местечка драгуны. Или стражники. С корчмаря им нечего взять. Корчмарь ничего не бачил и ничего не чул.

– Мы тоже ничего не видели, – сказал Севрюк.

– Пане! – воскликнул Лейзер. – Заклинаю вас Богом вашим православным! Уезжайте. Не надо мне ваших денег. Мне спокой дороже. Видите, что делается кругом!

– Ну ладно, ладно, – согласился Севрюк. – Слабонервный вы человек, Лейзер. Запрягайте коней.

Лейзер быстро запряг лошадей. Мы уехали.

Дорога шла вдоль берега Брагинки. Севрюк не правил. Он отпустил вожжи, и лошади шли сами. Зарево разгоралось. По лицу хлестали мокрые ветки.

– Теперь понятно, – вполголоса сказал Севрюк. – Подожгли Любомирского.

– Кто?

– Не знаю. Должно быть, за поводыря. Но мы с вами в корчме не ночевали и ничего не видели. Ладно?

– Ладно, – согласился я.

За Брагинкой раздался тихий, но внятный свист. Севрюк придержал лошадей. Свист повторился. Телега стояла среди густых кустов. Нас ниоткуда не было видно.

– Эй, корчмарь! – негромко крикнул с того берега человек. – Давай перевоз!

Никто не ответил. Мы прислушивались.

Раздался плеск. Человек, очевидно, бросился в воду и поплыл. Вскоре мы увидели его из-за кустов. Он плыл посередине реки, слабо освещенной заревом. Его сильно сносило.

Невдалеке от нас человек вылез на берег. Было слышно, как с него с журчанием стекает вода.

– Ну погоди, Лейзер! – сказал человек и пошел в лес. – Ты за этот перевоз мне заплатишь.

Когда шаги человека затихли, мы медленно поехали дальше.

– Узнали? – едва слышно спросил Севрюк.

– Что? – не понял я.

– Человека узнали?

– Нет.

– Парень к нам приходил. Пил молоко. Как будто его голос. Теперь ясно. Майстры пожаловались Гону. А это его человек, гоновец. Он и поджег. Так я думаю. Лейзер его перевез на тот берег. Но помните, что мы с вами ничего не видели и не знаем.

Севрюк осторожно закурил, прикрыв спичку полой дождевого плаща.

Зарево качалось в небе. Шумела в затопленных кустах река, скрипели оси. Потом из болот нанесло холодный туман.

Только на рассвете мы, мокрые и озябшие, добрались до усадьбы.

После этого случая потянулись беспокойные дни. Мне они нравились. Мне нравилось постоянное ожидание опасностей, разговоры вполголоса и слухи, что приносил Трофим о внезапном появлении Андрея Гона то тут, то там.

Мне нравилась холодная Брагинка, разбойничьи заросли, загадочные следы подков на дороге, которых не было вчера. Мне, признаться, даже хотелось, чтобы Андрей Гон налетел на усадьбу Севрюка, но без поджога и убийства.

Но вместо Андрея Гона как-то в сумерки в усадьбе появились драгуны. Они спешили около ворот. Офицер в пыльных сапогах подошел к веранде, где мы пили чай, извинился и спросил:

– Вы господин Севрюк?

– Да, я, – ответил Севрюк. – Чем могу служить?

Офицер обернулся к солдатам.

– Эй, Марченко! – крикнул он. – Подведи-ка его сюда!

Из-за лошади двое драгун вывели босого человека. Руки его были скручены за спиной. На человеке были черные солдатские штаны с выгоревшими красными кантами.

Человека подвели к веранде. Он смотрел на Марину Павловну пристально, будто хотел что-то ей сказать.

– Вы знаете этого парня? – спросил офицер.

Все молчали.

– Приглядитесь получше.

– Нет, – сказала Марина Павловна и побледнела. – Я никогда не видела этого человека.

Человек вздрогнул и опустил глаза.

– А вы? – спросил офицер Севрюка.

– Нет. Я его не знаю.

– Что ж ты, братец, – офицер обернулся к человеку, – все врешь, что ты здешний и что ты у господ Севрюков работал в усадьбе? Теперь твое дело табак!

– Ладно уж! – сказал человек. – Ведите! Ваша сила, только не ваша правда.

Марина Павловна вскочила и ушла в комнату.

– Без разговоров! – сказал офицер. – Марш за ворота!

Драгуны уехали. Марина Павловна долго плакала.

– Он же так смотрел на меня, – говорила она сквозь слезы. – Как же я не догадалась! Надо было сказать, что я его знаю и что он работал у нас.

– Где там догадаться! – сокрушался Трофим. – Хотя бы он знак какой дал. А Любомирского тот человек спалил до последней косточки. Знаменито спалил. За убиенного хлопчика.

Вскоре я уехал в Киев.

Полесье сохранилось у меня в памяти как печальная и немного загадочная страна. Она цвела лютиками и айром, шумела ольхой и густыми ветлами, и тихий звон ее колоколов, казалось, никогда не возвестит молчаливым полещукам о кануне светлого народного праздника. Так мне думалось тогда. Но так, к счастью, не случилось.

## Сон в бабушкином саду

Бабушка моя Викентия Ивановна жила в Черкассах вместе с моей тетушкой Евфросинией Григорьевной. Дед давно умер, а в то лето, когда я ездил в Полесье, умерла от порока сердца и тетушка Евфросиния Григорьевна.

Бабушка переехала в Киев к одной из своих дочерей – тете Вере, вышедшей замуж за крупного киевского дельца.

У тети Веры был свой дом на окраине города – Лукьяновке. Бабушку поселили в маленьком флигеле, в саду около этого дома.

После независимой жизни в Черкассах бабушка чувствовала себя нахлебницей в чопорном доме тети Веры. Бабушка втихомолку плакала от этого и радовалась только тому, что живет отдельно, во флигеле, сама себе готовит и хоть в этом самостоятельна и не должна одолжаться перед богатой своей дочерью.

Бабушке было скучно одной, и она уговорила меня переехать от пани Козловской к ней во флигель. Во флигеле было четыре маленькие комнаты. В одной жила бабушка, во второй – старый виолончелист Гаттенбергер, третью комнату бабушка отвела мне, а четвертая была холодная, но называлась теплицей. Весь пол в ней был уставлен вазонами с цветами.

Когда я возвратился из Полесья в половине лета, в городе было пусто. Все разъехались на дачу. Боря уехал на практику в Екатеринослав. На Лукьяновке жили только бабушка Викентия Ивановна и Гаттенбергер.

Бабушка очень одряхлела, согнулась, бывшая ее строгость исчезла, но все же бабушка не изменила своих привычек. Она вставала на рассвете и тотчас открывала настежь окна. Потом она готовила на спиртовке кофе.

Выпив кофе, она выходила в сад и читала, сидя в плетеном кресле, любимые свои книги – бесконечные романы Крашевского или рассказы Короленко и Элизы Ожешко. Часто она засыпала за чтением, – седая, вся в черном, положив худые руки на подлокотники кресла.

Мотыльки садились ей на руки и на черный чепец. С деревьев гулко падали перезревшие сливы. Теплый ветер пролетал по саду, гонял по дорожкам тени от листьев.

Высоко в небе сияло над бабушкой солнце – очень чистое и жаркое солнце киевского лета. И я думал, что вот так когда-нибудь бабушка и уснет навсегда в теплоте и свежести этого сада.

Я дружил с бабушкой. Я любил ее больше, чем всех своих родных. Она мне платила тем же. Бабушка воспитала пятерых дочерей и трех сыновей, а в старости жила совершенно одна. У нее тоже, по существу, никого не было. Из этого нашего одиночества и родилась взаимная привязанность.

Бабушка вся светила лаской и грустью. Несмотря на разницу лет, у нас было много общего. Бабушка любила стихи, книги, деревья, небо и собственные размышления. Она никогда меня ни к чему не принуждала.

Единственная ее слабость заключалась в том, что при малейшей простуде она лечила меня своим испытанным лекарством. Она называла его «спиритус».

Это было зверское лекарство. Бабушка смешивала все известные ей спирты – винный, древесный, нашатырный – и добавляла в эту смесь скипидара. Получалась багровая жидкость, едкая, как азотная кислота.

Этим «спиритусом» бабушка натирала мне грудь и спину. Она глубоко верила в его целебную силу. По флигелю распространялся щиплющий горло запах. Гаттенбергер тотчас закурил толстую сигару. Голубоватый дым застилал его комнату приятным туманом.

Чаще всего бабушка засыпала в саду, когда в комнате Гаттенбергера начинала петь виолончель.

Гаттенбергер был красивый старик с волнистой седой бородой и серыми яростными глазами.

Он играл пьесу собственного сочинения. Она называлась «Смерть Гамлета».

Виолончель рыдала. Чередование звуков, таких гулких, будто они разносились под сводами Эльсинора, складывалось в торжественные слова:

Пусть Гамлета на катафалк несут,  
Как короля, четыре капитана!

Слушая музыку, я представлял себе зал в Эльсиноре, узкие, готические лучи солнца, крик фанфар и огромные – высокие и легкие – знамена над телом Гамлета. Они склонялись до земли и шелестели. Букет Офелии ручей давно уже унес в море. Волны качали вдали от берегов венчики розмарина, троицына цвета и руты – последних свидетелей ее горькой любви. Об этом тоже пела виолончель.

Бабушка просыпалась и говорила:

– Боже мой, неужели нельзя сыграть что-нибудь веселое!

Тогда Гаттенбергер, чтобы угодить бабушке, играл любимую ее пастораль из «Пиковой дамы»: «Мой миленький дружок, любезный пастушок...»

Бабушка уставала от музыки. Она отдыхала от нее по вечерам, когда Гаттенбергер уезжал со своею виолончелью на концерты в Купеческий сад.

Я часто бывал на этих концертах. Оркестр играл в деревянной белой раковине, а слушатели сидели под открытым небом.

Большие клумбы с левкоями и табаком пахли в сумерках сильно и сладко. Перед каждым концертом их поливали.

Оркестранты были освещены яркими лампами. Слушатели сидели в темноте. Смутно белели платья женщин, шелестели деревья, иногда над головой мерцали зарницы.

Но особенно я любил пасмурные сырые вечера, когда в саду почти не было посетителей. Тогда мне казалось, что оркестр играет для меня одного и для молоденькой женщины с опущенными полями шляпы.

Я встречал эту женщину почти на всех концертах. Она внимательно поглядывала на меня. Я украдкой следил за ней. Один только раз я встретил ее взгляд, и мне показалось, что глаза ее блеснули лукавым огнем.

Скучное киевское лето наполнилось мечтами об этой незнакомке. Оно тотчас перестало быть скучным. Оно зашумело звонкоголосыми дождями. Они лились с высокого неба, хлопотали в зелени садов. Стекланные капли, слетая с туч, будто били по клавишам, – частый звон наполнял мою комнату. Мне казалось подлинным чудом, что так может петь обыкновенная вода, льющаяся с крыши в зеленую кадку.

– Все лето слепые дожди! – говорила бабушка. – Это к урожаю.

За легким дымом этих «слепых дождей» и сиянием радуг где-то рядом жила незнакомка. Я был благодарен ей, что она появилась и сразу же изменила все вокруг.

Даже тротуары из желтого кирпича, покрытые маленькими лужами, казались мне теперь милыми и сказочными, как у Андерсена.

Между кирпичами пробивалась трава. В лужицах барахтались муравьи.

Когда на меня находила полоса выдумок или, как говорила по-польски бабушка, полоса «маженья», мне все казалось удивительным, даже киевские тротуары.

До сих пор я не знаю, как назвать это состояние. Оно возникало от незаметных причин. В нем не было ни капли восторженности. Наоборот, оно приносило покой и отдых. Но стоило появиться самой пустой заботе – и оно исчезало.

Состояние это требовало выражения. И вот в то жаркое лето с его «слепыми дождями» я впервые начал писать.

Я скрывал это от бабушки. Я говорил ей, удивленной тем, что я часами сижу в своей комнате и пишу, что готовлюсь к гимназическим занятиям по литературе и составляю конспекты.

В те дни, когда в Купеческом саду не было концертов, я уезжал на Днепр или на окраину города, в заброшенный парк «Кинь грусть». Он принадлежал киевскому меценату Кульженко.

За две-три папиросы сторож впускал меня в этот парк – совершенно пустынный и заросший бурьяном. Пруды затянуло ряской. На деревьях орали галки. Гнилые скамейки шатались, когда я на них садился.

В парке я встречал только старого художника. Он сидел под большим полотняным зонтиком и писал этюды. Художник уже издали так сердито поглядывал на меня, что я ни разу не решился к нему подойти.

Я забирался в самую глушь, где стоял заброшенный дом, садился на ступеньки террасы и читал.

Воробыи возились у меня за спиной. Я часто отрывался от книги и смотрел в глубину парка. Дымный свет падал среди деревьев. Я ждал. Я был уверен, что именно здесь, в этом парке, встречу свою незнакомку.

Но она не приходила, и я возвращался домой самым длинным путем – на трамвае через Приорку и Подол, потом через Крещатик и Прорезную улицу.

По дороге я заходил в библиотеку Идзиковского на Крещатике. Летом там было пусто. Бледные от духоты молодые люди с мокрыми усами – приказчики Идзиковского – меняли мне книги. Я брал книги для себя и для бабушки. При тогдашнем моем состоянии мне хотелось читать только стихи. А бабушке я приносил романы Шпильгагена и Болеслава Пруса.

Я возвращался домой на Лукьяновку усталый и счастливый.

Лицо горело от солнца и свежего воздуха.

Бабушка ждала меня. Маленький круглый стол в ее комнате был накрыт скатертью. На нем стоял ужин.

Я рассказывал бабушке о «Кинь грусть». Она кивала мне. Иногда она говорила, что соскучилась одна за весь этот длинный день. Но она никогда не бранила меня за то, что я пропадаю так долго.

– Молодость, – говорила бабушка, – имеет свои законы. Не мое дело в них вмешиваться.

Потом я уходил к себе, раздевался и ложился на узкую койку. Лампа освещала корявые ветки яблони за окном.

Сквозь первый непрочный сон я чувствовал ночь, ее мрак и необъятную тишину. Я любил ночи, хотя мне было страшно от мысли, что в вышине проходят, над Лукьяновкой, над крышей нашего флигеля, Стрелец и Водолей, Близнецы, Орион и Дева.

Я написал рассказ, в котором было все это киевское лето: виолончелист Гаттенбергер, незнакомка в Купеческом саду, «Кинь грусть», ночи и мечтательный, немного смешной гимназист.

Я долго мучился над этим рассказом. Слова теряли твердость, делались ватными. Нагромождение красот утомляло меня самого. Временами я приходил в отчаяние.

В Киеве в то время издавался журнал со странным названием «Рыцарь». Редактировал его известный киевский литератор и любитель искусств Евгений Кузьмин.

Я долго колебался, но все же отнес рассказ в редакцию «Рыцаря».

Редакция была на квартире у Кузьмина. Мне открыл маленький вежливый гимназист и провел в кабинет Кузьмина. Пятнистый бульдог сидел на ковре и, пуская слюни, смотрел на меня больными глазами.



Было душно. Пахло дымом ароматических свечей. Белые маски греческих богов и богинь висели на черных обоях. Повсюду высокими грудками лежали книги в пересохших кожаных переплетах.

Я ждал. Потрескивали книги. Потом вошел Кузьмин – очень высокий, очень худой, с белыми пальцами. На них блестели серебряные перстни.

Он разговаривал со мной, почтительно склонив голову. Я краснел и не знал, как поскорее уйти. Рассказ уже казался мне бездарным, а я сам – косноязычным дураком.

Кузьмин перелистал рукопись вялыми пальцами и отчеркнул что-то острым ногтем.

– Мой журнал, – сказал он, – является трибуной молодых талантов. Очень рад, если мы найдем еще одного собрата. Я прочту рассказ и пришлю вам открытку.

– Если нетрудно, то, пожалуйста, пришлите мне ответ в закрытом письме.

Кузьмин понимающе улыбнулся и наклонил голову.

Я ушел. Задыхаясь, я сбежал по лестнице и выскочил на улицу. Дворники поливали мостовые. Трещала в шлангах вода. Мелкие брызги оседали на лице. Мне стало легче.

Я вскочил на ходу в вагон трамвая, чтобы поскорее бежать от этих мест. Пассажиры насмешливо посматривали на меня. Я выскочил из трамвая и пошел пешком.

Пыль дымилась над Сенным базаром. Над скучной Львовской улицей плыли одинаковые круглые облака. Едко пахло конским навозом. Седая лошаденка тащила телегу с мешками угля. Измазанный углем человек шел рядом и уныло кричал:

– Уголья надо?

Я вспомнил, что в душном кабинете Кузьмина лежит на столе мой рассказ, переполненный красотами и неясными мыслями о жизни.

Мне стало стыдно. Я поклялся не писать больше никаких рассказов.

– Все это не то, не то! – повторял я. – А может быть, хоть и плохо, а все-таки то?

Я ничего не знал. Я совершенно запутался.

Я свернул по Глубочице на Подол. Холодные сапожники стучали молотками по старым подошвам. Молотки высекали из кожи струйки пыли. Мальчишки били из рогаток по воробьям. На дрогах везли муку. Она сыпалась на мостовую из дырявых мешков. Во дворах женщины развешивали цветное белье.

День был ветреный. Ветер вздувал над Подолом мусор. Высоко на холме подымался над городом Андреевский собор с серебряными куполами – нарядное творение Растрелли. Красные картуши колонн могуче изгибались.

Я зашел в харчевню и выпил кислого вина. Но от этого не стало легче.

К вечеру я возвратился домой с головной болью. Бабушка тотчас натерла меня «спиритусом» и уложила в постель.

Я был уверен, что сделал непоправимую ошибку – написал отвратительный рассказ и этим на всю жизнь отрезал себе возможность писать. Не было вокруг никого, кто бы мог мне сказать, что делать дальше. Неужели возможно всей душой тянуться к любимому делу и знать, что это бесплодно?

Гаттенбергер заиграл в своей комнате под сурдинку. Он играл теперь не «Смерть Гамлета», а отрывки из своей новой пьесы «Пир во время чумы». Гаттенбергер много работал над этой пьесой и часто проигрывал бабушке и мне отдельные куски.

Бабушка по-прежнему удивлялась мрачной фантазии Гаттенбергера.

– То смерть, то чума! – жаловалась она. – Не понимаю я этого. По-моему, музыка должна веселить людей.

Сейчас Гаттенбергер играл свое любимое место:

И раздавались жалкие стенанья  
По берегам потоков и ручьев,

Бегущих ныне весело и мирно  
Сквозь дикий рай твоей земли родной!

– Вот! Вот настоящее! – бормотал я. – «Сквозь дикий рай твоей земли родной».

Дикий рай! Как целебный ветер, эти слова ударили в грудь. Надо добиваться, надо работать, надо жить поэзией, словом. Я догадывался, как долог и как труден будет этот путь. Но почему-то это меня успокоило.

Через два дня пришла открытка от Кузьмина. Он не исполнил моей просьбы и не прислал мне ответа в закрытом письме.

Кузьмин писал, что он прочел рассказ и напечатает его в ближайшем номере журнала.

Бабушка, конечно, прочла эту открытку. Она даже всплакнула.

– Твой отец, Георгий Максимович, – сказала она, – смеялся надо мной. Но он был добрый человек. Мне жалко, что он не дожил до этого времени.

Бабушка перекрестила меня и поцеловала.

– Ну, трудись и будь счастлив. Видно, Бог сжалился надо мной и принес мне напоследок эту радость.

Она радовалась моему первому рассказу больше, чем я.

Когда вышел номер «Рыцаря» с этим рассказом, бабушка даже спекла «мазурки» и устроила праздничный завтрак.

К завтраку бабушка надела черное шелковое платье. Раньше она надевала его только на Пасху. Искусственный букетик гелиотропа был приколот у нее на груди. Но сейчас бабушка не помолодела от этого платья, как молодела раньше. Только черные ее глаза смеялись, когда она смотрела на меня.

Осы садились на вазу с вареньем. А Гаттенбергер, как бы догадавшись о том, что происходит у нас, играл мазурку Венявского и притопывал в такт ногой.

## «Золотая латынь»

Латинист Субоч смотрел на меня круглыми глазами. Усы его топорщились.

– А еще восьмиклассник! – сказал Субоч. – Черт знает чем занимаетесь! Следовало бы вlepить вам четверку по поведению. Тогда бы вы у меня запели!

Субоч был прав. Тот трюк, или, как мы его называли, «психологический опыт», который мы проделали на уроке латинского языка, можно было только и определить словами «черт знает что».

В нашем классе когда-то висели картины. Их давно сняли, но в стенах осталось шесть больших железных костылей.

Эти костыли вызвали у нас одну «удачную мысль». Наш класс осуществил ее с блеском и ловкостью.

Субоч был человек стремительный. Он влетал в класс как метеор. Фалды его сюртука разлетались. Пенсне сверкало. Журнал, со свистом рассекая воздух, летел по траектории и падал на стол. Пыль завивалась вихрями за спиной латиниста. Класс вскакивал, гремя крышками парт, и с таким же грохотом садился. Застекленные двери звенели. Воробьи за окнами срывались с тополей и с треском уносились в глубину сада.

Таков был обычный приход Субоча.

Субоч останавливался, вынимал из кармана крошечную записную книжку, подносил ее к близоруким глазам и замирал, подняв в руке карандаш. Вихрь сменялся грозной тишиной. Субоч искал в книжке очередную жертву.

Шестерых самых легких и маленьких ростом гимназистов, в том числе и меня, подвесили за туго затянутые кушаки к костылям. Костыли больно давили на поясницу. Спирало дыхание.

В класс влетел Субоч. В это время все остальные гимназисты сделали между партами «стойку» – стали вниз головой, вытянув вверх ноги и опираясь руками на парты.

Субоч разогнался и не мог остановиться. Он швырнул на стол журнал, и в ту же минуту весь класс с грохотом перешел в «исходное положение» – стал на ноги и сел на места. А мы, шестеро, отстегнули кушаки, упали на пол и тоже сели за парты.

Наступила звенящая зловещая тишина. Все было в полном порядке. Мы сидели с невинным видом, как будто ничего не случилось.

Субоч начал бушевать. Но мы отрицали всё начисто. Мы упрямо доказывали, что ничего не было, никто не висел на стенах и класс не делал никакой «стойки». Мы даже осмелились намекнуть, что Субоч страдает галлюцинациями.

Латинист растерялся. Он вызвал к себе шестерых гимназистов, висевших на костылях, и подозрительно осмотрел их со всех сторон. На куртках не было следов мела со стены. Субоч пожал плечами. Он посмотрел на костыли, заглянул на пол – нет ли там осыпавшейся штукатурки. Выражение тревоги появилось у него на лице: Субоч был очень мнительный.

– Дежурный, – сказал Субоч, – позовите ко мне Платона Федоровича.

Дежурный вышел и возвратился с надзирателем Платоном Федоровичем.

– Вы ничего не заметили в начале моего урока? – спросил его Субоч.

– Нет, – ответил Платон Федорович.

– Никакого шума, грохота?

– Класс встает и садится всегда с некоторым шумом, – осторожно ответил Платон Федорович и с недоумением посмотрел на Субоча.

– Благодарю вас, – сказал Субоч. – Мне показалось, что в классе произошли несколько странные явления.

Платон Федорович выжидательно смотрел на Субоча.

– А что именно? – спросил он вкрадчиво.

– Ничего! – вдруг рассердясь, отрезал Субоч. – Извините, что я вас побеспокоил. Платон Федорович развел руками и вышел.

– Сидите тихо, – сказал нам Субоч и взял журнал. – Я сейчас вернусь.

Он ушел и через несколько минут возвратился с инспектором Варсонофием Николаевичем, носившим прозвище «Варсапонт».

Варсапонт внимательно осмотрел нас, потом подошел к стене, влез на парту и потянул за костыль. Костыль вылез из стены почти без сопротивления.

– Тэк-с! – загадочно сказал Варсапонт и засунул костыль обратно.

Класс следил за Варсапонтом.

– Тэк-с! – повторил Варсапонт. – Что сей сон означает?

– Тэк-с! – повторил он в третий раз, покачал головой и ушел.

Субоч сел к столу и долго сидел, уставившись в журнал и размышляя. Потом он сорвался с места и вылетел из класса. Зазвенели двери. Сорвались с тополей воробы. Ветер пронесся между партами, шевеля страницы учебников.

До конца урока мы просидели одни, стараясь не шуметь. Мы были встревожены удачей «психологического опыта» и боялись, что после этого Субоч действительно повредится в уме.

Но все окончилось проще. Слух о «психологическом опыте» разнесся по гимназии и вызвал завистливое восхищение.

Гимназисты младшего класса решили повторить этот опыт с одним из своих учителей. Но, как известно, гениальное удается только раз. Дело окончилось провалом.

Субоч все узнал и пришел в ярость. Он произнес обличительную речь. Она была не хуже знаменитой речи Цицерона «Доколе, Катилина, ты будешь злоупотреблять нашим терпением!».

Субоч сделал из этой речи неожиданный поворот. Он стыдил нас не за то, что мы ввели в обман его, Субоча, а за то, что мы осмелились вести себя так недостойно на уроке «золотой латыни», на уроке самого великолепного из всех языков мира.

– Латинский язык! – восклицал он. – Язык Овидия и Горация! Тита Ливия и Лукреция! Марка Аврелия и Цезаря! Перед ним благоговели Пушкин и Данте, Гете и Шекспир! И не только благоговели, но и знали его, кстати, гораздо лучше, чем вы. Золотая латынь! Каждое ее слово можно отлить из золота. Люди не потеряют на этом ни одного золотника драгоценного металла, потому что в латинском языке нет словесного мусора. Он весь литой. А вы? Что делаете вы? Вы издеваетесь над ним! Вы позволяете себе превращать занятия этим языком в балаган. Ваши головы начинены дешевыми мыслями! Мусором! Анекдотами! Футболом! Бильярдом! Курением! Зубоскальством! Кинематографом! Всякой белибердой! Стыдитесь!

Субоч гремел. Мы были подавлены тяжестью этих обвинений и картиной собственного ничтожества. Но, кроме того, мы были обижены. Большинство из нас прекрасно знало латынь.

Примирение вскоре было достигнуто. А потом наступил и величайший триумф «золотой латыни».

Стараясь загладить свою вину перед Субочем, мы яростно засели за латынь. Мы сжились с Субочем и очень его любили.

И вот пришел наконец тот памятный день, когда Субоч вынужден был поставить всем, кого он вызвал, по пятерке.

– Счастливое стечение обстоятельств! – сказал Субоч и усмехнулся в усы.

И на следующем уроке, как Субоч ни придирался к нам и ни гонял нас по «темному тексту», он снова должен был поставить всем по пятерке.

Субоч сиял. Но радость его все же была отравлена некоторой тревогой. Происходило явление, небывалое в его практике. Творилось попросту чудо.

После третьего урока, когда опять все получили пятерки, Субоч помрачнел. Он был, видимо, испуган. Блистательное знание латыни приобретало характер скандала. Об этом заго-

ворила вся гимназия. Поползли вздорные слухи. Злые языки обвиняли Субоча в потворстве гимназистам, в том, что он создает себе славу лучшего латиниста.

– Придется, – сказал как-то Субоч нерешительным голосом, – поставить хотя бы трем-четырем из вас по четверке. Как вы думаете?

Мы обиженно промолчали. Нам казалось, что теперь Субоч был бы доволен, если бы кто-нибудь из нас заработал двойку. Может быть, теперь он даже жалел, что произнес свою вдохновенную речь о «золотой латыни».

Но мы не могли уже знать латынь хуже, чем мы ее знали. Никто из нас не соглашался нарочно провалиться по латыни, чтобы заткнуть рты клеветникам. Мы вошли с головой в эту игру. Она нам нравилась.

Все это кончилось тем, что Субоч не выдержал общего недоверия и устроил нам общественный экзамен.

Он пригласил на один из уроков помощника попечителя учебного округа, директора, инспектора Варсапонта и знатока латыни ксендза Олендского.

Субоч придирался к нам неслыханно и лукаво. Он всячески старался запутать нас и ошеломить. Но мы мужественно встречали его удары, и экзамен прошел блестяще.

Директор похихатывал и потирал руки. Варсапонт ерошил волосы. Помощник попечителя снисходительно улыбался. А ксендз Олендский только качал седой головой:

– Ой, полиглоты! Ой, лайдаки! Ой, хитрецы!

После экзамена мы, конечно, раскисли. Мы не могли выдержать такого напряжения. Снова появились четверки и тройки. Но слава лучшего латиниста осталась за Субочем. Ничто уже не могло ее поколебать.

## Преподаватели гуманитарных наук

Изящный старичок с белой вымытой бородой и синими глазами, учитель русской словесности Шульгин отличался одним необыкновенным свойством: он не выносил бессмысленных слов.

Стоило ему услышать бессмыслицу, как он тотчас приходил в сокрушительную ярость. Он багровел, хватал учебники и рвал их в клочки или, сцепив руки, тряс ими перед испуганными гимназистами с такой силой, что круглые его манжеты громко стучали друг о друга. При этом Шульгин кричал:

– Вас! Именно вас! Попрошу! Вон! Вас! Вон!

Припадки эти кончались глубоким изнеможением. То была, конечно, болезнь. Знали это и мы, и все учителя, и надзиратели. Если припадок затягивался, в класс на цыпочках входил Платон Федорович и, обняв Шульгина за плечи, уводил в учительскую комнату. Там он отпаивал его валерьянкой.

Вообще же Шульгин был кроткий и безответный старик. Русская литература в его передаче представлялась примитивной и безоблачной. Отметки он ставил наугад. В младших классах плаксивые и прилипчивые гимназисты легко добивались, чтобы Шульгин переделывал им двойки на тройки, а тройки – на четверки.

Однажды мы писали на уроке Шульгина сочинение на избитую тему «Женские типы в произведениях Тургенева».

Гимназист Гудим, измазанный чернилами, кривляющийся и наглый, неожиданно крикнул:

– Попугаи на бульвар прилетели!

Это была одна из тех бессмыслиц, от которых Шульгин приходил в ярость. Припадок начался сразу.

Шульгин схватил Гудима за плечи и начал трясти с такой силой, что голова Гудима стучала об стенку. Потом Шульгин рванул на груди свой форменный сюртук. Отлетели и покатились по полу золотые пуговицы.

Матусевич схватил его за руки. Один из нас выскочил в коридор за Платоном Федоровичем.

Шульгин сел на парту, схватился за голову и глухо зарыдал.

Многие из нас, не выдержав этого зрелища, спрятались за поднятыми крышками парт.

Появились испуганный инспектор и Платон Федорович. Они увели Шульгина.

В классе стояла тишина. Со своего места встал Станишевский. Он был очень бледен. Он медленно подошел к Гудиму и сказал:

– Пащенко! Вон сейчас же из нашего класса! А иначе – тебе не жить! Ну!

Гудим криво усмехнулся и не двинулся с места. Станишевский схватил его за грудь, рванул к себе и швырнул на пол. Гудим вскочил. Класс молчал.

– Ну! – повторил Станишевский.

Гудим, пошатываясь, пошел к двери. На пороге он остановился. Он хотел что-то сказать, но все мы холодно и враждебно смотрели на него. Гудим вобрал голову в плечи и вышел.

Больше он в классе не появлялся. Да он и не мог появиться – законы гимназической морали были беспощадными законами. От них не было отступлений.

Родители Гудима взяли его из нашей гимназии и перевели в реальное училище Валькера, пристанище хулиганов и неучей.

После этого случая Шульгин слег. Он долго болел, но, выздоровев, не вернулся. Врачи запретили ему заниматься преподаванием.

Иногда мы встречали его в Николаевском сквере. Он сидел, опираясь подбородком на костыль, и грелся на солнце. Дети играли у его ног на песке. Мы кланялись Шульгину, но он только испуганно взглядывал на нас и не отвечал на поклоны.

Нам вначале не везло на учителей русской литературы. После Шульгина появился Тростянский – высокий, чванный, с бледным и постным лицом.

По его мнению, все русские писатели делились на благонамеренных, заслуживающих изучения, и крамольников и сбившихся с пути разночинцев. О последних он говорил с сожалением, как о погибших талантах.

Тростянский нас раздражал. В классных сочинениях мы ниспровергали его богов и превозносили крамольников. Тростянский, вежливо улыбаясь, доказывал нам тихим голосом, что мы ошибаемся, и ставил двойки.

Тростянского сменил преподаватель психологии и русской литературы Селиханович, похожий на поэта Брюсова. Он ходил в черном, застегнутом наглухо штатском сюртуке.

Это был человек мягкий и талантливый. Он «промыл» перед нами русскую литературу, как опытные мастера-реставраторы промывают картины. Он снял с нее пыль и грязь неправильных и мелких оценок, равнодушия, казенных слов и скучной зубрежки. И она заиграла перед нами таким великолепием красок, глубиной мысли и такой великой правдой, что многие из нас, уже взрослые юноши, были поражены.

От Селихановича мы узнали многое. Он открыл нам не только русскую литературу. Он открыл нам эпоху Возрождения и европейскую философию XIX века, сказки Андерсена и поэзию «Слова о полку Игореве». До тех пор мы бессмысленно вызубривали наизусть его древнеславянский текст.

У Селихановича был редкий дар живописного изложения. Самые сложные философские построения в его пересказе становились понятными, стройными и вызвали восхищение широтой человеческого разума.

Философы, писатели, ученые, поэты, чьи имена до тех пор воскрешали в памяти только мертвые даты и сухой перечень из «заслуг перед человечеством», превращались в осязаемых людей. В изображении Селихановича они никогда не существовали сами по себе, вне своей эпохи.

На уроках о Гоголе Селиханович воскрешал перед нами Рим гоголевских времен – его карту, его холмы и руины, его художников, карнавалы, самый воздух римской земли и синеву римского неба. Вереницы замечательных людей, связанных с Римом, проходили перед нами, вызванные к жизни магической силой.

Эта магическая сила была проста и доступна каждому. Называлась она знанием, одухотворенным любовью и воображением.

Мы переходили из одной эпохи в другую, из одних интереснейших мест в другие, не менее интересные. Изучая литературу, мы побывали с Селихановичем всюду – среди оружейников Тулы, в казачьих станицах на границе Дагестана, под морозящим дождем «Болдинской осени», в сиротских домах и долговых тюрьмах диккенсовской Англии, на рынках Парижа, в заброшенном монастыре на острове Майорке, где болел Шопен, и в безлюдной Тамани, где морской ветер шуршит стеблями сухой кукурузы.

Мы пристально проследили жизнь тех людей, кому были обязаны познанием своей страны и мира и чувством прекрасного, – жизнь Пушкина, Лермонтова, Толстого, Герцена, Рылеева, Чехова, Диккенса, Бальзака и еще многих лучших людей человечества. Это наполнило нас гордостью, сознанием силы человеческого духа и искусства.

Попутно Селиханович учил нас и неожиданным вещам – вежливости и даже деликатности. Иногда он задавал нам загадки.

– Несколько человек сидят в комнате, – говорил он. – Все кресла заняты. Входит женщина. Глаза у нее заплаканы. Что должен сделать вежливый человек?

Мы отвечали, что вежливый человек должен, конечно, тотчас уступить женщине кресло.  
– А что должен сделать не только человек вежливый, но и деликатный? – спрашивал Селиханович.

Мы не могли догадаться.

– Уступить ей место спиной к свету, – отвечал Селиханович, – чтобы заплаканные ее глаза не были заметны.

Меня Селиханович удивил тем, что, заговорив о моем желании стать писателем, он спросил:

– А у вас хватит выносливости?

Я не подозревал, что эта черта необходима для занятия литературой. Впоследствии я убедился, что Селиханович был прав.

Однажды он остановил меня в коридоре и сказал:

– Приходите завтра на лекцию Бальмонта. Обязательно: вы хотите быть прозаиком – значит вам нужно хорошо знать поэзию.

Я пошел на лекцию Бальмонта. Она называлась «Поэзия как волшебство».

В зале Купеческого собрания было тесно и жарко. На маленьком столе, покрытом зеленой бархатной скатертью, горели два бронзовых канделябра.

Вошел Бальмонт. Он был в сюртуке, с пышным шелковым галстуком. Скромная ромашка была воткнута в петлицу. Редкие желтоватые волосы падали на воротник. Серые глаза смотрели поверх голов загадочно и даже высокомерно. Бальмонт был уже не молод.

Он заговорил тягучим голосом. После каждой фразы он замолкал и прислушивался к ней, как прислушивается человек к звуку рояльной струны, когда взята педаль.

После перерыва Бальмонт читал свои стихи. Мне казалось, что вся певучесть русского языка заключена в этих стихах.

Кукушки нежный плач в глуши лесной  
Звучит мольбой, тоскующей и странной.  
Как весело, как горестно весной, —  
Как мир хорош в своей красе неожиданной!

Он читал, высоко подняв рыжеватую бородку. Стихи расплывались волнами над зрительным залом.

И, как тихий дальний топот, за окном я слышу ропот,  
Непонятный странный шепот – шепот капель дождевых.

Бальмонт кончил. Затряслись от аплодисментов подвески на люстрах. Бальмонт поднял руку. Все стихли.

– Я прочту вам «Ворона» Эдгара По, – сказал Бальмонт. – Но перед этим я хочу рассказать, как судьба все же бывает милостива к нам, поэтам. Когда Эдгар По умер и его хоронили в Балтиморе, родственники поэта положили на его могилу каменную плиту необыкновенной тяжести. Эти набожные квакеры, очевидно, боялись, чтобы мятежный дух поэта не вырвался из могильных оков и не начал снова смущать покой деловых американцев. И вот, когда плиту опускали на могилу Эдгара, она раскололась. Эта расколотая плита лежит над ним до сих пор, и в трещинах ее каждую весну распускается троицын цвет. Этим именем, между прочим, Эдгар По звал свою рано умершую прелестную жену Вирджинию.

Бальмонт начал читать «Ворона». Мрачная и великолепная поэзия дохнула в зал.

За окнами не было уже ни Киева, ни огней на Крещатике, висевших голубоватыми цепями, – не было ничего. Только ветер уныло гудел над черной, присыпанной снегом рав-



ниной. И железное слово «невермор» тяжело падало в пустоту этой ночи, как бой башенных часов.

«Невермор!» «Никогда!» С этим никак не мирилось сознание. Неужели никогда? Никогда не вернется на землю Вирджиния и никогда уже не постучит она шаловливо и осторожно в тяжелую дверь? Никогда не вернутся молодость, любовь и счастье? «Да, никогда!» – каркал ворон, и человек сжимался от одиночества в потертом кресле и смотрел больными детскими глазами в холодную пустоту. И этот маленький, брошенный всеми человек был Эдгар По, великий поэт Америки.

Я на всю жизнь остался благодарен Селихановичу за то, что он вызвал у меня любовь к поэзии. Она открыла передо мной богатства языка. В стихах слова обновлялись, приобретали полную силу. Огромный образный мир поэтов вошел в сознание, будто с глаз сняли повязку.

Селиханович открыл нам литературу и философию, а старик Клячин – историю Западной Европы.

Худой, в расстегнутом сюртуке, всегда небритый, с большим кадыком, с прищуренными и ничего не видящими глазами, Клячин говорил хрипло, резко, обрывками фраз.

Он бросал слова, как комья глины. Он лепил ими живые статуи Дантона, Бабёфа, Марата, Бонапарта, Луи-Филиппа, Гамбетты.

Негодование клокотало у него в горле, когда он говорил о девятом термидора или о предательстве Тьера. Он забывался до того, что закуривал папиросу, но, опомнившись, тотчас гасил ее о ближайшую парту.

Клячин был знаток французской революции. Существование этого учителя в тогдашней гимназия было загадкой. Иногда его речь подымалась до такого пафоса, будто он говорил не в классе, а с трибуны Конвента.

Он был живым анахронизмом и вместе с тем самым передовым человеком из наших учителей.

Временами казалось, что это последний старый монтаньяр, чудом проживший сто лет и очутившийся в Киеве. Он избежал гильотины и смерти в болотах Гвианы и не потерял ни капли своего сурового энтузиазма.

Изредка Клячин уставал. Тогда он рассказывал нам о Париже времен революции – о его улицах и домах, о том, какие горели тогда на площадях фонари, как одевались женщины, какие песни пел народ, как выглядели газеты.

Многим из нас после уроков Клячина хотелось перенестись на столетие назад, чтобы быть свидетелями великих событий, о которых он нам рассказывал.

## Выстрел в театре

Паркет в актовом зале был так навощен, что в нем, как в озере, отражались синие ряды гимназистов в мундирах со светлыми пуговицами и зажженные среди дня люстры.

В зале стоял легкий гул. Он сразу оборвался.

Позванивая шпорами, в зал вошел невысокий полковник со светлыми выпуклыми глазами. Он остановился и в упор посмотрел на нас. Медными голосами закричали трубы.

Мы стояли не шевелясь.

За полковником, Николаем Вторым, вошла, кивая, очень высокая сухая женщина в белом твердом платье, с огромной шляпой на голове. Страусовые перья свешивались с полей ее шляпы. Лицо у женщины было мертвое, красивое и злое. Это была императрица.

За ней гуськом шли девочки с тонкими бескровными губами, в таких же твердых белых платьях. Платья эти не гнулись. На них не было складок, и казалось, что они сделаны из белого ребристого картона.

За девочками – великими княжнами – плыла, громко шурша, огромная дама в лиловом платье с черными кружевами, в золотом пенсне и с атласной лентой через плечо – воспитательница царских дочерей фрейлина Нарышкина. Жир переливался под ее тугими шелками. Она обмахивала лицо кружевным платочком.

Так началось торжественное празднование столетия нашей гимназии.

Свита закрыла от нас Николая. Мы видели только тщательно примазанные волоски на лысынах министров, алые ленты, белые брюки с золотыми лампасами и штрипками на лакированных ботинках, генеральские шаровары, серебряные кушаки.

Лучший декламатор в гимназии Недельский читал царю приветственные стихи собственного сочинения. Он старательно выкрикивал их деревянным голосом. Он обращался к царю на «ты».

Потом свита раздалась, и по широкому проходу к нам подошел Николай. Он остановился, потрогал русые усы и медленно сказал, картавя:

– Здравствуйте, господа.

Мы ответили, как нас учили, – негромко, но внятно:

– Здравия желаем, ваше императорское величество!

Я стоял последним в шеренге, потому что был самым маленьким по росту в нашем выпускном классе. Николай подошел ко мне. Легкий тик передергивал его щеку. Он рассеянно посмотрел на меня, привычно улыбнулся одними глазами и спросил:

– Как ваша фамилия?

Я ответил.

– Вы малоросс? – спросил Николай.

– Да, ваше величество, – ответил я.

Николай скользнул по мне скучным взглядом и подошел к моему соседу.

Он обошел всех. У каждого он спрашивал, как его фамилия.

После обхода начался концерт. Николай слушал его стоя. Поэтому стояли и все.

Всем видом своим Николай как бы хотел показать, что ему наскучили торжества и что он не намерен тратить время на гимназические концерты. Он нетерпеливо теребил снятую с правой руки перчатку.

Концерт скомкали. Гимназический оркестр сыграл «Славься, славься, наш русский царь». Потом кто-то прочел «Вещего Олега», а хор спел кантату.

Все это было скучно и никому не нужно. Министры позевывали за спиной царя. На участников концерта было тяжело смотреть – они дрожали от страха.

Пока шел концерт, мы разглядывали министров и свиту.

Нас удивила разница между царем и его свитой.

Николай, невзрачный и даже мешковатый, терялся среди обширной свиты. Она звенела и сверкала золотом и серебром, лакированными голенищами сапог, лядунками, аксельбантами, темляками, саблями, шпорами, ментиками и орденами. Даже когда свитские стояли неподвижно, и то мы слышали неясный звон, исходивший от их регалий и оружия.

Николай прослушал концерт с каменным лицом и уехал из гимназии. Он был недоволен. У него были свои счеты с нашей гимназией. За два дня до этого торжества бывший гимназист нашей гимназии Багров стрелял в Оперном театре в министра Столыпина и смертельно его ранил. Но об этом я расскажу дальше.

По случаю столетия гимназии ее решили преобразовать в лицей. Указ об этом был заготовлен. Но после выстрела в театре это сочли неудобным – как можно давать права лицея гимназии, воспитывающей государственных преступников!

Поэтому гимназию только переименовали в «Императорскую Александровскую» – в честь Александра Первого, а у гимназистов вместо обыкновенных гербов появились гербы с вензелем «А» и с короной.

Новые буквы на этом гербе – «ИАГ» – дали гимназистам остальных киевских гимназий богатую пищу для зубоскальства. На этой почве происходили драки.

Мы же, гимназисты последнего класса, решили донашивать старые гербы. Начальство негодовало, но мы ссылались на то, что у нас нет денег на покупку новых гербов и пряжек. В конце концов начальство махнуло рукой. Не было смысла ссориться с выпускным классом.

По случаю приезда Николая в Киеве были разнообразные торжества. Открыли бронзовый уродливый памятник Александру Второму и еще более уродливые гипсовые памятники святым Ольге, Кириллу и Мефодию. В окрестностях Киева происходили маневры. Что-то освещали, открывали, устраивали крестные ходы и торжественные спектакли. Целую неделю на домах висели флаги.

На скаковом поле после рысистых бегов происходил парад всех киевских гимназий.

Мы прошли, подымая пыль, перед Николаем. Закатное солнце било в глаза. Мы ничего не видели и «завалили равнение». Из последних сил рявкали военные оркестры.

Наша гимназия отличилась тем, что забыла ответить на приветствие царя. К нам подскакал на лошади полный генерал, долго ругал нас и дергал в сердцах поводья. Рыжий конь прижимал уши и пятился.

В Оперном театре был торжественный спектакль в присутствии Николая. На этот спектакль повели гимназисток и гимназистов последних классов всех гимназий.

Повели и наш класс.

Служебными темными лестницами нас провели на галерку. Галерка была заперта. Спуститься в нижние ярусы мы не могли. У дверей стояли любезные, но наглые жандармские офицеры. Они перемигивались, пропуская хорошеньких гимназисток.

Я сидел в заднем ряду и ничего не видел. Было очень жарко. Потолок театрального зала нависал над самой головой.

Только в антракте я выбрался со своего места и подошел к барьеру. Я облокотился и смотрел на зрительный зал. Он был затянут легким туманом. В тумане этом загорались разноцветные огоньки бриллиантов. Императорская ложа была пуста. Николай со своим семейством ушел в аванложу.

Около барьера, отделявшего зрительный зал от оркестра, стояли министры и свитские.

Я смотрел на зрительный зал, прислушиваясь к слитному шуму голосов. Оркестранты в черных фраках сидели у своих пюпитров и, вопреки обычаю, не настраивали инструментов.

Вдруг раздался резкий треск. Оркестранты вскочили с мест. Треск повторился. Я не сообразил, что это выстрелы. Гимназистка, стоявшая рядом со мной, крикнула:

– Смотрите! Он сел прямо на пол!

– Кто?

– Столыпин. Вон! Около барьера в оркестре!

Я посмотрел туда. В театре было необыкновенно тихо. Около барьера сидел на полу высокий человек с черной круглой бородой и лентой через плечо. Он шарил по барьеру руками, будто хотел схватиться за него и встать.

Вокруг Столыпина было пусто.

По проходу шел от Столыпина к выходным дверям молодой человек во фраке. Я не видел на таком расстоянии его лица. Я только заметил, что он шел совсем спокойно, не торопясь.

Кто-то протяжно закричал. Раздался грохот. Из ложи бенуара прыгнул вниз офицер и схватил молодого человека за руку. Тотчас вокруг них сгрудилась толпа.

– Очистить галерку! – сказал у меня за спиной жандармский офицер.

Нас быстро прогнали в коридор. Двери в зрительный зал закрыли.

Мы стояли, ничего не понимая. Из зрительного зала долетал глухой шум. Потом он стих, и оркестр заиграл «Боже, царя храни».

– Он убил Столыпина, – сказал мне шепотом Фицовский.

– Не разговаривать! Выходить немедленно из театра! – крикнул жандармский офицер.

Теми же темными лестницами мы вышли на площадь, ярко освещенную фонарями.

Площадь была пуста. Цепи конных городских оттеснили толпы, стоявшие около театра, в боковые улицы и продолжали теснить все дальше. Лошади, пятась, нервно перебирали ногами. По всей площади слышался дробный звон подков.

Пропел рожок. К театру размашистой рысью подкатила карета скорой помощи. Из нее выскочили санитары с носилками и бегом бросились в театр.

Мы уходили с площади медленно. Мы хотели увидеть, что будет дальше. Городовые торопили нас, но у них был такой растерянный вид, что мы их не слушались.

Мы видели, как Столыпина вынесли на носилках. Их задвинули в карету, и она помчалась по Владимирской улице. По сторонам кареты скакали конные жандармы.

Я вернулся домой на Лукьяновку и рассказал бабушке и Гаттенбергеру об убийстве Столыпина.

Бабушка сказала, что нельзя стрелять в театре, так как могут пострадать невинные люди. А Гаттенбергер взволновался, надымил сигарой, заметил, что этого прохвоста Столыпина должны же были когда-нибудь убить, и тотчас уехал в город разузнавать новости.

Он вернулся после полуночи и рассказал, что Малая Владимирская улица, где лежит в лечебнице Столыпин, застлана соломой, а черносотенцы призывают к еврейскому погрому.

– Этого еще не хватало! – воскликнула разгневанная бабушка.

Но Гаттенбергер сказал, что, пока царь в Киеве, погрома не будет.

На следующее утро бабушка спросила меня:

– Ты опять поедешь в город?

– Да. В гимназию.

– Зачем?

– Будет репетиция встречи царя.

– Заболей лучше и не ходи, – посоветовала бабушка. – Придумали глупство! Неужели у царя нет другого дела, чем красоваться перед людьми?

Я сказал, что, очевидно, это так.

– Ну и не ходи! – сказала бабушка. – Все из-за этого Николая мечутся по городу и ничего не соображают. Тратят время на богатэли, на пустяки, как будто Бог прибавит им за это жизни. Оставайся. Может же у тебя разболеться голова! Посиди в саду, почитай, а я спеку для тебя струцель, – (так бабушка называла по-польски яблочный пирог). – Я не понимаю, как можно терять время без всякого сенсу, без смысла, когда такие дни стоят на дворе!

Я послушался бабушку и не пошел на репетицию.

Дни действительно стояли прекрасные. Листья на яблонях порозовели и начали засыхать. Некоторые листья были свернуты в трубки и обмотаны паутиной. По краям дорожек цвели красные и белые астры.

Желтые бабочки летали между деревьями. Они садились маленькими толпами на все прогретое солнцем – каменные ступеньки веранды и забытую в саду жестяную лейку.

Будто уменьшившееся от осени, солнце долго шло над головой, приближаясь к вершинам ореховых деревьев.

Я читал в саду, сидя в бабушкином плетеном кресле. По временам я слышал отдаленную музыку, долетавшую из города. Потом я отложил книгу и начал присматриваться к дорожке. Она была прорезана в густой траве. По крутым ее откосам темнел мелкий мох, похожий на зеленый бархат. Среди этого мха что-то нежно белело. Это был неизвестно откуда попавший в наш сад и расцветший второй раз цветок лесной анемоны.

Со двора пришла белая утка. Увидев меня, она остановилась, недовольно покрякала и ушла, переваливаясь, обратно. Очевидно, я ей помешал. Воробьи сидели на крыше, чистились и, вытянув головы, заглядывали вниз – нет ли там чего-нибудь интересного. Воробьи ждали.

Бабушка вышла на веранду в теплом платке и бросила на дорожку горсть хлебных крошек. Воробьи слетели с крыши и запрыгали, как серые мячики, по земле.

– Костик, – позвала бабушка, – иди обедать.

Она стояла на ступеньках веранды. Я встал и пошел к ней. Из комнаты пахло яблочным пирогом.

– Разве же это не настоящий царский праздник! – сказала бабушка, глядя на сад. – Выдумывают же себе люди всякие глупости с этим Николаем Вторым!

В саду действительно был праздник света и чистого, теплого воздуха.

## Разгуляй

Я ехал на рождественские каникулы к маме в Москву. Когда поезд проходил мимо Брянска, шел такой густой снег, что ничего нельзя было разобрать за окнами. Я только угадывал вдалеке за падающим снегом знакомый городок, блеск снежных ковров на его улицах и дом дяди Коли с застекленным крылечком.

В Москву я ехал впервые. Я волновался оттого, что увижу маму, и от сознания, что еду в северную столицу из нашего южного провинциального Киева.

С каждым часом поезд уходил все дальше в белые равнины, медленно взбирался к краю сизого неба. Там стлалась мгла. Мне представлялось, что впереди на горизонте день сливается с вечной полярной ночью.

Я побаивался московской зимы. У меня не было теплой шинели. Были только варежки и башлык.

На станциях ясно раздавались звонки. Скрипели по снегу валенки. Мой сосед угощал меня медвежьим окороком. Медвежатина пахла сосновой смолой.

Ночью за Сухиничами поезд застрял в заносах. Ветер визжал в жестяных вентиляторах. Через вагон пробежали кондуктора с фонарями, белые и мохнатые от снега, как лесовики из берлоги. Каждый из них изо всей силы захлопывал за собой дверь. Я всякий раз просыпался.

Утром я вышел на площадку. Зернистый воздух покалывал лицо. На полу около щелей ветер надул маленькие сыпучие сугробы.

Я с трудом открыл дверь. Метель стихла. Вагоны по буфера стояли в великолепном снегу. В нем можно было утонуть с головой. На крыше вагона сидела маленькая синяя птица и попискивала, вертя головой. Нельзя было отличить, где белое небо сливается с белой землей. Было так тихо, что я слышал, как льется из паровоза вода.

В Москве на Брянском вокзале меня встретил Дима. Черные упрямые усики пробивались у него над губой. На Диме была форма студента Технического училища.

Я очень озяб, и мы пошли в буфет выпить чаю.

Меня удивил московский вокзал – деревянный, низенький, похожий на огромный трактир.

Оранжевое солнце освещало стойку с мельхиоровыми крышками, столы с синими пальмами, пар из чайников, кисейные занавески. За стрельчатыми листьями изморози на стеклах шумели извозчики.

Мы пили чай с колотым сахаром. Нам подали хрустящие калачи, обсыпанные мукой.

Потом мы вышли на крыльцо. Пар подымался над мохнатыми лошадьми. Заплатанные извозчичьи армяки с жестяными номерами зарябили в глазах. Голуби опускались на унавоженный снег.

– Прикажете, ваше сиятельство! – закричали извозчики, зачмокали, задергали вожжами.

Один из них вырвался вперед. Он откинул потертую волчью полсть, и мы сели в узкие сани. В ногах было подстелено сено. Я с изумлением смотрел по сторонам. Неужели это Москва?

– На Разгуляй! – сказал Дима извозчику. – Только вези через Кремль.

– Эхма! – крикнул извозчик. – Нам все равно. Что тут, что в Кремле – зипун не греет.

Сейчас же около вокзала, в Дорогомилове, мы попали в путаницу розвальней, могучих дуг, расписанных цветами, бубенцов, пара, бывшего в лицо из задранных лошадиных морд, трактирных вывесок, городских с обледенелыми усами и качающего воздух звона церковных колоколов.

Мы въехали на Бородинский мост. Мрачным заревом догорали за рекой окна домов. В них отражалось заходящее солнце. На круглых уличных часах на перекрестке было всего два часа дня. Все это было странно, оглушительно и хорошо.

– Ну как, – спросил Дима, – нравится тебе Москва?

– Очень.

– Погоди, еще насмотришься разных чудес.

За Арбатской площадью мы свернули в неширокую улицу. В конце этой улицы я увидел на холме крепостные стены и башни, зеленые кровли дворцов и серые громады соборов. Все это было окутано красноватым вечерним дымом.

– Что это? – спросил я Диму, ничего не сообщая.

– Неужели не узнаешь? Это Кремль.

Я судорожно вздохнул. Я не был готов к этой встрече с Кремлем. Он подымался среди огромного города, как крепость, построенная из розового камня, старого золота и тишины.

Это был Кремль. Россия, история моего народа. «Шапку кто, гордец, не снимет у Кремля святых ворот...»

Слезы навернулись у меня на глаза.

Мы въехали в Кремль через Боровицкие ворота. Я увидел Царь-колокол, Царь-пушку и колокольню Ивана Великого, уходящую в вечернее небо.

Извозчик стащил с головы шапку. Мы с Димой сняли фуражки, и сани проехали под Спасской башней. В темном проезде мигала лампада. Равнодушно и величественно заиграли над головой куранты.

– А это что? – спросил я Диму и схватил его за руку, когда мы выехали из Спасских ворот.

На спуске к реке подымались, как разноцветные головки репейника, замысловатые купола.

– Неужели не узнал? – ответил Дима и усмехнулся. – Храм Василия Блаженного.

На Красной площади горели костры. Около них грелись прохожие и извозчики. Дым лежал на площади. Тут же, рядом, на стенах я увидел афиши Художественного театра с летящей чайкой и другие афиши с крупной черной надписью: «Эмиль Верхарн».

– Что это? – снова спросил я Диму.

– Верхарн сейчас в Москве, – ответил он и засмеялся, взглянув на меня. Должно быть, у меня было совершенно растерянное лицо. – Погоди, ты еще насмотришься разных чудес.

Пока мы доехали до Разгуляя, уже стемнело. Сани остановились около двухэтажного дома с толстыми стенами.

Мы поднялись по крутой лестнице. Дима позвонил, и мама тотчас открыла дверь. Позади мамы стояла Галя и, вытянув голову, старалась рассмотреть меня в темной передней.

Мама обняла меня и заплакала. Она совсем поседела за то время, что мы не виделись.

– Боже мой, – говорила мама, – ты уже совсем взрослый! И как ты похож на отца! Боже, как похож!

Галя почти ослепла. Она подвела меня к лампе в комнате и долго рассматривала. По ее напряженному лицу можно было догадаться, что она совсем меня не видит, хотя она и говорила, что я нисколько не изменился.

Обстановка в комнате была чужая и скучная. Но все же я заметил несколько знакомых с детства вещей – мамину шкатулку, старинный бронзовый будильник и фотографию отца, снятую еще в молодости. Фотография висела на стене над маминой кроватью.

Мама заволновалась из-за того, что до сих пор не готов обед, и ушла на кухню. Галя, по своему обыкновению, начала расспрашивать меня о пустяках – какая погода в Киеве, почему опоздал поезд и пьет ли по-прежнему по утрам кофе бабушка Викентия Ивановна. Дима молчал.

Мне казалось, что в жизни у нас за эти годы случилось так много трудного и значительного, что неизвестно, о чем говорить. Потом я сообразил, что ни о чем трудном и важном говорить сейчас не нужно.

За эти два года наши жизни разошлись под разными углами. Десяти дней, на которые я приехал в Москву, не хватит, чтобы все рассказать.

Поэтому я ничего не сказал о первом рассказе. Я скрыл это и от мамы, и от Димы с Галей.

С легкой тоской я подумал о бабушке, о своей комнате на Лукьяновке. Там, должно быть, осталась моя настоящая жизнь. А здесь было что-то чужое – и Димин институт, и сумрачная старая квартира из двух комнат, и Галины неинтересные расспросы. Только глаза у мамы были еще прежние. Но мама волновалась теперь из-за таких пустяков, на которые раньше не обращала внимания.

Я ждал, что мама заговорит со мной о моем будущем, но она молчала об этом. Только за обедом она спросила вскользь:

– Ну, куда ты думаешь поступить после гимназии?

– В университет, – ответил я.

После обеда мама достала из шкатулки серые театральные билеты с рисунком чайки и протянула мне:

– Это тебе.

Это были билеты в Художественный театр на «Живой труп» и «Три сестры».

Оказалось, что мама, чтобы достать эти билеты, стояла в очереди к театральной кассе всю холодную зимнюю ночь. Я страшно обрадовался и поцеловал маму, а она, улыбаясь, сказала, что ей было очень интересно стоять всю ночь в толпе студентов и курсисток и что уже давно она так весело не проводила время.

«Три сестры» шли в день моего приезда. Тотчас после обеда мы с Димой начали собираться в театр. Мы доехали до Театральной площади в холодном трамвае. Синие электрические искры трещали на проводах.

Театральная площадь была наполнена тонкими блестками снега. Они висели в воздухе и были хорошо видны около фонарей. Магазин Мюра и Мерилиза бросал на мостовую полосы света. За стеклянными стенами магазина горела елка. Цепи из золотой и серебряной бумаги свешивались до полу.

Мы прошли через Театральную площадь в Камергерский переулок и вошли в невзрачный снаружи театр.

Полы были затянуты серым сукном. Зрители двигались бесшумно. Из калориферов несло жарким ветром. Чуть колыхался коричневый занавес с чайкой. Все было строго и вместе с тем празднично.

У меня так горели щеки и, должно быть, так блестели глаза, что соседи по креслам поглядывали на меня улыбаясь. Дима сказал:

– Возьми себя в руки. Иначе ты ничего не услышишь и не увидишь.

Мне было больно за людей, мучившихся в чеховской пьесе. Но вместе с тем меня не оставляло ощущение свежести и праздничности. Эта праздничность и эта свежесть шли от искусства.

Все неприглядное и невеселое, что я увидел на Разгуляе, показалось мне временным и не очень серьезным. Пусть будут бедность, обиды, неудачи, но никто не сможет погасить тот свет, что пришел сейчас из таинственной страны искусства. Никто не сможет отнять у меня это богатство. И никто не властен над ним, кроме меня самого.

В таком состоянии я прожил все десять дней в Москве. Мама посматривала на меня и все повторяла, что я стал удивительно похож на отца.

– Для меня ясно, – сказала она однажды, – что ты вряд ли сделаешься положительным человеком.



Она помолчала и добавила:

– Нет, конечно, ты не будешь опорой в жизни. Даже для себя. С твоими увлечениями! С твоими фантазиями! С твоим легким отношением к вещам!

Я молчал. Мама притянула меня к себе и поцеловала.

– Ну, бог с тобой! Мне хочется, чтобы ты был счастлив. А остальное не важно.

– Я и так счастлив, – ответил я. – Пожалуйста, обо мне не думай. Прожил же я два года один. И еще проживу.

Мама носила в то время очки. Оправа их была сломана. Очки держались на тесемке. Мама долго разматывала эту тесемку, сняла очки и внимательно посмотрела на меня.

– Неласковая стала наша семья! – вздохнула мама. – И скрытная. Это от бедности. Вот ты приехал и даже ничего не рассказал о себе. И я все молчу, все откладываю. А нам надо поговорить.

– Ну хорошо. Но только ты не волнуйся.

– Галя слепая! – сказала мама и долго молчала. – А сейчас она начала глохнуть. Без меня она не проживет и недели. Ты не понимаешь, как о ней надо заботиться. У меня сил осталось только на Галю. Один бог видит, как я вас люблю – и тебя, и Диму, и Борю, – но я не могу разорваться.

Я ответил, что все отлично понимаю и что очень скоро я смогу помогать ей и Гале. Как только окончу гимназию.

Я уже не думал, как раньше, о возвращении к маме. Но я ее жалел и любил и хотел, чтобы она не терзалась мыслями обо мне.

Я успокоил ее и с легким сердцем начал собираться в Третьяковскую галерею.

Я чувствовал себя гостем в родной семье. Слишком был велик контраст между морозной, сверкающей снегами и зимним небом Москвой, с ее театрами, музеями, колокольным звоном, и унылой и стиснутой жизнью в двух холодных комнатах на Разгуляе.

Я с недоумением видел, что Дима совершенно доволен своей жизнью – институтом, выбранной профессией, которая была мне совершенно чужда. С таким же недоумением я заметил, что в комнате у Димы почти нет книг, кроме учебников и литографированных лекций.

У Гали, по слепоте ее, весь день уходил на осторожную возню с разными небольшими делами. Она все делала на ощупь. Время для нее остановилось три года назад, когда она начала слепнуть. Галя жила только воспоминаниями – мелкими и однообразными. Круг этих воспоминаний делался все меньше – Галя многое начала забывать.

Иногда она молча сидела, положив руки на колени.

Изредка по вечерам мама урывала время и читала что-нибудь Гале, обыкновенно Гончарова или Тургенева. После чтения Галя подробно расспрашивала маму о только что прочитанном, стараясь восстановить в памяти мельчайшую последовательность событий в романах. Мама терпеливо ей отвечала.

Я ушел в Третьяковскую галерею. Посетителей почти не было. Тихая зима как бы перенесла галерею из столицы в Подмоскovie – не было слышно никаких городских звуков. На стульях дремали старушки – хранительницы знаменитых картин.

Я долго стоял около картины Нестерова «Видение отроку Варфоломею». Тоненькие девочки-березы белели, как свечи. Каждая травинка доверчиво тянулась к небу. Щемило сердце от этой трогательной и ничего не требующей красоты.

На диване против картины сидела седая полная дама в черном. Она смотрела на картину в лорнет. Рядом с ней сидела молодая женщина с русыми косами.

Я остановился сбоку, чтобы не мешать им смотреть на картину. Седая дама обернулась ко мне и спросила:

– Как ты находишь, Костик, это похоже на холмы в Рёвках за парком или нет?

Я вздрогнул, смутился. Седая дама, улыбаясь, смотрела на меня.

– Ненаблюдательная нынче молодежь! – сказала она. – Неужели ты забыл Карелиных? В Рёвках? И меня, и Любу, и Сашу? Правда, прошло уже несколько лет.

Я покраснел, поздоровался. Теперь я узнал седую даму – Марию Трофимовну Карелину. Но Любу я узнал не сразу. Она выросла, и в косах у нее уже не было прежних черных лент.

– Садись, – сказала Мария Трофимовна. – Как вырос! Даже неловко говорить тебе «ты». Рассказывай, как ты сюда попал. И вспомним вместе Рёвны. Ах, какие места, какие места! Этим летом мы непременно туда поедем.

Я рассказал о себе. А Мария Трофимовна сообщила, что она по-прежнему живет с Сашей в Орле. А вот Люба кончила гимназию и поступила в Московское училище живописи и ваяния. Сейчас Мария Трофимовна с Сашей приехали на зимние каникулы в Москву навестить Любу.

– А где же Саша? – спросил я.

– Осталась в гостинице. У нее горло болит.

Люба искоса поглядывала на меня, наклонив голову. Мы вышли вместе. Я проводил Карелиных до Лоскутной гостиницы. Они затащили меня к себе, чтобы согреться и выпить кофе.

В большом двойном номере было темно от тяжелых занавесей и ковров.

Саша встретила меня, как старого приятеля, и тотчас спросила про Глеба Афанасьева. Глеб, насколько я знал, учился в брянской гимназии.

Горло у Саши было завязано бантом, как у кошки. Саша взяла меня за руку:

– Пойдем! Я покажу тебе Любины картины.

Она потащила меня в соседнюю комнату. Но Люба схватила меня за другую руку и остановила.

– Глупости! – сказала она и покраснела. – Потом посмотрите. Мы же еще увидимся?

– Не знаю, – нерешительно ответил я.

– Он будет встречать с нами Новый год! – крикнула Саша. – У Любы. В ее мастерской на Кисловке. Ой, какая там сходится богема, если бы ты знал, Костик! Рыцари холста и палитры. Одна художница – прямо из французского романа. Ты обязательно в нее влюбишься. Она ходит в черном атласном платье. Фу-шу! Фу-шу! А духи! Какие духи! «Грусть тубероз»!

– О господи! – сказала Люба. – Что это за несносная болтушка! Теперь понятно, почему у тебя всегда болит горло.

– У меня соловьиное горло. – Саша сделала томное лицо. – Оно не выносит русской зимы

– Нет, правда, вы придете? – спросила меня Люба. – На Новый год?

– Я буду встречать дома. У нас это семейный обычай.

– А ты встреть дома, – решительно посоветовала Мария Трофимовна, – а потом приходи к Любе. Они будут дурачиться до утра.

Я согласился. Потом мы пили кофе. Саша положила мне в стакан четыре куска сахара. Такой кофе пить, конечно, было нельзя. Мария Трофимовна рассердилась. Люба сидела, опустив глаза.

– Что ты сидишь, как Василиса Прекрасная? – спросила Саша. – Костик, правда, Люба стала красавицей? Посмотри на нее. Не то что ее младшая сестра – чумичка и гадкий утенок.

Люба вспыхнула, встала и отодвинула свою чашку.

– Перестанешь ли ты наконец! Сорока!

Я посмотрел на Любу. Синий огонь блеснул у нее в глазах. Она действительно была очень красивая.

Я ушел. Дома я сказал маме, что встретил Карелиных и они пригласили меня прийти к ним в новогоднюю ночь. Мама обрадовалась:

– Пойди, конечно! А то тебе, должно быть, скучно в Москве. Они очень милые и вполне интеллигентные люди.

Для мамы мерилом человека была его интеллигентность. Если мама кого-нибудь уважала, то говорила: «Это вполне интеллигентный человек!»

До Нового года оставалось два дня. Это были чудесные дни – заиндевелые и седые от тумана.

Я ходил один на каток в Зоологический сад и бегал там на коньках. Лед был крепкий и черный, не то что у нас в Киеве. Дворники разметали каток огромными метлами.

Я бегал наперегонки с бородатым человеком в чертой каракулевой шапочке. Я обогнал его. Этот человек напомнил мне художника, которого я видел в усадьбе около Смелы, когда ездил туда с тетей Надей.

Мама собиралась поехать со мной на могилу тети Нади на Ваганьково кладбище, но так и не собралась. Она рассказала, что на могиле до сих пор лежат фарфоровые розы. Они выпцвели, но не разбились.

Я был на «Живом труп» в Художественном театре. «Живой труп» мне понравился больше, чем «Три сестры». На сцене я видел настоящую Москву, суд, слышал песни цыганок.

В снежной декабрьской Москве я почему-то вспомнил далекое время – Алушту, Лену и то, как она крикнула мне: «Иди! Все это глупости!»

Все эти годы я собирался написать ей, но так и не написал. Теперь я уже был уверен, что она забыла меня.

Я вспомнил о Лене, и меня поразила мысль, как много людей уходит из жизни и уже никогда не вернется. Так ушли Лена, и тетя Надя, и дед мой пасечник, и отец, и дядя Юзя, и много других людей.

Это было странно, грустно, и, несмотря на свои восемнадцать лет, мне казалось, что я уже много пережил. Я любил этих людей. Каждый из них, уходя, взял с собой кусочек моей любви. Я стал от этого, должно быть, беднее.

Так я думал тогда, но эти мысли не вязались с удивительной любовью к жизни, что росла во мне из года в год.

Много людей уходило совсем или надолго, и потому встреча с Карелиными – я совсем о них позабыл – показалась мне значительной, как будто она была неспроста.

Новый год я встретил дома. Мама напекла печенье. Дима купил закусок, вина и пирожных. В одиннадцать часов Дима куда-то ушел. Мама сказала мне, что он пошел за своей невестой. Звали ее Маргаритой.

Мама уверяла, что она замечательная девушка и лучшей жены для Димы она никогда бы не желала.

Чтобы не огорчать маму, я радостно удивился, хотя мне не понравилось имя Диминой невесты и то, что она происходит из чиновничьей семьи.

Я помог маме накрыть новогодний стол. В комнате пахло палеными волосами: Галя, завиваясь на ощупь, сожгла длинную прядь. Она огорчилась. Я всячески старался развеселить ее.

Зажгли свечи. Мама поставила на стол бронзовый будильник. Я завел его на двенадцать часов.

Я достал подарки, которые привез из Киева: маме – серую материю на платье, Гале – туфли, а Диме – большую готовальню. Я выпросил ее у Бори. Готовальня была замечательная. Мама обрадовалась подаркам. Она даже покраснелась.

За несколько минут до Нового года пришел Дима с высокой бледной девушкой. У девушки было длинное унылое лицо. Сиреневое платье с желтым пояском сидело на ней нескладно. Кружевной платочек был приколот к груди. Она все время краснела, а пирожные из вазы брала вилкой.

Галя тотчас завела с ней разговор о воспитании детей. Девушка отвечала неохотно, поглядывая на Диму. Дима сдержанно улыбался.

Бронзовый будильник отчаянно затрещал и прекратил Галины рассуждения. Мы выпили по бокалу вина и поздравили друг друга с Новым годом.

Мама, видимо, очень старалась, чтобы Маргарите у нас понравилось. Но она ревниво следила за тем, как Маргарита смотрит на Диму, как бы прикидывая, достаточно ли любви в ее взгляде.

Я болтал и старался всячески показать, что мне очень весело, но украдкой поглядывал на часы.

Мама выпила вина, повеселела и начала рассказывать Маргарите о Пасхе у бабушки в Черкассах и о том, как мы легко и весело жили когда-то в Киеве. Она будто сама не верила, что все это было. «Правда, Костик?» – спрашивала она меня. Я каждый раз говорил, что да, это правда.

В половине второго я извинился и ушел. Мама вышла проводить меня в переднюю. Она спросила заговорщицким голосом, нравится ли мне Маргарита. Я понимал, что бесполезно говорить правду. Ничего, кроме лишних огорчений, это бы не принесло. Потому я сказал, что Маргарита прелестная девушка и я очень рад за Диму.

– Ну, дай бог, дай бог! – прошептала мама. – Мне кажется, что Маргарита хорошо относится к Гале.

Я вышел на Басманную, остановился и вдохнул холодный воздух. В домах горели огни. Я нанял извозчика и поехал на Кисловку. Извозчик всю дорогу бранился с лошадей.

На Кисловке мне открыла Саша. Новый пышный бант был завязан у нее на шее. В переднюю выбежали девушки и вышел красивый старик в студенческой тужурке. Любы почему-то не было.

Девушки, смеясь, начали разматывать мой башлык и стаскивать с меня шинель, а старик запел молодым голосом:

Вот три богини спорить стали  
На горе в вечерний час.

– Глаза! Глаза! – закричали девушки.

Саша закрыла мне ладонями глаза. Я задыхался от запаха девичьих волос, духов, от твердых маленьких пальцев Саши, нажимавших мне на глаза.

Меня взяли под руки и повели. Я почувствовал, как распахнулись двери – в лицо ударило жаром. Шум стих, и женский голос сказал повелительно:

– Клянитесь!

– В чем? – спросил я.

– В том, что в эту ночь вы забудете обо всем, кроме веселья.

Саша больно нажала мне пальцами на глаза.

– Клянусь! – ответил я.

– А теперь присягайте!

– Кому?

– Той, что избрана королевой нашего праздника.

– Присягай! – шепнула мне на ухо Саша.

Я вздрогнул от щекотки.

– Присягаю.

– В знак покорности вы поцелуете у королевы руку, таков рыцарский обычай, – сказал голос, сдерживая смех. – Саша, убери лапы!

Саша отняла ладони. Я увидел ярко освещенную комнату со множеством картин. На рояле в позе врубелевского демона лежал худой человек, в бархатной куртке. Руки его были заломлены над головой. Он смотрел на меня печальными глазами.

Курносый юноша ударил по клавишам. Девушки расступились, и я увидел Любу. Она сидела в кресле на круглом столе. Белое шелковое платье легко обхватывало ее и спадало на стол. Обнаженные руки были опущены. В правой руке Люба держала веер из черных страусовых перьев.

Люба смотрела на меня, стараясь не улыбаться.

Я подошел и поцеловал опущенную Любину руку. Старик в студенческой тужурке подал мне бокал шампанского. Оно было совершенно ледяное. Я выпил его залпом.

Люба встала. Я помог ей спуститься со стола. Она подхватила край длинного платья, наклонилась ко мне и спросила:

– Мы вас не напугали своими глупостями? Зачем он вам дал ледяного шампанского? Выпейте чего-нибудь теплого. Кажется, остался глинтвейн.

Меня потащили к столу, начали угощать, но тут же забыли об этом и с хохотом сдвинули меня вместе со столом в угол комнаты, очищая место для танцев. Юноша заиграл вальс.

«Врубелевский демон» соскочил с рояля и начал танцевать с Любой. Люба проносилась по комнате, сильно откинувшись назад, прикрывая лицо черным веером. Каждый раз, пролетая мимо меня, она улыбалась из-за веера. Она придерживала шлейф своего платья.

Старик в студенческой тужурке танцевал с той женщиной, которую Саша звала героиней французского романа. Героиня зловеще хохотала.

Саша вытащила меня из-за стола. Я танцевал с ней. Она была такая тоненькая, что, казалось, вот-вот поникнет.

– Только не танцуй с Любой, – сказала Саша.

– Почему?

– Она горячка!

После танцев «врубелевский демон» начал допивать вино из всех бутылок и опьянел.

– Я жажду лета! – закричал он. – Долой сосульки! Дайте мне дождь!

На него никто не обращал внимания, и он исчез. Старик в студенческой тужурке сел к роялю и хватающим за душу голосом запел:

Далекий друг, пойми мои рыдания!

Когда он окончил, мы вдруг услышали шум дождя. Он лился где-то рядом обильно и свежо. Все испуганно молчали, потом бросились в коридор и в ванную комнату. «Врубелевский демон» стоял в ванне в пальто и в калошах, под черным зонтиком, и сильный душ, треща по зонтику, лился на него с потолка.

– Золото! Золото падает с неба! – кричал «врубелевский демон».

Душ закрыли, а «врубелевского демона» вытащили из ванны.

Я тоже что-то говорил, читал стихи, хохотал среди всеобщего сумбура. Я пришел в себя, когда Люба погасила люстру и комната наполнилась синей мглой рассвета.

Все стихли. Синева смешивалась с огнем настольной лампы. Лица казались матовыми и красивыми.

– Самое милое время после ералашных ночей, – сказал старик в студенческой тужурке. – Теперь можно спокойно потягивать вино. И говорить о разных разностях. Люблю рассвет. Он прополаскивает душу.

«Врубелевский демон» еще не протрезвел.

– Никаких полосканий! – крикнул он. – Я не желаю слышать, как кто бы то ни было полощет свою душу. Достоевщина! Свет состоит из семи красок. Я преклоняюсь перед ними. А на остальное мне наплевать.

Потом все долго молчали, оцепенев от легкой дремоты. Люба сидела рядом со мной.

– Все плывет перед глазами, – сказала она. – И все такое синее. И мне совсем не хочется спать.

– Катарзис! – важно произнес старик в студенческой тужурке. – Очищение души после трагедии.

– Не знаю, – ответила Люба.

Она задумалась. В ее глазах отражалась утренняя синева.

– Вы устали, – сказал я.

– Нет. Мне просто хорошо.

– Этим летом вы правда будете в Рёвках?

– Да, – ответила Люба. – А вы приедете?

– Приеду. Если там будет дядя Коля.

– А зачем «если»? – лукаво спросила Люба.

Вскоре все встали и начали прощаться. Я ушел последним. Мне надо было проводить до Лоскутной гостиницы Сашу, а она напилась горячего чая и ждала, пока у нее остынет горло.

На улице нарядные женщины и молодые мужчины, должно быть актеры, играли в снежки. Разноцветное конфетти валялось на снегу. Вставало солнце, разрывая косматым огнем ночной туман.

После шумной этой ночи мне было стыдно возвращаться на Разгуляй, в бедную нашу квартиру, пропахшую керосином. Но я только на минуту подумал об этом. Потом опять все зазвенело на душе, – будто снег, и солнечный свет, и небо, и рука Любы, на мгновение задержавшаяся в моей во время прощания, будто вся эта жизнь незаметно превращалась в тихое звучание оркестра.

Через день я уехал из Москвы. Мама, сгорбленная, в теплом платке, провожала меня на вокзал. Дима пошел в тот вечер с Маргаритой в театр. А Галя все беспокоилась, чтобы я не опоздал на поезд.

На перроне мама сказала:

– Ты не сердись. Я, кажется, говорила, что ты похож на отца. Я-то знаю, что ты хороший.

Поезд отошел. Был вечер. Я долго смотрел на огни Москвы. Может быть, один из них светил в эту ночь из комнаты Любы.

## Рассказ ни о чем

С февраля пошли оттепели. Киев начало заносить туманом. Его часто разгонял теплый ветер. У нас на Лукьяновке пахло талым снегом и корой – ветер приносил этот запах из-за Днепра, из потемневших к весне черниговских лесов.

Капало с крыш, играли сосульки, и только по ночам, да и то редко, ветер срывал тучи, лужи подмерзали и на небе поблескивали звезды. Их можно было увидеть только у нас на окраине. В городе было так много света из окон и от уличных фонарей, что никто, очевидно, даже не подозревал о присутствии звезд.

В сырые февральские вечера в бабушкином флигеле было тепло и уютно. Горели электрические лампы. Пустые сады начинали иногда шуметь от ветра за ставнями.

Я писал новый рассказ – о Полесье и «могилевских дедах». Я возился с ним, и чем дольше возился, тем больше рассказ «устал» – делался вялым и выпотрошенным. Но все же я окончил его и отнес в редакцию журнала «Огни».

Редакция помещалась на Фундуклеевской улице, во дворе, в маленькой комнате. Веселый кругленький человек резал колбасу на ворохах гранок, готовясь пить чай. Его совершенно не удивило появление в редакции гимназиста с рассказом.

Он взял рассказ, мельком заглянул в конец и сказал, что рассказ ему нравится, но надо подождать редактора.

– Вы подписали рассказ настоящей фамилией? – спросил кругленький.

– Да.

– Напрасно! Наш журнал левый. А вы гимназист. Могут быть неприятности. Придумайте псевдоним.

Я покорно согласился, зачеркнул свою фамилию и написал вместо нее «Балагин».

– Сойдет! – одобрил кругленький.

В комнату вошел с улицы худой человек с землистым лицом, спутанной бородой и впалыми пронзительными глазами. Он долго, чертыхаясь, снимал глубокие калоши, разматывал длинный шарф и кашлял.

– Вот редактор, – сказал кругленький и перестал сдирать с колбасы кожуру и показал на вошедшего перочинным ножом.

Редактор, даже не взглянув на меня, подошел к столу, сел, протянул перед собой в пространство руку и сказал глухим, страшным голосом:

– Давайте!

Я вложил рукопись в его протянутую руку.

– Вам известно, – спросил редактор, – что непринятые рукописи не возвращаются?

– Известно.

– Великолепно! – проворчал редактор. – Приходите через час. Будет ответ.

Кругленький подмигнул мне и усмехнулся.

Я ушел обескураженный, долго ходил по Крещатику, зашел в библиотеку и встретил там Фицовского. Он только что взял томик Ибсена. Он начал ругать меня за то, что я мало читаю Ибсена, и сказал, что самое великое произведение в мире – это «Привидения».

Мы вместе вышли из библиотеки. Мне было еще рано возвращаться в редакцию. Мы зашли в темный двор и покурили: на улице мы могли попасться кому-нибудь из учителей или надзирателей. Курить нам запрещалось.

Фицовский проводил меня до редакции и решил подождать под воротами. Ему было интересно узнать, чем все окончится. Но я упрямился уйти. Мне было страшно. Что, если рассказ не возьмут, – какими глазами посмотрит на меня Фицовский.

Я вошел в редакцию. Редактор некоторое время проницательно смотрел на меня и молчал. Я тоже молчал и чувствовал, как от моего лица пышет жаром. Очевидно, я страшно покраснел.

– Разрешите мне взять рукопись, – сказал я.

– Рукопись? – спросил редактор и закашлялся от смеха. – Прошу вас. Умоляю. Можете взять ее и бросить в печку. Но дело в том, что я хочу напечатать этот рассказ. Представьте, он мне понравился.

– Извините, я не знал, – пробормотал я.

– Горячий юноша! Раз попали на писательскую стезю, так будьте добры, запаситесь терпением. За гонораром – в среду! – произнес он ледяным тоном, меняя голос. – А все, что напишете, приносите нам.

Я выскочил из редакции. В подворотне стоял Фицовский. Он не ушел.

– Ну что? – спросил он испуганно. – Взяли?

– Взяли.

– Пойдем ко мне! – воскликнул Фицовский. – Есть бутылка муската и моченые яблоки. Ознаменуем!

Мы выпили вдвоем с Фицовским бутылку муската. Я вернулся домой очень поздно. Трамваев уже не было.

Я шел по пустым улицам. Фонари не горели. Если бы мне встретился нищий, я, должно быть, отдал бы ему свою шинель или сделал что-нибудь безрассудное в этом же роде.

Но я никого не встретил, кроме белой мокрой собаки. Она сидела, поджав лапу, около забора. Я пошарил в карманах, но ничего не нашел. Тогда я погладил ее. Собака тотчас увязалась за мной.

Я разговаривал с ней всю дорогу. В ответ она подпрыгивала и хватала меня зубами за рукав шинели.

– Послушаем! – говорил я и останавливался.

Собака подымала уши. Из садов долетал шорох, будто там ворошили прошлогоднюю листву.

– Ты понимаешь, что это значит? – спрашивал я собаку. – Это весна. А потом будет лето. И я уеду отсюда. И может быть, увижу женщину – самую хорошую на свете.

Собака подпрыгивала, хватала меня зубами за рукав шинели, и мы шли дальше.

В домах не светилось ни одного окна. Город спал. По-моему, все жители должны были сейчас же проснуться и высыпать на улицы, чтобы увидеть этот мрачный перелет облаков и услышать, как тает и похрустывает снег и как из-под осевших сугробов медленно каплет вода. Нельзя было спать в такую удивительную ночь.

Я не помню, как добрался до дома. Бабушка спала. Собака вежливо прошла за мной в комнату. Холодный ужин стоял на столе. Я накормил собаку хлебом и мясом и уложил в углу около печки. Собака тотчас уснула. Иногда она, не просыпаясь, благодарно помахивала хвостом.

Утром бабушка увидела собаку, но не рассердилась. Она пожалела ее, назвала Кадо, начала кормить, и собака так и прижилась у бабушки.

Весна с каждым днем подходила все ближе. Вместе с весной надвигались на нас выпускные экзамены. Чтобы выдержать их, надо было повторить весь гимназический курс наук. Это было трудно, особенно весной.

Наступила Пасха. В конце пасхальных каникул приехал на несколько дней из Брянска дядя Коля. Он приехал навестить бабушку.

Дядя Коля поселился у меня в комнате во флигеле. Тетя Вера, жившая со своей семьей в большом доме на улице, обиделась на дядю Колю за то, что он остановился у меня. Но дяде Коле удалось отшутиться.



По вечерам мы с дядей Колей, лежа на койках, болтали и смеялись. Бабушка, услышав нашу болтовню, вставала, одевалась, приходила к нам и засиживалась до поздней ночи.

Однажды мы были с дядей Колей на обязательном чопорном ужине у тети Веры. В доме у нее собирались, по словам бабушки, разные «монстры и креатуры».

Из них особенно возмущал меня известный в Киеве глазной врач Думитрашко, очень низенький, с пискливым голоском, курчавой бородкой и золотыми кудряшками, лежавшими по вороту его черного сюртука.

Как только появлялся Думитрашко, воздух пропитывался ядом. Потирая пухлые ручки, Думитрашко начинал говорить гадости об интеллигенции. Муж тети Веры, угреватый делец, похожий на молдаванина, ему поддакивал.

Потом неизменно появлялся отставной генерал Пиотух с тремя старыми девами – своими дочерьми. Генерал говорил преимущественно о ценах на дрова – он понемногу подторговывал дровами.

Тетя Вера старалась вести светский разговор, но это ей плохо удавалось. Почти каждую фразу она начинала излюбленными словами: «Имейте в виду».

«Имейте в виду, – говорила она, – что мадам Башинская носит только лиловые платья». «Имейте в виду, что этот пирог из собственных яблок».

Чтобы развлечь гостей, тетя Вера заставляла свою дочь Надю играть на пианино и петь; Надя боялась сверлящих глаз генеральских старых дев. Она неуверенно наигрывала на пианино и пела тонким, дрожащим и потому жалким голосом модного в то время «Лебедя»:

Заводь спит, молчит вода зеркальная...

Учительница музыки – немка, безмолвная участница этих вечеров, – зорко следила за Надей. У немки был большой и необыкновенно тонкий нос. Он просвечивал насквозь, когда попадал под яркий свет лампы. Над этим носом вздымалась скирда волос, уложенных фесто-нами.

Мы вернулись с дядей Колей после ужина в бабушкин флигель.

– Фу-у! – сказал дядя Коля, отдуваясь. – До чего противно!

Чтобы забыть об этом вечере и рассеяться, дядя Коля зазвал к бабушке Гаттенбергера и устроил домашний концерт. Он пел для бабушки под аккомпанемент виолончели польские крестьянские песни.

Ой ты, Висла голубая,  
Как цветок.  
Ты бежишь в чужие земли —  
Путь далек!

Бабушка слушала, сжав руки на коленях. Голова ее тихо тряслась, и тусклые слезы набегали на глаза. Польша была далеко-далеко! Бабушка знала, что никогда больше не увидит ни Немана, ни Вислы, ни Варшавы. Бабушка уже двигалась с трудом и даже перестала ездить в костел.

В день отъезда дядя Коля сказал мне, что будущим летом он снова поедет в Рёвны, и взял с меня слово, что я тоже туда приеду. Меня не надо было об этом особенно просить. Я с радостью согласился.

С той минуты, как я узнал, что поеду в Рёвны, все преобразилось. Я даже поверил, что хорошо выдержу выпускные экзамены. Оставалось только ждать, а ожидание счастливых дней бывает иногда гораздо лучше этих самых дней. Но в этом я убедился позже. Тогда я еще не подозревал об этом странном свойстве человеческой жизни.

## Аттестат зрелости

Выпускные экзамены начались в конце мая и тянулись целый месяц. Все классы были уже распущены на летние каникулы. Только мы приходили в пустую прохладную гимназию. Она будто отдыхала от зимней сутолоки. Шум наших шагов разносился по всем этажам.

В актовом зале, где шли экзамены, окна были распахнуты. Семена одуванчиков летали в свете солнца по залу, как белые мерцающие огоньки.

На экзамены полагалось приходиться в мундирах. Жесткий ворот мундира с серебряным галуном натирал шею. Мы сидели в саду под каштанами в расстегнутых мундирах и ждали своей очереди.

Нас пугали экзамены. И нам было грустно покидать гимназию. Мы свыклись с ней. Будущее рисовалось неясным и трудным, главным образом потому, что мы неизбежно растеряем друг друга. Разрушится наша верная и веселая гимназическая семья.

Перед экзаменами в саду была устроена сходка. На нее созвали всех гимназистов нашего класса, кроме евреев. Евреи об этой сходке ничего не должны были знать.

На сходке было решено, что лучшие ученики из русских и поляков должны на экзаменах хотя бы по одному предмету схватить четверку, чтобы не получить золотой медали. Мы решили отдать все золотые медали евреям. Без этих медалей их не принимали в университет.

Мы поклялись сохранить это решение в тайне. К чести нашего класса, мы не проговорились об этом ни тогда, ни после, когда были уже студентами университета. Сейчас я нарушаю эту клятву, потому что почти никого из моих товарищей по гимназии не осталось в живых. Большинство из них погибло во время больших войн, пережитых моим поколением. Уцелело всего несколько человек.

Была еще вторая сходка. На ней мы условились, кто из нас должен помочь писать сочинения некоторым гимназисткам Мариинской женской гимназии. Не знаю почему, но письменный экзамен по русской словесности они держали вместе с нами.

Переговоры с гимназистками вел Станишевский. Он принес список гимназисток, нуждавшихся в помощи. В списке было шесть имен.

Мне поручили помочь гимназистке Богушевич. Я ее не знал и никогда не видел.

Сочинение мы писали в актовом зале. Каждый сидел за отдельным столиком – гимназисты слева, а гимназистки справа. По широкому проходу между гимназистками и нами прогуливались надзиратели. Они поглядывали, чтобы мы не передавали друг другу записок, промокшек и других подозрительных предметов.

Все шесть гимназисток из списка Станишевского сели около прохода. Я старался угадать, которая из них Богушевич. Фамилия «Богушевич» вызывала представление о полной украинке. Одна из гимназисток была полная, с толстыми косами. Я решил, что это и есть Богушевич.

Вошел директор. Мы встали. Директор с треском распечатал плотный конверт, вынул из него бумагу с темой сочинения, посланной из учебного округа, взял мел и тщательно написал на доске: «Истинное просвещение соединяет нравственное развитие с умственным».

Тревожный гул прошел по залу – тема была гробовая.

Мне нельзя было терять времени. Я тотчас начал писать конспект сочинения для Богушевич на узкой полоске бумаги.

Во время выпускных экзаменов нам разрешалось курить. Для этого мы поодиночке отпрашивались в курительную комнату в конце коридора. Там дежурил одряхлевший сторож Казимир – тот самый, что привел меня в приготовительный класс.

По дороге в курилку я свернул в тонкую трубку конспект и засунул его в мундштук папиросы. Я выкурил папиросу, а окурочек положил на подоконник, на условленное место. Казимир ничего не заметил. Он сидел на стуле и жевал бутерброд.

Моя задача была окончена. После меня в курилку пошел Литтауэр. Он бросил на окно свой окурочек с конспектом, а из моего достал шпаргалку и, возвращаясь на место по проходу, подбросил ее на стол гимназистке Богушевич. После Литтауэра это же проделали Станишевский, Регамэ и еще двое гимназистов. Их работа требовала ловкости и верного глаза.

Я уже начал писать свое сочинение, когда в зал возвратился Литтауэр. Я следил за ним. Мне хотелось посмотреть, как и кому он подбросит шпаргалку. Но он сделал это так быстро, что я ничего не заметил. Только по тому, как одна из гимназисток начала судорожно писать, я понял, что дело сделано и Богушевич спасена.

Но писать начала не гимназистка с толстыми косами, а совсем другая. Я видел только ее худенькую спину, перекрещенную полосками от парадного белого передника, и рыжеватые локоны на шее.

На сочинение дали четыре часа. Большинство из нас окончило его раньше. Только гимназистки еще сидели, мучаясь, за столами.

Мы вышли в сад. В нем в этот день пело такое множество птиц, будто они собирались здесь со всего Киева.

В саду чуть не вспыхнула ссора между Литтауэром и Станишевским. Литтауэр сказал, что Станишевский бездарно устроил всю эту помощь гимназисткам. Станишевский вскипел. Он сиял от успеха своего предприятия и ожидал славы, а не критики.

– В чем дело? – спросил он Литтауэра задиристым тоном, не предвещавшим ничего хорошего.

– А в том, что нам ни на какого черта не надо было знать фамилии гимназисток, которым мы пишем. Шесть гимназисток – шесть шпаргалок. Любую шпаргалку получает любая гимназистка. Зачем мне знать, что я пишу для Богушевич или Яворской? Не все ли мне равно! Это только осложнило дело, когда мы подбрасывали шпаргалки.

– Боже мой! – Станишевский горестно покачал головой. – Ты форменный кретин! У тебя нет никакого полета фантазии. Так знай, что я сделал это нарочно.

– Зачем?

– Мне это показалось ин-те-рес-нее! – веско ответил Станишевский. – Может быть, на этой почве вспыхнет между спасителем и спасенной жгучая любовь! Ты об этом подумал?

– Нет.

– Ну и балда! – отрезал Станишевский. – А теперь – к Франсуа. Есть мороженое.

После каждого экзамена мы кутили на свои скромные деньги – ходили в кондитерскую Франсуа и съедали там по пяти порций мороженого.

Самым трудным для меня был экзамен по тригонометрии. Я все-таки выдержал его. Экзамен затянулся до вечера.

После экзамена мы подождали, пока инспектор объявил отметки, и, обрадованные тем, что никто не провалился, шумно вырвались на улицу.

Станишевский изо всей силы швырнул вверх растрепанный учебник. С неба на мостовую, качаясь и разлетаясь по сторонам, посыпались страницы. Нам это понравилось. Мы все по команде метнули свои учебники в небо. Через минуту мостовая побелела от шелестящей бумаги. В спину нам засвистал городской.

Мы свернули на Фундуклеевскую, потом на узкую Нестеровскую. Постепенно все разбрелись, и нас осталось всего пятеро: Станишевский, Фицовский, Шмуклер, Хорожевский и я.

Мы пошли к Галицкому базару, где было много маленьких закусовых и пивных. Мы решили напиться, потому что считали, что экзамены уже окончены. Оставалась только латынь, но этого экзамена никто не боялся.

Мы острили и хохотали. В нас, по старомодному выражению, вселился бес. Прохожие оглядывались на нас.

На Галицком базаре мы зашли в пивную. От полов пахло пивом. Вдоль стены были устроены дощатые загоны, обклеенные розовыми обоями. Они назывались «отдельными кабинетами». Мы заняли такой «кабинет» и заказали водку и бефстроганов.

Хозяин предусмотрительно задернул линиялую занавеску. Но мы так шумели, что время от времени кто-нибудь из посетителей приоткрывал занавеску и заглядывал к нам в «кабинет». Всех заглядывающих мы угощали водкой. Они охотно пили и поздравляли нас с «благополучным окончанием».

Был уже поздний вечер, когда хозяин вошел в наш «кабинет» и, скосив на занавеску глаза, сказал вполголоса:

– Сипатый торчит за дверьми.

– Какой еще сипатый? – спросил Станишевский.

– Из сыскного. Надо вам аккуратненько выбираться во двор через задний ход. А со двора есть проход на Бульварно-Кудрявскую улицу.

Мы не придали особой важности словам хозяина, но все же вышли через задний ход в зловонный темный двор. Мимо мусорных ящиков и дровяных сараев, нагибаясь, чтобы не задеть головой за протянутые бельевые веревки, мы выбрались на Бульварно-Кудрявскую. Никто за нами не шел.

Мы вышли из подворотни на тускло освещенный тротуар. Там стоял, поджидая нас, сутулый человек в котелке.

– Добрый вечер! – просипел он зловещим голосом и приподнял котелок. – Хорошо ли погуляли, господа гимназисты?

Мы ничего не ответили и пошли вверх по Бульварно-Кудрявской. Человек в котелке пошел за нами.

– Молоко на губах не обсохло, – сказал он со злобой, – а тоже лезут в проходные дворы!

Станишевский остановился. Человек в котелке тоже остановился и засунул руку в карман длинного пиджака.

– Что вам нужно? – спросил Станишевский. – Убирайтесь немедленно к черту!

– По кабакам ныряете, – заговорил человек в котелке. – А еще воспитанники императорской гимназии! За посещение кабаков полагается волчий билет. Это вам известно?

– Пойдем! – сказал нам Станишевский. – Скучно слушать дурака.

Мы пошли. Человек в котелке двинулся за нами.

– Я-то не дурак, – сказал он. – Это вы дураки. Я сам учился в гимназии.

– Оно и видно, – заметил Шмуклер.

– Что видно? – истерически закричал человек. – Меня за пьянку из гимназии выкинули с волчьим билетом. А я вам вашу выпивку так и прощу? Нет! Я своего добьюсь. Не будет мне покоя, пока не дадут вам по волчьему билету. Плакали ваши экзамены. Рукава от жилетки вы получите, а не университет. Вели в кабаке разговоры против правительства? Вели! Над царским семейством надсмехались? Надсмехались! Мне вас прибрать – это раз плюнуть. Со мной не рекомендую шутковать. Я вас все равно представлю в охранку.

Мы свернули по пустынным улицам к Святославскому яру. Мы думали, что сыщик побоялся идти за нами в глухой этот яр. Но он упорно шел следом.

– Неужели мы впятером с ним не справимся? – тихо спросил Станишевский.

Мы остановились. Сыщик вынул из кармана револьвер. Он показал его нам и глухо засмеялся.

Мы долго водили его по улицам, избегая перекрестков, где стояли городовые. Фицовский предложил отделяться по одному и исчезать. В этом случае сыщик всегда будет идти следом

не за одним, а за несколькими – сначала за четырьмя, потом за тремя, за двумя и, наконец, за одним. Вместо пятерых он сможет задержать только одного.

Но никто из нас не согласился с Фицовским. Это было бы не по-товарищески.

Мы издевались над сыщиком. Каждый из нас громко рассказывал вымышленную его биографию. Биографии были чудовищные и оскорбительные. Сыщик хрипел от ярости. Он, видимо, устал, но с упрямством помешанного плелся сзади.

На востоке начало синеть. Пора было действовать. Мы сговорились и, кружа по переулкам, подошли к дому, где жил Станишевский.

На улицу выходила каменная ограда в полтора человеческих роста. Внизу на ней был выступ. Мы по команде вскочили на этот выступ и перемахнули через ограду. Уроки гимнастики намгодились.

Куча битого кирпича лежала в палисаднике за оградой. Град кирпичей посыпался на сыщика, оставшегося за стеной. Он вскрикнул, отскочил на середину улицы и выстрелил. Нудно провыла в воздухе пуля.

Мы бросились через палисадник и подворотню во второй двор, взбежали на четвертый этаж, в квартиру Станишевского, и через несколько минут уже лежали все, раздевшись, на диванах и тахтах и прислушивались к тому, что происходит на улице.

Отец Станишевского, седой щетинистый адвокат, ходил по комнатам в халате. Он был настроен так же воинственно, как и мы, но умолял нас лежать спокойно, не вскакивать и не подходить к окнам.

Сначала было слышно, как кто-то бешено тряс ворота и ругался с дворником. Потом во дворе послышались голоса сипатого и городских. На наше счастье, двор того дома, где жил Станишевский, был проходным. Дворник уверял, что гимназисты, должно быть, удрали через проходной двор. Пошумев, сыщик и городские ушли.

Мы уснули мертвым сном и проснулись только в полдень. Мы выслали на улицу разведчиц – сестер Станишевского. Ничего подозрительного не было, и мы разошлись по домам.

Как это ни покажется странным сейчас, но мы избавились от большой опасности неизбежного исключения и волчьего билета за два дня до окончания гимназии. Это было бы равносильно гражданской смерти.

Наконец настал удивительный день, когда в актовом зале у большого стола, покрытого зеленым сукном, директор роздал нам аттестаты и поздравил каждого с окончанием гимназии.

На следующий день в гимназии был традиционный выпускной бал. На него пригласили гимназисток, державших вместе с нами экзамен по русской словесности.

Гимназия была ярко освещена. В саду висели разноцветные фонарики. Играл оркестр.

Перед балом Субоч сказал нам речь:

– В четвертом классе я вас только терпел. В пятом я начал вас воспитывать, хотя было мало шансов сделать из вас настоящих людей. В шестом классе я с вами подружился. В седьмом – я вас полюбил, а в восьмом я начал даже вами гордиться. Я несчастный отец. У меня слишком много детей, не меньше сорока человек. К тому же через каждые несколько лет мои дети меняются. Одни уходят, другие приходят. Отсюда вывод – на мою долю выпадает в сорок раз больше огорчений, чем на долю обыкновенных родителей. И в сорок раз больше возни. Поэтому я, может быть, не всегда был одинаково внимателен ко всем. Мне грустно расставаться с вами. Я стремился сделать из вас хороших людей. Вы, в свою очередь, давали смысл моей жизни. Я молодец с вами. Я прощаю отныне и навеки все ваши глупые выходки и даже драки с первым отделением. Прощаю все. В этом нет, конечно, никакого великодушия. Но вас я призываю к великодушию. Гейне сказал, что на земле больше дураков, чем людей. Он, конечно, преувеличил. Но что это все-таки значит? Это значит, что ежедневно мы встречаем людей, чье существование не приносит ни им, ни окружающим никакой радости и пользы. Бойтесь быть бесполезными. Кем бы вы ни стали, помните мудрый совет: «Ни одного дня без написанной

строчки». Трудитесь! Что такое талант? Трижды и четырежды труд. Любите труд, и пусть вам всегда будет жаль с ним расставаться. Счастливой дороги! Не поминайте лихом своих наставников, поседевших в боях с вами!

Мы бросились к нему, и он расцеловался с каждым из нас.

– А теперь, – сказал Субоч, – несколько слов по-латыни!

Он взмахнул руками и запел:

*Gaudeamus igitur juvenes dum sumus!*

Мы подхватили нашу первую студенческую песню.

Потом начался бал. Распорядителем был Станишевский. Он приказал гимназистам-спасителям пригласить на вальс спасенных ими гимназисток. Он познакомил меня с худенькой девушкой с радостными глазами – Олей Богушевич. Она была в белом платье. Опустив глаза, она поблагодарила меня за помощь и побледнела от смущения. Я ответил, что это сущие пустяки. Мы танцевали с ней. Потом я принес ей из буфета мороженого.

После бала мы провожали гимназисток домой. Оля Богушевич жила в Липках. Я шел с ней ночью под теплой листвой деревьев. Ее белое платье казалось слишком нарядным даже для этой июньской ночи. Мы расстались с ней друзьями.

Я пошел к Фицовскому, где наш кружок проводил остаток ночи. Мы устроили в складчину ужин с вином и пригласили на него Субоча, Селихановича и Иогансона. Иогансон пел песенки Шуберта. Субоч виртуозно аккомпанировал ему на бутылках.

Мы много шумели и разошлись, когда поднялось солнце, но на улицах еще лежала холодная длинная тень. Мы крепко обняли друг друга на прощанье и пошли каждый своей дорогой со странным чувством грусти и веселья.

## Воробьиная ночь

И вот опять за окном знакомые листья орешника. В них блестят капли дождя. Опять солнце в промокшем до нитки парке и шум воды на плотине. Опять Рёвны, но Любы нет.

Дача Карелиных стояла заколоченная и пустая. На ее веранде поселился бродячий черный пес. Когда кто-нибудь подходил к даче, он с визгом выскакивал и, поджав хвост, прятался в кустах. Там он долго лежал, пережидая опасность.

Саша заболела дифтеритом, и Карелины приедут, может быть, в конце лета, а может быть, и совсем не приедут. Никто этого не знает.

А лето выдалось бурное и непостоянное – оттого, что на солнце, по словам дяди Коли, было много пятен.

После обложных дождей наступила засуха. Но тихие дни часто комкал жаркий ветер, заносил сухой мглой. Вода в реке чернела. Сосны начинали мотать вершинами и беспокойно шуметь.

Пыль подымалась над дорогами, бежала по ним до края земли, преследовала путников.

– Суходольное лето, – говорили крестьяне.

На липах появились сухие листья. Река мелела с каждым днем. По утрам все меньше выпадало росы. А днем было слышно, как в траве потрескивали сухие коробочки с семенами.

Горячие поля были засыпаны белыми хлопьями репейника.

– Ну и гроза же будет после такой жары! – говорили все.

И гроза наконец пришла. Она приближалась медленно, и мы с Глебом Афанасьевым следили за ней с самого утра. В купальне на реке стояла такая духота, что темнело в глазах. Мы долго не вылезали из тепловатой воды.

Небо затянулось дымом. За ним проступали огромные клубы черной, будто окаменелой ваты. Это просвечивала сквозь дым грозовая туча.

Мертвая тишина стояла вокруг. Замолчали лягушки и птицы, перестала плескаться рыба. Даже листья не шевелились, испуганные грозой. Мордан залез под дачу, тихонько повизгивал там и не хотел выходить. Только люди шумели и перекликались, но и людям было не по себе.

К сумеркам дым разошелся, и туча, глухая, как ночь, заняла половину неба. Ее передергивали молнии. Грома не было. На востоке поднялся мутный месяц. Он вышел навстречу туче совершенно один, брошенный всеми, – ни одной звезды не было видно за его спиной. Месяц бледнел при каждой вспышке молнии.

Потом наконец свежо и протяжно вздохнула земля. Первый гром прокатился через леса и ушел далеко на юг по зашумевшим от ветра хлебам. Он уходил, ворча, а вслед ему возникал новый гром и катился туда же, на юг, встряхивая землю.

– Илья-пророк, – говорил Глеб Афанасьев, – раскатывается в небесах.

В туче стало заметно движение желтых вихрей. Край тучи начал загибаться к земле. Молнии взрывались и перебегали в черных пещерах неба.

На сельской колокольне несколько раз торопливо ударили в колокол двойным ударом. Это был сигнал к тому, чтобы в избах заливали огонь в печах.

Мы закрыли все окна и двери, выюшки в печах и ставни, сели на веранде и начали ждать.

Далеко за парком возник широкий – во всю ширину земли – зловеющий гул. Тетя Маруся не выдержала и ушла в дом. Гул приближался, будто на нас, все смывая, катился океан. Это шел ветер.

Потом все завывало и засвистело. Заскрипели столетние липы. Желтая мгла помчалась над самой землей. Посыпались стекла. Невиданный белый свет зажегся в этой мгле, и раздался такой треск, будто дачу вбило в землю по самую крышу. По шумящим вершинам прокатился

желтый огненный шар. Он трещал и дымился, а потом взорвался с сухим грохотом, как дальнотбойный снаряд.

– Скорей бы дождь! – повторяла тетя Маруся. – Скорей бы дождь!

Наконец обрушился ливень. Серые потоки лились на взлохмаченный парк.

Ливень гудел, набирая силу. Под его успокоительный шум мы разошлись по своим комнатам и крепко уснули.

Ночью я проснулся от лая собак, фыркания лошадей, торопливых шагов внизу, смеха, звона посуды. Глеб тоже не спал.

Ливень прошел, но молнии мигали непрерывно.

– Костик, – сказал Глеб, – мое вещее сердце подсказывает, что кто-то приехал. Но кто? Давай послушаем.

Мы лежали несколько минут молча. Глеб вскочил и начал в темноте одеваться.

– Есть! – сказал он. – Слышу умолкнувший звук божественной Сашиной речи. Это Карелины! Вставай!

Я тоже начал одеваться. Я слышал, как тетя Маруся сказала внизу:

– Да, Костик здесь. Уже давно. И Глеб здесь. Надо их разбудить.

– Пусть спят, – ответила Мария Трофимовна. – Завтра успеют наболтаться. Как мы добрались, сама не пойму. В Рябчевке два часа пережидали грозу. Хорошо, что дорога песчаная.

– Ну пойдем! – сказал Глеб.

– Иди ты первый.

– Ага! – воскликнул Глеб. – Значит, вы волнуетесь, молодой человек!

– Зачем мне волноваться?

– Тогда пошли вместе!

Мы спустились вниз. В комнате горели лампы. Тетя Маруся собирала на стол чай. Под стенами стояли мокрые чемоданы.

Мария Трофимовна сидела за столом. Саша бросилась к нам навстречу и расцеловалась с Глебом и со мной. Она была страшно худая, но глаза ее блестели по-прежнему.

Мы почтительно поцеловали руку у Марии Трофимовны.

– Ого, как загорел! – сказала Мария Трофимовна и потрепала меня по щеке.

Люба стояла на коленях спиной к нам и рылась в корзинке. Она не оглянулась и продолжала что-то искать.

– Люба, – позвала Мария Трофимовна, – ты что же, не замечаешь? Костик здесь. И Глеб.

– Сейчас, – ответила Люба и медленно встала. – Я не могу найти лимон, мама.

– Ну и бог с ним, с лимоном.

Люба обернулась, поправила волосы и протянула мне руку. Она мельком взглянула на меня и отвела глаза.

– Садитесь, – сказала тетя Маруся. – Чай стынет.

Мы сели к столу. Дяди Коли в комнате не было. Я слышал, как он кому-то на веранде сливал на руки, а тот, кому он сливал, фыркал, мылся и говорил, картавя:

– Ради бога, не утруждайте себя. Благодарю вас.

– Кто это? – спросил я Сашу.

Она взяла меня за плечо и зашептала на ухо:

– Ленька Михельсон. Товарищ Любы по школе. Художник. Вундеркинд. Лошак!

– Кто? – переспросил я.

– Сам увидишь. Я его ненавижу.

– Саша! – прикрикнула Мария Трофимовна. – Перестань шептаться!

Люба недовольно взглянула на Сашу и потупилась.

С веранды вошел дядя Коля. За ним шел, вытирая руки, высокий юноша в очках, с длинным лицом и большими зубами. Добродушно глядя в лицо, он поздоровался со мной и Гле-



бом. Несмотря на подслеповатость и неуклюжесть, сразу было видно, что он, как любила выражаться мама, из «хорошей семьи». Он держал себя вежливо и непринужденно, но, конечно, был явный горожанин.

Он сел к столу, взяв у тети Маруси стакан чаю, поблагодарил и сказал:

– Пасторальная жизнь!

Глеб фыркнул. Тетя Маруся тревожно посмотрела на меня и Глеба, а Саша сказала:

– Леня, ей-богу, возьмите лучше варенья. Это земляничное.

Дядя Коля тоже строго посмотрел на Глеба, но тут же улыбнулся.

После чая мы помогли Карелиным перетащить вещи на их дачу. Парк отряхивался от дождя и шуршал. В деревне на разные голоса орали петухи. Рассвет проступал над вершинами.

Карелины тотчас же начали прибираться и устраиваться.

Взошло солнце, позолотило перила веранды и открыло вокруг необыкновенную чистоту и свежесть. Леня Михельсон что-то чертил палкой на песчаной дорожке около дачи Карелиных.

– Какое утро! – сказал мне Глеб, когда мы притащили к ним последний чемодан и Мария Трофимовна велела больше ни с чем не возиться. – Пойдем купаться.

Мы захватили мохнатые полотенца и пошли в купальню. На песчаной дорожке около дачи Карелиных была нарисована очень похожая Любина голова в профиль, солнце над ней, и было написано: «О солнечность светотканая!»

Глеб рассердился:

– Декадент! Телячий восторг!

Глеб шел, размахивая полотенцем. Потом, не глядя на меня, он сказал:

– А ты, Костик, брось, не думай. Seriously, брось! Не стоит из-за этого портить себе лето. Ну, кто скорей?

Он побежал. Я побежал за ним. Лягушки прыгали, спасаясь от нас, в мокрую траву. Белый шар солнца подымался все выше. Промытое начисто легкое небо становилось все ярче и ярче.

Пока я добежал до купальни, мне показалось, что горечь у меня на душе почти прошла. Я запыхался, покраснелся, сердце у меня колотилось, и я подумал: неужели я буду мучиться из-за Любы, из-за высокомерной девушки, когда вокруг разгорается такое утро и впереди ждет длинный летний день!

В купальню пришел дядя Коля. Мы плавали, ныряли и так раскачали реку, что было видно, как далеко у плотины маленькие волны то подымают, то опускают цветы кувшинок. И я почти позабыл о том, что пережил первую измену. Мне только хотелось показать Любе, что я ничуть этим не огорчен и моя жизнь заполнена такими интересными вещами, что мне попросту смешно страдать от какой-то дачной любви с ее вздохами и неясными признаниями.

«И в конце концов, разве это не так? – думал я. – Чем мое увлечение Любой лучше этого солнца? – Оно уже падало сквозь зелень на темную воду. – Чем оно лучше этого удивительного запаха некошенных лугов? И чем оно лучше даже вот этого зеленого жучка, торопливо ползущего по дощатой стене купальни?»

Утешиться мне было легко. Очевидно, потому, что все окружающее было полно необыкновенной прелести.

Глеб влез на крышу купальни, протянул к солнцу руки, торжественно и гнусаво прокричал: «О солнечность светотканая!» – и с воплем сорвался в воду.

– Эй, вы, архаровцы! – сказал дядя Коля. – Вылезайте. После чая пойдем на разведку.

– Куда? – спросил я.

– Вниз по реке, за Меловую горку.

Я вылез из воды. Было приятно ходить по сухим, теплым доскам и оставлять на них мокрые следы. Следы эти высыхали на глазах. От мохнатого полотенца пахло соленым морем.

Солнце грело грудь и влажную голову, и хотелось только хохотать и болтать об интересных вещах или бежать наперегонки с Глебом обратно до самой дачи.

Так мы и сделали. Мордан и Четвертак неслись за нами с исступленным лаем, прыгали и пытались на ходу вырвать у нас из рук полотенца.

Мы промчались со смехом и лаем мимо дачи Карелиных и ворвались к себе на веранду, напугав тетю Марусю.

После чая мы с дядей Колей ушли вниз по реке. Мы с Глебом наносили реку на самодельную карту и придумывали названия для всяких излучин, заводей, обрывов и замечательных мест.

Мы были исхлестаны ветками и высокой травой. Рубахи наши пожелтели от цветочной пыльцы. Берега реки пахли теплой травой и песком. Глеб глубокомысленно сказал:

– Терпеть не могу меланхолии!

Так мы жили все лето.

Вскоре жаркие дни сменились другими. Буря хлестала над парком. Она валила тучи на вершины деревьев. Тучи запутывались в них, потом вырывались, оставляя на ветвях сырые клочки, и мчались в испуге куда глядят глаза.

Парк качался и стонал. Листья кувшинок на реке становились дыбом. Дождь грохотал по крыше. В мезонине стоял такой шум, будто мы жили внутри барабана.

Все проклинали ненастные дни, кроме дяди Коли, Глеба и меня. Мы натягивали дождевые плащи и шли на плотину, чтобы проверить жерлицы, поставленные вчера. На самом деле мы шли не за этим, а для того, чтобы надышаться до боли в легких сырой бурей. Ветер бил с такой силой, что накрепко припечатывал к щеке сорванный с дерева мокрый лист. Наши плащи деревенели. Мы попадали в самую гущу бури, задыхались, поворачивались к ней спиной.

– Хорошо! – кричал дядя Коля. – Очень хорошо! Смотри, унесет!

– Пасторальная жизнь! – кричал Глеб, картавя.

Он все еще издевался над Леней Михельсоном.

Мы обходили наши владения. Старые ивы неистово гудели всей шапкой вытянутых в струнку и серых с изнанки листьев. Из последних сил они боролись с ветром. Трещали и рушились гнилые ветви. Неслись по ветру взъерошенные галки. Они кричали, но ничего не было слышно. Мы видели только их разинутые клювы.

За высокой плотиной было одно место, куда не проникал ветер. Мы спускались туда, среди бурьяна. Крапива била по лицу, но не жгла. Здесь, за бревном, у дяди Коли были спрятаны удочки. Мы доставали их, как воров. Руки наши дрожали. Что, если бы тетя Маруся знала об этом! Она и так считала нас психопатами.

Мы закидывали удочки. Буря гудела над головой на расстоянии вытянутой руки. Но внизу было тихо.

– Ни черта не будет клевать, – говорил Глеб. – Рыба не такая полоумная, как мы!

Он говорил это нарочно, чтобы успокоить рыбу. Ему смертельно хотелось, чтобы рыба клевала. И действительно, происходило чудо – поплавки медленно окунались в холодную воду.

– Подусты! – кричал нам дядя Коля.

Мы начинали вытаскивать крепких оловянных рыб. Буря сатанела. Со страшной скоростью проносились по воде дожди.

Но мы уже ничего не замечали.

– Вы не озябли? – кричал нам дядя Коля.

– Нет! Чудесно!

– Значит, еще?

– Конечно!

Буря длилась пять дней. Она окончилась ночью; и никто этого не заметил.

Утром я проснулся под шелканье птиц. Парк тонул в тумане. Сквозь него пробивалось солнце. Очевидно, над туманом простиралось чистое небо – туман был голубой.

Дядя Коля ставил около веранды самовар. Дым из самоварной трубы подымался вверх. У нас в мезонине пахло горелыми сосновыми шишками.

Я лежал и смотрел за окно. В кроне старой липы происходили чудеса. Солнечный луч пробил листву и зажег, копошась внутри липы, много зеленых и золотых огоньков. Это зрелище не мог бы передать никакой художник, не говоря уж, конечно, о Леньке Михельсоне.

На его картинах небо было оранжевое, деревья – синие, а лица людей – зеленоватые, как незрелые дыни. Все это было выдуманно, должно быть, так же, как и мое увлечение Любой. Сейчас я совершенно избавился от него.

Пожалуй, больше всего помогла моему избавлению затяжная летняя буря.

Я смотрел, как солнечный луч все глубже проникал в листву. Вот он осветил единственный пожелтевший листок, потом синицу, сидевшую на ветке боком к земле, потом дождевую каплю. Она дрожала и вот-вот готова была упасть.

– Костик, Глеб, вы слышите? – спросил снизу дядя Коля.

– А что?

– Журавли!

Мы прислушались. В туманной синеве слышались странные звуки, будто в небе переливалась вода.

## Маленькая порция яда

Иногда к дяде Коле приходил в гости сельский аптекарь. Звали его Лазарем Борисовичем.

Это был довольно странный, на наш взгляд, аптекарь. Он носил студенческую тужурку. На широком его носу едва держалось кривое пенсне на черной тесемочке. Аптекарь был низенький, коренастый, заросший до глаз бородой и очень язвительный.

Лазарь Борисович был родом из Витебска, учился когда-то в Харьковском университете, но курса не окончил. Сейчас он жил в сельской аптеке с сестрой-горбуньей. По нашим догадкам, аптекарь был причастен к революционному движению.

Он носил с собой брошюры Плеханова со множеством мест, жирно подчеркнутых красным и синим карандашом, с восклицательными и вопросительными знаками на полях.

По воскресеньям аптекарь забирался с этими брошюрами в глубину парка, расстилал на траве тужурку, ложился и читал, закинув ногу на ногу и покачивая толстым ботинком.

Как-то я пошел к Лазарю Борисовичу в аптеку за порошками для тети Маруси. У нее началась мигрень.

Мне нравилась аптека – чистенькая старая изба с половиками и геранью, фаянсовыми склянками на полках и запахом трав. Лазарь Борисович сам собирал их, сушил и делал из них настои.

Никогда я не встречал такого скрипучего дома, как аптека. Каждая половица скрипела на свой лад. Кроме того, пищали и скрипели все вещи: стулья, деревянный диван, полки и конторка, за которой Лазарь Борисович писал рецепты. Каждое движение аптекаря вызывало столько разнообразного скрипа, что казалось, в аптеке несколько скрипачей трут смычками по сухим перетянутым струнам.

Лазарь Борисович отлично разбирался в этих скрипах и улавливал самые тонкие их оттенки.

– Маня! – кричал он сестре. – Ты что же, не слышишь? Васька пошел на кухню. Там же рыба!

Васька был черный облезлый аптекарский кот.

Иногда аптекарь говорил нам, посетителям:

– Очень прошу вас, не садитесь на этот диван, иначе начнется такая музыка, что только останется сойти с ума.

Лазарь Борисович рассказывал, растирая в ступке порошки, что, слава богу, в сырую погоду аптека скрипит не так сильно, как в засуху. Ступка внезапно взвизгивала. Посетитель вздрагивал, а Лазарь Борисович говорил с торжеством:

– Ага! И у вас нервы! Поздравляю!

Сейчас, растирая порошки для тети Маруси, Лазарь Борисович издавал множество скрипов и говорил:

– Греческий мудрец Сократ был отравлен цикутой. Так! А этой цикуты здесь, на болоте около мельницы, целый лес. Предупреждаю – белые зонтичные цветы. Яд в корнях. Так! Но, между прочим, в маленьких дозах этот яд полезен. Я думаю, что каждому человеку следует иногда подсыпать в пищу маленькую порцию яда, чтобы его пробрало как следует и он пришел в себя.

– Вы верите в гомеопатию? – спросил я.

– В области психики – да! – решительно заявил Лазарь Борисович. – Не понимаете? Ну, давайте проверим на вас. Сделаем пробу.

Я согласился. Мне было интересно, что это за проба.

– Я тоже знаю, – сказал Лазарь Борисович, – что молодость имеет свои права, особенно когда юноша окончил гимназию и поступает в университет. Тогда в голове карусель. Но все-таки надо задуматься!

– Над чем?

– Как будто бы и думать вам не о чем! – сердито воскликнул Лазарь Борисович. – Вот вы начинаете жить. Так? Кем же вы будете, позвольте полюбопытствовать? И как вы предполагаете существовать? Неужели вам удастся все время веселиться, шутить и отмахиваться от трудных вопросов? Жизнь – это не каникулы, молодой человек. Нет! Я предсказываю вам – мы накануне больших событий. Да! Уверяю вас в этом. Хотя Николай Григорьевич насмешничает надо мной, но мы еще посмотрим, кто прав. Так вот, я интересуюсь: кем же вы будете?

– Я хочу... – начал я.

– Бросьте! – крикнул Лазарь Борисович. – Что вы мне скажете? Что вы хотите быть инженером, врачом, ученым или еще кем-нибудь. Это совершенно не важно.

– А это же важно?

– Спра-вед-ливость! – крикнул он. – Надо быть с народом. И за народ. Будьте кем хотите, хоть дантистом, но боритесь за хорошую жизнь для людей. Так?

– Но почему же вы это мне говорите?

– Почему? Вообще! Без всякой причины! Вы приятный юноша, но вы не любите размышлять. Я это давно заметил. Так вот, будьте любезнее – поразмышляйте!

– Я буду писателем, – сказал я и покраснел.

– Писателем? – Лазарь Борисович поправил пенсне и посмотрел на меня с грозным удивлением. – Хо-хо! Мало ли кто хочет быть писателем! Может быть, я тоже хочу быть Львом Николаевичем Толстым.

– Но я уже писал... и печатался.

– Тогда, – решительно сказал Лазарь Борисович, – будьте любезны подождать! Я отвешу порошки, провожу вас, и мы это выясним.

Он был, видимо, взволнован и, пока отвешивал порошки, два раза уронил пенсне.

Мы вышли и пошли через поле к реке, а оттуда к парку. Солнце опускалось к лесам по ту сторону реки. Лазарь Борисович срывал верхушки полыни, растирал их, нюхал пальцы и говорил:

– Это большое дело, но оно требует настоящего знания жизни. Так? А у вас его очень мало, чтобы не сказать, что его нет совершенно. Писатель! Он должен так много знать, что даже страшно подумать. Он должен все понимать! Он должен работать как вол и не гнаться за славой! Да! Вот! Одно могу вам сказать – идите в хаты, на ярмарки, на фабрики, в ночлежки. Кругом, всюду – в театры, в больницы, в шахты и тюрьмы. Так! Всюду. Чтобы жизнь пропитала вас, как спирт валерьянку! Чтобы получился настоящий настой. Тогда вы сможете отпускать его людям, как чудодейственный бальзам! Но тоже в известных дозах. Да!

Он еще долго говорил о призвании писателя. Мы попрощались около парка.

– Напрасно вы думаете, что я лоботряс, – сказал я.

– Ой нет! – воскликнул Лазарь Борисович и схватил меня за руку. – Я же рад. Вы видите. Но согласитесь, что я был немножко прав и теперь вы кое о чем подумаете. После моей маленькой порции яда. А?

Он заглядывал мне в глаза, не отпуская моей руки. Потом он вздохнул и ушел. Он шел по полям, низенький и косматый, и все так же срывал верхушки полыни. Потом он достал из кармана большой перочинный нож, присел на корточки и начал выкапывать из земли какую-то целебную траву.

Проба аптекаря удалась. Я понял, что почти ничего не знаю и еще не думал о многих важных вещах. Я принял совет этого смешного человека и вскоре ушел в люди, в ту житейскую школу, которую не заменят никакие книги и отвлеченные размышления.

Это было трудное и настоящее дело.

Молодость брала свое. Я не задумывался над тем, хватит ли у меня сил пройти эту школу. Я был уверен, что хватит.

Вечером мы все пошли на Меловую горку – крутой обрыв над рекой, заросший молодыми соснами. С Меловой горки открылась огромная осенняя теплая ночь.

Мы сели на краю обрыва. Шумела у плотины вода. Птицы возились в ветвях, устраивались на ночлег. Над лесом загорались зарницы. Тогда были видны тонкие, как дым, облака.

– Ты о чем думаешь, Костик? – спросил Глеб.

– Так... вообще...

Я думал, что никогда и никому не поверю, кто бы мне ни сказал, что эта жизнь, с ее любовью, стремлением к правде и счастьем, с ее зарницами и далеким шумом воды среди ночи, лишена смысла и разума. Каждый из нас должен бороться за утверждение этой жизни всюду и всегда – до конца своих дней.

1946

## Книга вторая Беспокойная юность

### «Здесь живет никто»

На дверях у профессора Гилярова была прибитая медная дощечка с надписью: «Здесь живет никто».

Гиляров читал студентам Киевского университета лекции по истории философии. Седой, небритый, в мешковатом люстриновом пиджаке, обсыпанном табачным пеплом, он торопливо подымался на кафедру, сжимал ее края жилистыми руками и начинал говорить – глухо, неразборчиво, будто нехотя.

За окнами аудитории горели позолотой и никак не могли догореть киевские сады.

Осень в Киеве всегда была затяжная. Южное лето накапливало в городских садах столько солнечного жара, зелени и запаха цветов, что ему было жаль расставаться с этим богатством и уступать место осени. Почти каждый год лето вмешивалось в распорядок дней и оттягивало свой уход.

Как только Гиляров начинал говорить, мы, студенты, уже ничего не замечали вокруг. Мы следили за неясным бормотаньем профессора, завороченные чудом человеческой мысли. Гиляров раскрывал ее перед нами неторопливо, почти сердясь. Великие эпохи перекликались одна с другой. Нас не оставляло ощущение, что поток человеческой мысли нельзя разъять на части, что почти невозможно проследить, где кончается философия и начинается поэзия, а где поэзия переходит в обыкновенную жизнь.

Иногда Гиляров вынимал из оттопыренного кармана пиджака томик стихов с оттиснутым на переплете филином – птицей мудрости – и отрывисто прочитывал несколько строк, скрепляя ими свои речи философа:

...Если б нынче свой путь  
Совершить наше солнце забыло, —  
Завтра целый бы мир озарила  
Мысль безумца какого-нибудь.

Изредка щетина на щеках у Гилярова топорщилась и прищуренные глаза смеялись. Так было, когда Гиляров произнес перед нами речь о познании самого себя. После этой речи у меня появилась вера в безграничную силу человеческого сознания.

Гиляров просто кричал на нас. Он приказывал нам не зарывать наших возможностей в землю. Надо чертовски трудиться над собой, извлекать из себя все, что в тебе заложено. Так опытный дирижер открывает в оркестре все звуки и заставляет самого упрямого оркестранта довести до полного выражения любой инструмент.

«Человек, – говорил Гиляров, – должен осмыслить, обогатить и украсить жизнь».

Идеализм Гилярова был окрашен горечью и постоянным сожалением об его постепенном закате. Среди многих выражений Гилярова мне запомнились слова «о последней вечерней заре идеализма и его предсмертных мыслях».

В этом старом профессоре, похожем внешне на Эмиля Золя, было много презрения к благополучному обывателю и либеральной интеллигенции того времени.

Это вязалось с медной дощечкой на его дверях о ничтожестве человека. Мы понимали, конечно, что дощечку эту Гиляров повесил назло своим благопристойным соседям.

Гиляров говорил об обогащении жизни человеком. Но мы не знали, каким образом добиться этого. Вскоре я пришел к выводу, что для этого нужно с наибольшей полнотой выразить себя в своей кровной связи с народом. Но как? В чем? Самым верным путем казалось мне писательство. Так родилась мысль о нем как об единственной моей жизненной дороге.

С тех пор началась моя взрослая жизнь, – часто трудная, реже – радостная, но всегда беспокойная и настолько разнообразная, что можно легко запутаться, вспоминая о ней.

Моя юность началась в последних классах гимназии и окончилась вместе с Первой мировой войной. Она окончилась, может быть, раньше, чем следовало. Но на долю моего поколения выпало столько войн, переворотов, испытаний, надежд, труда и радости, что всего этого хватило бы на несколько поколений наших предков.

За время, равное обращению Юпитера вокруг Солнца, мы пережили так много, что от одного воспоминания об этом сжимается сердце. Наши потомки будут, конечно, завидовать нам, участникам и свидетелям великих переломов в судьбе человечества.

Университет был средоточием передовой мысли в городе. Поначалу я, как и большинство новичков, дичился в университете и приходил в замешательство от встреч со старыми, особенно с «вечными студентами». Эти бородатые люди в потертых расстегнутых тужурках смотрели на нас, первокурсников, как на бессмысленных щенят.

Кроме того, после гимназии я долго не мог привыкнуть, что слушать лекции вовсе не обязательно и в часы университетских занятий можно безнаказанно сидеть дома над книгами или бродить по городу.

Постепенно я привык к университету и полюбил его. Но полюбил не лекции и профессоров (талантливых профессоров было немного), а самый характер студенческой жизни.

Лекции шли своим порядком в аудиториях, а студенческая – очень бурная и шумная – жизнь шла тоже своим порядком, независимо от лекций, в длинных и темных университетских коридорах.

В этих коридорах весь день кипели споры, шумели сходки, собирались землячества и фракции. Коридоры тонули в табачном дыму.

Впервые я узнал о резких неистовых противоречиях между большевиками и эсерами и меньшевиками, о бундовцах, дашнаках, «щирых» украинцах и партии «Паолей Цион». Но случалось, что представители всех этих партий объединялись против одного общего врага – студентов-«белоподкладочников», членов черносотенного Академического союза. Схватки с «белоподкладочниками» сплошь и рядом доходили до рукопашной, особенно когда в дело вмешивалось «Кавказское землячество».

В кипении этих страстей уже чувствовалось приближение каких-то новых времен. И странным казалось, что тут же, в нескольких шагах, за дверями аудиторий, почтенные и седовласые профессора читают в скучноватой тишине лекции о торговых обычаях в ганзейских городах или сравнительном языкознании.

В те годы, перед Первой мировой войной, многие предчувствовали приближение грозы, но не могли предвидеть, с какой силой она обрушится на землю. Как перед грозой, было душно в России и в мире. Но гром еще не докатывался, и это успокаивало недалековидных людей.

Тревожные гудки в утренней мгле на окраинах Киева, когда бастовали заводы, аресты и ссылки, сотни прокламаций – все это были зарницы далекой грозы. Только чуткий слух мог уловить за ними ворчание грома. И потому первый его оглушительный удар летом 1914 года, когда началась мировая война, ошеломил всех.

Мы, гимназисты, когда вышли из гимназии, тотчас растеряли друг друга, хотя и поклялись никогда не делать этого. Накатилась война, потом пришла революция, и с тех пор я больше не встречал почти никого из своих однокашников. Где-то пропали весельчак Станишевский, доморощенный философ Фицовский, сдержанный Шмуклер, медлительный Матусевич и быстрый, как птица, Булгаков.



Я жил в Киеве один. Мама с сестрой Галей и братом Димой, студентом Технологического института, были в Москве. А старший брат Боря хотя и жил в Киеве, но мы с ним почти не встречались.

Боря женился на низкорослой пухлой женщине. Она носила фиолетовые японские кимоно с вышитыми журавлями. Все дни Боря просиживал над чертежами бетонных мостов. В его темной комнате, оклеенной обоями под дубовое дерево, пахло фиксатуаром. Ноги прилипали к крашеным полам. Фотографии всемирной красавицы Лины Кавальери были приколоты заржавленными кнопками к стене.

Боря не одобрял моего увлечения философией и литературой. «Надо пробивать дорогу в жизни, – говорил он. – Ты фантазер. Такой же, как папа. Развлекать людей – это не дело».

Он считал, что литература существует для развлечения людей. Я не хотел с ним спорить. Свою привязанность к литературе я оберегал от недоброго глаза. Поэтому я перестал ходить к Боре.

Я жил у бабушки на зеленой окраине Киева, Лукьяновке, во флигеле в глубине сада. Моя комната была заставлена вазонами с фуксией. Я занимался только тем, что читал до изнеможения. Чтобы отдышаться, я выходил по вечерам в сад. Там стоял резкий осенний воздух и горело над облетелыми ветками звездное небо.

Бабушка сначала сердилась и зазывала меня домой, но потом привыкла и оставила меня в покое. Она только говорила, что я провожу время без всякого «сенса», иначе говоря – без смысла, и все это окончится скоротечной чахоткой.

Но что могла поделаться бабушка с моими новыми друзьями? Что бабушка могла возразить Пушкину или Гейне, Фету или Леконту де Лилю, Диккенсу или Лермонтову?

В конце концов бабушка махнула на меня рукой. Она зажигала у себя в комнате лампу с розовым стеклянным абажуром в виде большого тюльпана и погружалась в чтение бесконечных польских романов Крашевского. А я вспоминал стихи о том, что «в небе, как зов задушевный, мерцают звезд золотые ресницы». И земля казалась мне хранилищем многих драгоценностей, таких как эти золотые ресницы звезд. Я верил, что жизнь готовит мне много очарований, встреч, любви и печали, радости и потрясений, и в этом предчувствии было великое счастье моей юности. Сбылось ли это, покажет будущее.

А сейчас, как говорили в старинных театрах актеры, выходя к зрителям перед спектаклем: «Мы представим вам разные житейские случаи и постараемся заставить вас поразмышлять над ними, поплакать и посмеяться».

## Небывалая осень

Я ехал из Киева в Москву в тесной каморке вагонного отопления. Нас было трое пассажиров – пожилой землемер, молодая женщина в белом оренбургском платке и я.

Женщина сидела на холодной чугунной печурке, а мы с землемером по очереди отсиживались на полу – вдвоем поместиться там было нельзя.

Мелкий уголь хрустел под ногами. От него белый платок женщины вскоре сделался серым. За наглухо забитым окном – тоже серым, в высохших потеках от дождевых капель – ничего нельзя было разобрать. Только где-то под Сухиничами я увидел и запомнил огромный, во все небо, кровавый закат.

Землемер посмотрел на закат и сказал, что там, на границах, уже, должно быть, дерутся с немцами. Женщина прижала платок к лицу и заплакала: она ехала в Тверь к мужу и не знала, застанет ли мужа там, или его уже отправили на передовые позиции.

Я ехал попрощаться с братом Димой в Москву, его тоже призвали в армию. Меня в армию не взяли из-за сильной близорукости. Кроме того, я был младшим сыном в семье и студентом, а по тогдашним законам младшие сыновья, равно как и студенты, освобождались от военной службы.

Выйти из отопления на площадку вагона было почти невозможно. Мобилизованные впопалку лежали на крышах, висели на буферах и ступеньках. Станции встречали нас протяжным воем женщин, ревом гармошек, свистом и песнями. Поезд останавливался и тотчас прирастал к рельсам. Только два паровоза могли стронуть его, и то – тяжелым рывком.

Россия сдвинулась с места. Война, как подземный толчок, сорвала ее с оснований. По тысячам сел тревожно били колокола, возвещая мобилизацию. Тысячи крестьянских лошадей везли к железным дорогам призывников из самых глухих углов страны. Враг вторгся в страну с запада, но мощный людской вал покатился навстречу ему с востока.

Вся страна превратилась в военный лагерь. Жизнь смешалась. Все привычное и устоявшееся мгновенно исчезло.

За долгую дорогу до Москвы мы втроем съели только одну окаменелую булку с изюмом и выпили бутылку мутной воды.

Поэтому, должно быть, воздух Москвы, когда я утром вышел из вагона на сырую платформу Брянского вокзала, показался мне душистым и легким. Кончалось лето 1914 года – грозное и тревожное лето войны, и в московском воздухе уже пробивались сладковатые и прохладные запахи осени – вялых листьев и застоялых прудов.

Мама жила в то время в Москве, как раз вблизи такого пруда на Большой Пресне. Окна квартиры выходили в Зоологический сад. Были видны красные кирпичные брандмауэры пресненских домов, избитые снарядами еще во времена декабрьского восстания пятого года, пустые дорожки Зоологического сада и большой пруд с черной водой. В полосах солнца прудовая вода отливала зеленоватым цветом тины.

Я никогда еще не видел квартиры, которая так вязалась бы с характером людей и с их жизнью, как мамина квартира на Пресне. Она была пустая, почти без мебели, если не считать кухонных столов и нескольких скрипучих венских стульев. В комнаты падала тень от старых почерневших деревьев, и потому в квартире всегда было сумрачно и холодно. Серые и липкие клеенки на столах были тоже холодные.

У мамы появилось пристрастие к клеенкам. Они заменяли прежние скатерти и настойчиво напоминали о бедности, о том, что мама бьется изо всех сил, чтобы хоть как-нибудь поддерживать порядок и чистоту. Иначе она не могла бы жить.

Дома я застал только маму и Галю. Дима уехал в Граворново на полигон обучать стрельбе запасных солдат.

Лицо у мамы за те два года, что я ее не видел, сморщилось, пожелтело, но тонкие губы были по-прежнему крепко сжаты, будто мама давала понять окружающим, что она никогда не сдастся перед жизнью, перед происками мелких недоброжелателей и выйдет из всех передрыг победительницей.

А Галя, как всегда, бесцельно бродила по комнатам, натыкалась по близорукости на стулья и расспрашивала меня о всяких пустяках – сколько теперь стоит билет от Киева до Москвы и остались ли еще на вокзалах носильщики, или их всех угнали на войну.

В этот приезд мама показалась мне спокойнее, чем раньше. Этого я не ожидал. Я не мог понять, откуда взялось это спокойствие в дни войны, когда Диму со дня на день могут отправить на фронт. Но мама сама выдала свои мысли.

– Сейчас нам, Костик, – сказала она, – гораздо легче. Дима прапорщик, офицер. Получает хорошее жалованье. Теперь я не боюсь, что завтра будет нечем заплатить за квартиру.

Она беспокойно посмотрела на меня и добавила:

– На войне тоже не всех убивают. Я уверена, что Диму оставят в тылу. Он на хорошем счету у начальства.

Я согласился, что действительно на войне не всех убивают. Нельзя было отнимать у нее это шаткое утешение.

Глядя на маму, я понял, что значит тягость повседневного незащитного существования и как нужен человеку надежный кров и кусок хлеба. Но мне стало не по себе от мысли, что она счастлива этим жалким благополучием, возникшим в семье за счет опасности для ее сына. Не может быть, чтобы она не сознавала этой опасности. Она просто старалась не думать о ней.

Вернулся Дима – загорелый, очень уверенный в себе. Он отстегнул и повесил в передней свою новенькую шашку с золоченым эфесом. Вечером, когда в передней зажгли электрическую лампочку, эфес заблестел, как единственная нарядная вещь в маминой убогой квартире.

Мама успела мне рассказать, что женитьба Димы на Маргарите расстроилась, так как Маргарита оказалась, по маминому выражению, «весьма неприятной особой». Я промолчал.

Через несколько дней Дима получил назначение в Навагинский пехотный полк. Дима собрался и уехал так быстро, что мама не успела опомниться. Только на второй день после его отъезда она впервые заплакала.

Димин эшелон грузился на запасных путях Брестского вокзала. Был ветреный день, нагоняющий скуку, – обыденный день с желтой пылью и низким небом. Всегда кажется, что в такие дни не может случиться ничего особенного.

Прощание с Димой было под стать этому дню. Дима распоряжался погрузкой эшелона. Он разговаривал с нами урывками и попрощался наспех, когда эшелон уже тронулся. Он догнал свой вагон, вскочил на ходу на подножку, но тотчас его закрыл встречный поезд. Когда поезда разошлись, Диму уже не было видно.

После отъезда Димы я перевелся из Киевского в Московский университет. Димину комнату мама сдала инженеру московского трамвая Захарову. До сих пор я не понимаю, что могло понравиться Захарову в нашей квартире.

Захаров учился в Бельгии, много лет прожил в Брюсселе и незадолго до Первой мировой войны вернулся в Россию. Это был веселый холостяк с седеющей подстриженной бородкой. Он носил просторные заграничные костюмы и пронзительные очки. Весь стол в своей комнате Захаров завалил книгами. Но среди них я не нашел почти ни одной технической. Больше всего было мемуаров, романов и сборников «Знания».

У Захарова я впервые увидел на столе французские издания Верхарна, Метерлинка и Роденбаха.

В то лето все восхищались Бельгией – маленькой страной, принявшей первый удар немецких армий. Всюду пели песню о защитниках осажденного Льежа.

Бельгия была разбита вдребезги в два-три дня. Над ней сиял ореол мученичества. Готические кружева ее ратуш и соборов обрушились и перетерлись в пыль под сапогами немецких солдат и коваными колесами пушек.

Я читал Верхарна, Метерлинка, Роденбаха, стараясь найти в книгах этих бельгийцев разгадку мужества их соотечественников. Но я не находил этой разгадки ни в сложных верхарновских стихах, отрицавших старый мир, как великое зло, ни в мертвых и хрупких, как цветы подо льдом, романах Роденбаха, ни в пьесах Метерлинка, написанных как бы во сне.

Однажды я встретил Захарова на Тверском бульваре. Он взял меня под руку и начал говорить о войне, о потрясенной культуре, о Бельгии. Говорил он с легким французским акцентом.

Великолепная осень стояла в те дни над Москвой. Деревья роняли золоченую листву на стволы орудий. Орудия и зарядные ящики стояли серыми шеренгами вдоль московских бульваров, дожидаясь отправки на фронт.

Прозрачное, небывало густое и синее небо – дорога перелетных стай – простиралось над городом в сиянии тускнеющего солнца. И все сыпалась и сыпалась листва, заваливала крыши, тротуары, мостовые, шуршала под метлами дворников, под ногами прохожих, как бы стараясь напомнить людям, что вокруг них все еще существует забытая ими земля, что, может быть, ради этой земли, ради слабого блеска сентябрьской паутины, ради ясности сухих и прохладных горизонтов, ради затишливых вод, вздрагивающих от упавшего с дерева кусочка коры, ради запаха желтеющей ракиты, ради всей этой шелестящей, необыкновенно прекрасной России, ради ее деревень, ее изб, курящихся молочным дымом соломы, синеватых речных туманов, ее прошлого и будущего, – ради всего этого все честные люди всего мира огромным совместным усилием остановят эту войну.

Я понимал, конечно, что надеяться на это нельзя, что все эти мысли, как любил говорить Боря, «сплошное донкихотство» и что поднявший меч на наш народ и его культуру, может быть, от этого меча и погибнет, но никогда добровольно не вложит его в ножны.

Война накатывалась все ближе своим неотвратимым ходом. Казалось, дым ее пожаров уже заволакивал небо Москвы. Потом мы узнали, что это был действительно дым пожаров, но только лесных, – под Тверью горели леса и сухие болота.

Утром я просыпался у себя в комнате – я спал на полу – и смотрел за окно. В небе пролетали листья и, качаясь, опускались на землю. Рама окна скрывала их от меня, и мне не удавалось проследить, куда они падают.

Я не мог избавиться от мысли, что этот медленный и долгий – изо дня в день – полет листьев, может быть, последний в моей жизни. И все казалось, что листья летят с запада на восток, спасаясь от войны.

Мне не стыдно сейчас сознаться в этих мыслях, – я был очень молод. Все окружающее было наводнено до краев лирической силой, исходившей, вероятно, от меня самого. Я же думал тогда, что такова сущность жизни.

– Так вот, мой друг, – сказал мне Захаров, – не пора ли вам бросить слоняться по окрестностям Москвы в вашем туманном состоянии. За эту неделю, как передавала мне Мария Григорьевна, вы уже успели смотаться в Архангельское и Останкино.

Слово «смотаться» Захаров сказал с особенным вкусом. Так он произносил все неприличные еще для него русские слова.

– Да, я был и в Архангельском, и в Останкине, – сознался я. – О каком таком туманном состоянии вы говорите?

Захаров усмехнулся:

– Вы ведете тебя так, будто мир существует только для того, чтобы наполнять нас интересными мыслями.

– Ну и что ж? – спросил я резко. Я начинал сердиться. Почему все, будто сговорившись, обвиняют меня в несерьезном, в мальчишеском отношении к жизни?

– Просто вы начитались до отрывки современных поэтов, – сказал примирительно Захаров и с удовольствием повторил: – До отрывки.

– Если судить по вашим книгам, вы тоже предпочитаете художественную литературу трамваю.

– Дело в том, – объяснил Захаров, – что Бельгия – классическая страна трамваев. И мистической поэзии. Меня выслали за границу еще гимназистом. Я попал в Бельгию, прижился там и окончил инженерный институт в Льеже. Но дело не в этом. Дело в войне. Вот, извольте!

Со стороны Страстной площади долетала музыка походного марша и гремело заглушенное протяжное «ура». Там выстроились перед отправкой на фронт запасные батальоны.

– Я только что был там, на площади, – добавил Захаров. – Я очень забыл Россию. Не по своей вине. Так вот, я протискался в первые ряды, чтобы посмотреть на солдат. От них сильно пахло хлебом. Удивительный запах! Услышишь его – и почему-то веришь, что русскому народу никто не сломит шею.

– А Бельгия? – спросил я.

– Что Бельгия? Я вас не понимаю.

Я усмехнулся и сказал первое, что пришло мне в голову:

– Почему бельгийцы так отчаянно дрались с немцами?

– О-ля-ля! – пропел Захаров. – Маленький народ живет памятью о прошлом величии. За это я его уважаю. Вот Метерлинк. Мистический поэт с туманными зрачками и туманными мыслями. Старый католический Бог его раздражает. Он просто груб для такой утонченной натуры, как Метерлинк. Поэтому он заменяет Бога потусторонним миром, – это, конечно, несколько современнее и поэтичнее. Это более сильная отравка, чем религия. Все это так. Но, кроме того, Метерлинк – гражданин. Таково воспитание. Таковы традиции. Как гражданин, он берет своими мистическими пальцами винтовку и стреляет из нее так же хорошо, как любой королевский стрелок. Никому нет дела до расплывчатых мыслей Метерлинка-поэта. Но всем есть дело до Метерлинка-гражданина. Поэтому никто не вмешивается в его поэзию. Такова Бельгия. Да что говорить! Страна хорошая. Морской ветер продувает ее насквозь, и она полна веселых людей. Умеющих, кстати, работать. Что вы еще хотите знать о Бельгии? Пока ничего. Ну что ж, покончим с Бельгией и поговорим о более существенных для вас вещах.

Более существенной вещью для меня оказалось следующее: Захаров предложил устроить меня вожатым на московский трамвай. Дело в том, объяснил он, что почти всех вожатых и кондукторов взяли в армию. Нельзя оставлять огромный город во время войны без трамвая. Сейчас как раз идет набор новых вожатых и кондукторов.

Я опешил. Слишком резок был переход от Метерлинка к вожатому трамвая.

С гимназических лет я настойчиво думал о писательстве. Все перемены в жизни казались мне подготовительной школой для этого. Надо входить в жизнь, не брезгать ничем, – только так может накопиться жизненный опыт, создаться та кладовая, откуда я буду брать пригоршнями мысли, сюжеты, образы и слова.

К тому же я понимал, что сейчас нельзя уезжать от мамы. Надо побыть с ней и помочь ей. А здесь заработок сам шел в руки. И я согласился.

Когда я сказал маме и Гале, что поступаю вожатым на трамвай, мама только вздохнула и заметила, что она никогда не стыдилась никакой работы и приучила к этому и нас. А Галя начала волноваться – не убьет ли меня током.

– Я где-то читала, – испуганно сказала она, – про слона из цирка. Его сожгло трамвайным током. Может это быть или нет?

Я ответил, что все это чепуха.

Мне не сиделось дома, и я пошел в трактир на Кудринской улице. Он курился чайным паром.

Развязно, позванивая литаврами и бубенцами, гремел механический орган – трактирная «машина»:

Вот мчится тройка удалая  
По Волге-матушке зимой...

За соседним столиком старый человек с поднятым воротником пиджака что-то писал, непрерывно макая перо в чернильницу и снимая с него волоски.

Мне захотелось написать кому-нибудь из близких, из друзей о себе, о том, что жизнь переломилась и я буду работать водителем на трамвае, но я тут же вспомнил, что писать мне совершенно некому.

Ямщик умолк, и кнут ременный  
Повис в опущенной руке, —

гремела «машина», и в ответ ей звенели пустые стаканы.

## Медная линия

Меня приняли вожатым в Миусский трамвайный парк. Но вожатым я работал недолго. Меня вскоре перевели в кондукторы.

Миусский парк помещался на Лесной улице, в красных, почерневших от копоти кирпичных корпусах. Со времен моего кондукторства я не люблю Лесную улицу. До сих пор она мне кажется самой пыльной и бестолковой улицей в Москве.

Воспоминание о ней связано со скрежетом трамваев, выползающих на рассвете из железных ворот парка, с тяжелой кондукторской сумкой, натиравшей плечо, и с кислым запахом меди. Руки у нас, кондукторов, всегда были зелеными от медных денег. Особенно если мы работали на «медной линии».

«Медной линией» называлась линия «Б», проходившая по Садовому кольцу. Кондукторы не любили эту линию, хотя москвичи и называли ее с умилением «Букашкой». Мы предпочитали работать на «серебряной» линии «А» – на Бульварном кольце. Эту линию москвичи называли тоже ласково «Аннушкой». Против этого ничего возразить было нельзя, но называть «Букашкой» линию «Б» было просто нелепо.

Проходила она около многолюдных вокзальных площадей, по пыльным обочинам Москвы. Вагоны на линии «Б» были с прицепами. В прицепы разрешалось садиться с тяжелыми вещами. Пассажир на этой линии был больше с окраин – ремесленники, огородники, молочницы. Расплачивался этот пассажир медяками, серебро же припрятывал и не очень охотно вытаскивал его из своих кошель и карманов. Поэтому эта линия и называлась «медной».

Линия же «А» была нарядная, театральная и магазинная. По ней ходили только моторные вагоны, и пассажир был иной, чем на линии «Б», – интеллигентный и чиновный. Расплачивался такой пассажир обыкновенно серебром и бумажками.

За открытыми окнами вагона линии «А» шумели листвою бульвары. Вагон медленно кружился по Москве – мимо усталого Гоголя, спокойного Пушкина, мимо Трубного рынка, где никогда не умолкал птичий свист, мимо кремлевских башен, златоглавой громады храма Христа Спасителя и горбатых мостов через обмелевшую Москву-реку.

Мы выводили вагоны на линию ранним утром, а возвращались в парк в час ночи, а то и позже. В парке надо было сдать выручку артельщику. Только после этого я мог уйти домой и медленно брел по ночной Москве, по Грузинам с пустой сумкой на плече. Никелированная бляха с кондукторским номером поблескивала на моей куртке в зеленом свете газовых фонарей. В то время электрические фонари горели только на главных улицах.

Вначале я долго возился ночью с подсчетом мелочи, но потом старый кондуктор Бабаев – мой наставник – научил меня, как избавляться от нее. С тех пор я начал привозить в парк только крупные бумажные деньги и немного серебра.

Прием был простой. Часа за два до возвращения в парк мы начинали безбожно спускать мелочь – сдавали сдачу с рубля одними медяками, а с трех рублей – одним серебром. Пассажиры иногда начинали ругаться. В этом случае мы тотчас уступали, чтобы не было лишней трамвайной распри. Такова была житейская мудрость Бабаева.

– Нынче пассажир, – говорил Бабаев, – слабонервный. Приходится делать ему послабление. Надо иметь благорасположение к пассажиру, а кой-кого даже и провезти бесплатно. Я, к примеру, по тому, как человек лезет в вагон, уже знаю, что он хочет проехать без билета. По выражению лица. Видишь, что человеку надо ехать, а он от тебя по вагону прячется, – значит у него в кармане шиш. Так ты к такому пассажиру с билетом не приставай. Делай вид, будто ты ему билет уже выдал и даже с соответствующим надрывом. На каждом поприще надо про-

являть снисхождение к людям, а в нашей кондукторской службе – особенно. Мы имеем дело со всей Москвой. А в Москве горя людского как песка морского.

Бабаев обучил меня всем нехитрым тонкостям кондукторской службы – как надрывать билеты, какого цвета билеты соответствуют каждому дню недели (чтобы пассажиры не ездили со вчерашними билетами вместо сегодняшних), как сдавать вагон смотрителю парка, в каких местах города пассажиры чаще всего вскакивают на ходу и потому надо быть настороже, чтобы остановить вагон в случае какого-либо несчастья.

Бабаев обучал меня десять дней. После этого я держал экзамен на кондуктора. Самым трудным был экзамен на знание Москвы. Нужно было знать все площади города, улицы и переулки, все театры, вокзалы, церкви и рынки. И не только знать их по названиям, но и рассказать, как к ним проехать. В этом отношении тягаться с кондукторами могли только московские извозчики.

Трамвайной своей службе я обязан тем, что хорошо изучил Москву, этот беспорядочный и многоликий город со всеми его Зацепами, Стромынками, трактирами, Ножевскими линиями, Божедомками, больницами, Ленинками, Анненгофскими рощами, Язунами, вдовьими домами, слободами и Крестовскими башнями.

Экзаменовал нас на знание Москвы едкий старичок в длинном пиджаке. Он прихлебывал из стакана холодный чай и ласково спрашивал:

– Как бы покороче, батенька мой, проехать мне из Марьиной рощи в Хамовники? А? Не знаете? Кстати, откуда это взялось название такое пренебрежительное – Хамовники?! Хамством Москва не славилась. За что же ей, первопрестольной, такой срам?!

Старичок свирепо придирался к нам. Половина кондукторов на его экзамене провалилась.

Провалившиеся ходили жаловаться главному инженеру трамвая Поливанову, великолепно выбритому, подчеркнуто учтивому человеку. Поливанов, склонив голову с седым пробором, ответил, что знание Москвы – одна из основ кондукторской службы.

– Кондуктор, – сказал он, – не только одушевленный прибор для выдачи билетов, но и проводник по Москве. Город велик. Ни один старожил не знает его во всех частях. Представьте, какая путаница произойдет с пассажирами трамвая, особенно с провинциалами, если никто не сможет помочь им разобраться в этом хитросплетении тупиков, застав и церквей.

Вскоре я убедился, что Поливанов был прав.

Меня назначили на линию № 8 – проклятую вокзальную линию, считавшуюся еще хуже, чем «Б». Линия эта соединяла Брестский вокзал с Каланчевской площадью, с ее тремя вокзалами – Николаевским, Ярославским и Казанским. Проходила восьмая линия через Сухаревскую площадь и по обоим Божедомкам.

Часто случалось, что у Ярославского вокзала вагон, как говорили кондукторы, «попадал под поезд» из Троице-Сергиевской лавры. В трамвай набивались богомолки-салопницы. Пробирались они в разные московские церкви, города не знали, были бестолковы, как куры, и всего боялись.

И вот изо дня в день происходила одна и та же канитель: одной салопнице надо было к «Николе на курьих ножках», другой – к Троице-Капелькам, третьей – к Георгию на Всполье. Нужно было терпеливо объяснять им, как проехать к этим церквям, после чего старухи вытаскивали из карманов в нижних юбках платки с завязанными по уголкам деньгами. В одном уголке были копейки, в другом – семишники, в третьем – пятикопеечные монеты.

Салопницы долго развязывали зубами тугие узелки и скупой отсчитывали деньги. Впопыхах салопницы часто ошибались и развязывали не тот узелок. Тогда они снова затягивали его зубами и начинали развязывать другой.



Для нас, кондукторов, это было несчастьем. До Красных ворот мы должны были раздать все билеты. Старухи нас задерживали, билеты выдавать мы не успевали, а у Красных ворот нас подкарауливал сутяга-контролер и штрафовал за медленную работу.

Однажды Бабаев затащил меня к себе. Жил он с дочерью в покосившемся домишке у Павелецкого вокзала. Дочь его работала белошвейкой.

– Вот, Саня, – бодро крикнул с порога Бабаев, – привел тебе жениха!

Саня зашумела за перегородкой коленкором, но не вышла.

В низкой комнате висело несколько клеток, закрытых газетами. Бабаев снял газеты. В клетках тотчас запрыгали и запели канарейки.

– Я с канарейками отдыхаю от людского племени, – объяснил Бабаев. – Нас, кондукторов, пассажир не стесняется. Выказывает себя перед нами в наихудшем виде. Отсюда, понятно, и точка зрения у нас на человека подозрительная.

Бабаев был прав. Непонятно почему, но нигде человек не вел себя так грубо, как в трамвае. Даже учтивые люди, попав в трамвай, заражались сварливостью.

Сначала это удивляло, потом начало раздражать, но в конце концов стало так угнетающе действовать, что я ждал только случая, чтобы бросить трамвайную работу и вернуть себе прежнее расположение к людям.

Вошла Саня, костлявая девица, молча поздоровалась, поставила на стол граммофон с красной трубой, завела его, ушла и больше не появлялась. Граммофон запел арию из «Риго-летто»: «Если красавица в любви клянется, кто ей поверит, тот ошибется». Канарейки тотчас замолкли и начали прислушиваться.

– Граммофон я держу для канареек, – объяснил Бабаев. – Обучаю их пению. Очень перемчивая птица.

Бабаев рассказал, что у канареечников есть в Москве свой трактир, куда они приносят по воскресеньям канареек и устраивают соревнования. Собираются послушать эти канареечные концерты большие любители. Были однажды даже Шаляпин и миллионер Мамонтов. Люди, конечно, видные, знаменитые, но в канареечной пении они не разбирались, можно сказать, ни черта не понимали и цены канарейкам не знали. Хотели купить двух канареек за большие деньги. Но канареечники, хоть и с извинениями, продать отказались, – нет смысла отдавать птицу в неопытные руки. Испортить ее ничего не стоит, а труд на нее положен большой. И канарейка к тому же не игрушка, она требует правильного обращения. Так Шаляпин с Мамонтовым и ушли ни с чем. Шаляпин напоследок как грянул басом, со зла должно быть, «Как король шел на войну», так все канареечники кинулись птичек своих уносить из трактира, – канарейка существо нервное, ее напугаешь – она петь совершенно бросит, и тогда грош ей цена.

Сухая осень сменилась обложными дождями. Это было, пожалуй, самое трудное время для кондукторов. Сквозняки в вагонах, липкая грязь на полах, засыпанных обрывками билетов, прелый запах мокрой одежды и слезящиеся окна, – за ними ползли вереницы темных деревянных домишек и исхлестанные дождем вывески оптовых складов.

В такие дни кондукторов раздражало все, в особенности дурацкая привычка пассажиров налеплять на окна старые раскисшие билеты и рисовать пальцем на потном стекле носатые рожи.

Вагон трамвая становился похожим на измызганное общежитие, где переругиваются случайные жильцы – пассажиры. Москва как бы съеживалась, пряталась под черные зонты и поднятые воротники пальто. Улицы пустели. Одна только Сухаревка шумела и ходила, как море, тусклыми человеческими волнами.

Трамвай с трудом продирался сквозь крикливые толпы покупателей, перекупщиков и продавцов. У самых колес зловеще шипели граммофоны, и Вяльцева зазывно пела: «Гайда,

тройка, снег пушистый, ночь морозная кругом!» Голос ее заглушали примусы. Они нетерпеливо рвались в небо синим свистящим пламенем. Победный их рев перекрывал все звуки.

Звенели отсыревшие мандолины. Резиновые чертенята с пунцовыми анилиновыми щеками умирали с пронзительным воплем: «Уйди, уйди!» Ворчали на огромных сковородах олады. Пахло навозом, бараниной, сеном, щепным товаром. Охрипшие люди с наигранной яростью били друг друга по рукам.

Гремели дроги. Лошадиные потные морды лезли на площадку вагона, дышали густым паром.

Фокусники-китайцы, сидя на корточках на мостовой, покрикивали фальцетом: «Фу-фу, чуди-чудеса!» Надтреснуто звонили в церквах, а из-под черных ворот Сухаревой башни рыдающий женский голос кричал: «Положи свою бледную руку на мою исхудалую грудь».

Карманные воры с перекинутыми через руку брюками, вынесенными якобы для продажи, шныряли повсюду. Глаз у них был быстрый, уклончивый. Соловьями заливались полицейские свистки. Тяжело хлопая крыльями, взлетали в мутное небо облезлые голуби, выпущенные из-за пазухи мальчишками.

Невозможно рассказать об этом исполинском московском торжище, раскинувшемся почти от Самотеки до Красных ворот. Там можно было купить все – от трехколесного велосипеда и иконы до сиамского петуха и от тамбовской ветчины до моченой морошки. Но все это было с червоточиной, с изъязном, со ржавчиной или с духом.

Это было всероссийское скопище нищих, бродяг, жуликов, воров, маклаков – людей скудной и увертливой жизни. Воздух Сухаревки, казалось, был полон только одним – мечтой о легкой наживе и куске студня из телячьих ножек.

То было немыслимое смешение людей всех времен и состояний – от юродивого с запавшими глазами, гремящего ржавыми веригами, который ловчится проехать на трамвае без билета, до поэта с козлиной бородкой в зеленой велюровой шляпе, от толстовцев, сердито месивших красными босыми ногами сухаревскую грязь, до затянутых в корсеты дам, что пробирались по этой же грязи, приподымая тяжелые юбки.

Однажды в дождливый темный день в мой вагон вошел на Екатерининской площади пассажир в черной шляпе, наглухо застегнутом пальто и коричневых лайковых перчатках. Длинное, выхоленное его лицо выражало каменное равнодушие к московской слякоти, трамвайным перебранкам, ко мне и ко всему на свете. Но он был очень учтив, этот человек, – получив билет, он даже приподнял шляпу и поблагодарил меня. Пассажиры тотчас онемели и с враждебным любопытством начали рассматривать этого странного человека. Когда он сошел у Красных ворот, весь вагон начал изощряться в насмешках над ним. Его обзывали «актером погорелого театра» и «фон-бароном». Меня тоже заинтересовал этот пассажир, его надменный и вместе с тем застенчивый взгляд, явное смешение в нем подчеркнутой изысканности с провинциальной напыщенностью.

Через несколько дней я освободился вечером от работы и пошел в Политехнический музей на поэзоконцерт Игоря Северянина.

«Каково же было мое удивление», как писали старомодные литераторы, когда на эстраду вышел мой пассажир в черном сюртуке, прислонился к стене и, опустив глаза, долго ждал, пока не затихнут восторженные выкрики и аплодисменты.

К его ногам бросали цветы – темные розы. Но он стоял все так же неподвижно и не поднял ни одного цветка. Потом он сделал шаг вперед, зал затих, и я услышал чуть картавое пение очень салонных и музыкальных стихов:

Шампанское – в лилию, в шампанское – лилию!  
Ее целомудрием святеет оно!  
Миньон с Эскамильо, Миньон с Эскамильо!

### Шампанское в лилии – святое вино!

В этом была своя магия, в этом пении стихов, где мелодия извлекалась из слов, не имевших смысла. Язык существовал только как музыка. Больше от него ничего не требовалось. Человеческая мысль превращалась в поблескивание стекла, шуршание надутых перьев, шелка, в страусовые перья вееров и пену шампанского.

Было дико и странно слышать эти слова в те дни, когда тысячи русских крестьян лежали в залитых дождями окопах и отбивали сосредоточенным винтовочным огнем продвижение немецкой армии. А в это время бывший реалист из Череповца, Лотарев, он же «гений» Игорь Северянин, выпевал, грациозно, стихи о бударе тоскующей Нелли.

Потом он спохватился и начал петь жеманные стихи о войне, о том, что, если погибнет последний русский полководец, придет очередь и для него, Северянина, и тогда, «ваш нежный, ваш единственный, я поведу вас на Берлин».

Сила жизни такова, что переламывает самых фальшивых людей, если в них живет хотя бы капля поэзии. А в Северянине был ее непотоптанный край. С годами он начал сбрасывать с себя мишуру, голос его звучал человечнее. В стихи его вошел чистый воздух наших полей, «ветер над раздольем нив», и изысканность сменилась лирической простотой: «Какою нежностью неизъяснимою, какой сердечностью осветозарено и олазорено лицо твое».

Мне редко удавалось освободиться по вечерам. Все дни и часть ночи проходили в изнурительной работе, всегда на ногах, в скрежете, спешке, и я, так же как и все кондукторы, очень уставал от этого. Когда мы слишком уж изматывались, то просили у нашего трамвайного начальства перевести нас на несколько дней на «паровичок» – паровой трамвай. Он ходил от Савеловского вокзала в Петровско-Разумовскую сельскохозяйственную академию. Это была самая легкая, а на кондукторском языке – самая «дачная» линия в Москве.

Маленький паровоз, похожий на самовар, был вместе с трубой запрятан в коробку из железа. Он выдавал себя только детским свистом и клубами пара. Паровоз тащил четыре дачных вагона. Они освещались по вечерам свечами, электричества на «паровичке» не было.

Я работал на этой линии осенью. Быстро раздав билеты, я сел на открытой площадке и погружался без всяких мыслей в шелест осени, мчавшейся по сторонам «паровичка». Березовые и осиновые рощи хлестали в лицо сыростью перестоявшего листа.

Потом рощи кончались, и впереди вспыхивал всеми красками увядания великолепный парк академии. Золотое молчание стояло в нем. Громады лип и кленов, переплетаясь с лимонной бледностью осин, открывались перед глазами, как преддверие пышного и тихого края. Там осень по разнообразию и обдуманности раскраски была подчинена воле и таланту человека. Этот парк был насажен знаменитыми нашими ботаниками, мастерами садового искусства.

С детских лет одна страсть завладела мной – любовь к природе. Временами она приобретала такую остроту, что пугала моих близких. Когда я возвращался осенью в гимназию из Брянских лесов или из Крыма, у меня начиналась жестокая тоска по прожитому лету. Я худел на глазах и не спал по ночам. Я скрывал это свое состояние от окружающих. Уже давно я убедился, что, кроме недоумения, оно ничего не вызывает. Это было как раз то «несерьезное», что, по мнению близких, коренилось во мне и мешало мне жить.

Как я мог объяснить им, что в этом моем ощущении природы было нечто большее, чем удивление перед ее совершенством, что это было не бесцельное любованье, а сознание среды, без которой человеку нельзя работать в полную меру сил. Люди обычно уходят в природу, как в отдых. Я же думал, что жизнь в природе должна быть постоянным состоянием человека.

Я вспомнил об этом сейчас потому, что осенью 1914 года я с особой остротой испытывал чувство содружества с природой. Она тоже была поставлена под удар войны, но не здесь, в

Москве, а там, на западе, в Польше, и от этого любовь к ней становилась сильнее и все больше щемила сердце.

Я смотрел, как дым из трубы «паровичка» обволакивал желтеющие рощи. По вечерам за ними слабо горело голубоватое зарево Москвы. Видение этих подмосковных рощ вызывало множество мыслей о России, Чехове, Левитане, о свойствах русского духа, о живописной силе, таившейся в народе, его прошлом и будущем, которое должно быть и, конечно, будет совершенно удивительным.

## Мимо войны

Сейчас, когда со времени Первой мировой войны прошло почти полвека, я вспоминаю об этом совсем еще близком времени как о чем-то очень давнем, тонущем в тумане прошлого.

Как будто гремящее и бурное столетие легло между двумя полосами жизни. Все переместилось. Все сдвинулось, как от внезапного удара. Теперь мы усмехаемся над тем, что раньше казалось нам важным. Мы прощаем себе бывшее легкомыслие и неумение разбираться в хитросплетениях жизни, в общественных отношениях, в самих себе. Сейчас мы относимся ко всему, что было до семнадцатого года, как к детству, хотя людям моего поколения было в то время уже больше двадцати лет.

Война 1914 года не завладела сознанием так окончательно, как все, что случилось после нее. В России в то время существовала жизнь, которая шла мимо войны. Аудитории Политехнического музея ломались от публики, когда выступали футуристы или Игорь Северянин. Рабиндранат Тагор владел умами. Художественный театр в жестоких муках искал нового Гамлета. В Москве продолжались литературные «среды» в доме писателя Телешова, но писатели на этих «средах» мало говорили о войне. Религиозная философия, богоискательство, символизм, призыв к возрождению эллинской философии – все это существовало рядом с передовой революционной мыслью и пыталось завладеть умами.

Я вышел из среды средней интеллигенции. Мой отец был статистиком. Как большинство статистиков в те времена, отец был либералом.

С раннего детства я слышал от отца и его друзей слова о свободе, неизбежности революции и обездоленном народе.

Все эти речи произносились главным образом в столовой за чаем, причем каждый раз мама предостерегающе показывала глазами на нас, детей, и говорила отцу:

– Георгий, ты, как всегда, увлекаешься.

Народом – многомиллионным, страдающим, обездоленным – было в моем представлении крестьянство. О рабочих я слышал мало. Слово «пролетариат» редко произносилось в нашей среде. Иногда говорили о «мастеровых», о «фабричных», и с этими понятиями были связаны для меня киевские окраины, тесные бараки и забастовки.

Всякий раз, когда я слышал эти слова – «пролетариат» и «рабочий класс», я почему-то думал, что весь пролетариат сосредоточен у нас в России только в дымном Петрограде, на огромных заводах, таких как Путиловский и Обуховский.

Эти наивные детские представления и страстное увлечение мое литературой привели к тому, что примерно до Февральской революции я ничего толком не знал о революционном движении.

В то время под словом революционер я понимал и видел нечто отчаянно смелое, непреклонное и самоотверженное.

Но нельзя сказать, что революционное движение совсем прошло мимо моей молодости. Я был свидетелем событий 1905 года, хорошо знал весь внешний ход декабрьского восстания в Москве, события на Казанской дороге, восстание «Потемкина» и «Очакова», преклонялся перед лейтенантом Шмидтом. Но меня прежде всего захватывала романтическая сторона революционных событий – подкопы, подпольные типографии, динамит, адские машины, бегство из ссылки, пламенные речи.

Внутренняя же сущность событий долгое время сводилась к очень расплывчатому понятию, которое можно определить как «борьбу за свободу».

С такими представлениями я дожил до войны 1914 года. Только с начала войны я начал осознавать те общественные события, какие шли в России.

В 1914 году Москва была глубоким тылом. Только обилие раненых, бродивших по городу в коричневых халатах, да траурные платья женщин напоминали о войне.

Однажды я пробрался на одну из литературных «сред». Писатели собирались в старом особняке в переулке около Грузин.

Я сел в заднем ряду и просидел, не вставая, до конца вечера. Я боялся, что меня заметят и попросят уйти, и чувствовал себя как безбилетный пассажир, хотя вокруг меня сидело несколько таких же юношей, как и я. Юноши эти держались свободно, и от этого я еще больше смущался.

Лицо у меня горело – впервые я видел так близко писателей. Я не мог избавиться от мысли, что хотя они и одеты в обыкновенные пиджаки и произносят те же самые слова, что и мы, простые смертные, но все же нас отделяет от них огромное расстояние. Имя этому расстоянию – талант, свободное владение мыслью, образом и словом, – все то, что казалось мне в ту пору почти колдовством. На каждого писателя я смотрел как на прямого наследника Тургенева, Чехова, Толстого, как на хранителя традиций русской поэзии и прозы.

Тогда я никак не мог согласиться с пушкинскими словами, что по временам и писатели, и поэты бывают ничтожнее всех «меж людей ничтожных мира». Я не мог отделить писателя от всего, им написанного.

Поэтому я с одинаковым волнением смотрел на остриженного по-кучерски Алексея Толстого, на взъерошенного Ивана Шмелева, похожего на землемера, на тишайшего Зайцева и на ледяного Бунина, читавшего глуховатым голосом рассказ «Псальма».

Я надеялся увидеть на «среде» Максима Горького. Но его не было.

Рядом со мной сидел пожилой, как будто весь сделанный из морщин и, должно быть, чахоточный человек. Он кашлял в темный платок, глаза его блестели, – у него, очевидно, был жар. Он следил за каждым словом, долетавшим с возвышения, где сидели писатели, потом обернулся ко мне и сказал:

– Ох и хороша Россия! Ох и хороша!

Мы вышли вместе с этим человеком. Он жил за Пресненской заставой, и нам было по пути.

Поседевшая луна висела среди голых ветвей. Подмерзшие листья хрустели под ногами. Свет из окон падал на каракулевую шапку-пирожок моего спутника. Он оказался наборщиком из типографии Сытина. Звали его Елисеем Сверчковым.

– Я вырос в провинции, – говорил он мне, поминутно останавливаясь, чтобы откашляться. – В граде Кашине. С юных лет пристал всей душой к письменности, но чувствую слабость свою в этом деле. Слово мне не дается. Понимаю я слово правильно, можно сказать, на ощупь, на вкус, все его качества знаю, а распорядиться им не умею. В каждом слове заложены многие смыслы, и дело писателя поместить это слово рядом с другим таким манером, чтобы оно, молодой человек, дало нужный отзыв в сердце читателя. Вот тут-то и приходит на выручку талант. Озарение! Писатель не ищет, не выбирает, – он сразу берет нужное слово, как наборщик, не глядя, берет из кассы нужную литеру. И раз он его поставил на место, так уж, черта с два, нипочем его не отдаст. Иначе рухнет его чудесное построение.

– А вы пробовали писать? – спросил я наборщика.

– Пробовать-то я пробовал. И до сей поры пробую. Да что толку! Я такое завел обыкновение – по праздникам иду в Третьяковскую галерею. Или в Румянцевку. Выберу одну наиболее приятную мне картину и смотрю на нее, представляю себя вроде как участником того, что на этой картине написано. Возьмем, к примеру, «Грачи прилетели» Саврасова. Или «Март» Левитана. У Саврасова воплощено в картине все мое детство. Российская слякотная весна, вся в лужах, с холодным ветерком, с низенькими небесами, с мокрыми заборами и тучами. А «Март» Левитана – это уже другая весна, но тоже очень наша, очень российская – с капелью, с синим небом над рощицей, когда, знаете, талая вода с сосулек все кап да кап, а в каждом таком

капе солнечный свет падает с крыши. Это я хорошо вижу. Посмотрю я этак на картины, приду домой и стараюсь изобразить все виденное в тетради с таким расчетом, чтобы одними словами живописать, как, скажем, художник живописует умброй, сиенной или кобальтом. Чтобы человек, сроду этой картины не видевший, мог представить себе все на ней изображенное с полной ясностью. Чтобы он, извините, услышал запах весеннего навоза и грачиный грей. Я таких описаний составил больше сотни. Показал их недавно одному писателю – не буду его вам называть. Трясусь, даже самого себя жалко. Он прочел, говорит: «Все это, конечно, литературно сделано и вполне грамотно, только совершенно ни к чему. Я, – говорит, – лучше картины в натуре посмотрю, чем через ваши писания их буду воспринимать. Что это вы, – говорит, – батенька, вздумали тягаться с Саврасовым, Левитаном или Коровиным. Они-то небось были не лыком шиты». Я ему возражаю. «У меня есть, – говорю, – идея довести слово до того, чтобы оно действовало на человека зрительным образом, подобно краске на полотне художника». – «А это, – говорит он, – уже полное черт знает что!» Так я от него и ушел с этим «черт знает что». Одно я сообразил: слово мне не дается! А жаль! Я бы мог большие дела сотворить, это я за собой чувствую.

Я проводил наборщика до дому. Жил он в глубине узкого двора, заставленного поломанными и заржавленными железными кроватями: в этом же дворе помещалась кроватная фабрика.

Сверчков пригласил меня приходить к нему и напоследок сказал:

– Живу среди кроватей, а у самого – дощатый топчан. Кровати эти все старые, пожертвованные. Их чинят для солдатских госпиталей. По случаю войны. Войны этой я не понимаю. Существует она от отсутствия дружности. Была бы у нас, людей обыкновенной жизни, согласованность желаний, мы бы сказали одно слово «нет!» – и всей этой кровавой петрушке пришел бы конец. Вот я и мечтаю – кто бы научил нас дружности. Неужто не найдется такой личности на свете?

Сверчков постучал в низенькое оконце. Из-за оконца его никто не окликнул, но тотчас раздался злой женский плач.

– Не понимает! – вздохнул Сверчков. – Слабый пол. Мне, может, жить остался год. Так нет, не понимает. Вы уж извините, молодой человек.

Я попрощался и ушел. На Большой Пресне стояла такая тишина, что было слышно, как зевают ночные сторожа. Белым и синим кафелем мертво поблескивали под фонарями молочные магазины Чичкина и Бландова. Если на одном углу был облицованный белым кафелем магазин Чичкина, то на другом углу обязательно поселялся синий Бландов, чтобы перебить торговлю своему соседу.

Дома уже все спали. Даже в комнате Захарова было темно. Я лег у себя на полу. Слабый фонарный свет падал в комнату.

Я лежал и думал о больном наборщике из Кашина. Мысли эти не вызывали у меня горечи, а наоборот, спокойствие. По стране и таланты! Сколько их, этих талантливых людей, по городам и селам России – кто знает! Десятки или сотни тысяч? Сколько ума, выдумки, «золотых рук» они приложили к тому, чтобы обрядить, обогатить, воспеть и прославить свою страну.

Наборщик, конечно, прав. С русским языком можно творить чудеса. Нет ничего такого в жизни и в нашем сознании, что нельзя было бы передать русским словом. Звучание музыки, спектральный блеск красок, игру света, шум и тень садов, неясность сна, тяжкое громоханье грозы, детский шепот и шорох морского гравия. Нет таких звуков, красок, образов и мыслей – сложных и простых, – для которых не нашлось бы в нашем языке точного выражения.

Легко думать по городским ночам, когда с товарных станций, с запасных путей и вокзалов доносятся гудки паровозов да изредка прогремит по булыжной мостовой извозничья пролетка.

Я встал, подошел к окну и долго смотрел на Зоологический сад. Глухой и тихий, он чернел огромным островом среди слабо освещенных кварталов Москвы.

Я обернулся и заметил, что на столе что-то белеет. Должно быть, записка от мамы. Я взял ее, зажег спичку и прочел косые строчки телеграммы из Киева:

«Назначен саперную часть выезжаю запад фронтовой адрес сообщу дополнительно буду возможности писать не волнуйся целую тебя Галя Костика *Боря*».

Так! Значит, и Боря! И мне вдруг стало невыносимо стыдно. Чем я перед ним кичился? Своим туманным тяготением к искусству? Не написав еще ни одной путной строчки, я уже причислил себя к избранным. Я насмеялся над его комнатой, его бетонными мостами, его житейской философией. А что в ней было смешного? Во всяком случае, он был честен. Он работал как вол, никогда не лгал и не увивал от своих обязательств. И если он предпочитал Генриха Сенкевича Чехову, то какой в этом смертный грех? Я, жестоко враждовавший с предрассудками, попал под власть самого мелочного предрассудка.

Я зажег вторую спичку, снова прочел телеграмму и подумал: почему мама не дождалась меня, а положила мне эту телеграмму на стол? Зачем? Может быть, потому, что она знала, как я отношусь к Боре, и ей было бы тяжело увидеть подтверждение этого на моем лице сейчас, в такую трудную минуту.

Я оделся и пошел к маме. Она не спала. Мы сидели рядом, я гладил ее седые сухие волосы и не знал, как утешить ее. Она плакала тихо, чтобы не разбудить Галю.

Тогда я понял, как жестока и несправедлива подчас бывает молодость, хотя бы и наполненная высокими мыслями.

Мама уснула только перед рассветом. Я прошел к себе, надел кондукторскую форму, взял пустую сумку и осторожно вышел из дому.

Серый свет сочился на лестницу из немытых окон. Старые коты, раздувшись, всхрапывали на ступеньках.

По Грузинам к товарной станции Брестской дороги шли, погромыхая, санитарные двуколки с красным крестом на зеленых брезентовых полотнищах. Из Зоологического сада летели на мостовую сухие, покоробленные листья сирени. По этим пыльным лиловым листьям и по брезентовым верхам двуколок громко били капли крупного утреннего дождя.



## Старик со сторублевым билетом

Давно замечено, что люди, чья жизнь проходит в постоянном движении – машинисты, моряки, летчики, шоферы, – бывают несколько суеверны. Суеверны были и мы, кондукторы московского трамвая.

Больше всего мы боялись старика со сторублевым кредитным билетом, так называемой «катеринкой». На билете этом был выгравирован пышный портрет Екатерины Второй с тугим атласным бюстом.

Если говорить без предвзятостей, то старик был даже довольно приятный – умытый, ласковый и культурный. Из кармана его пальто всегда торчала аккуратно сложенная профессорская либеральная газета «Русские ведомости».

Старик всегда садился в трамвай ранним утром, как только мы выходили из парка и в сумке у нас позванивало шестьдесят копеек мелочи, выданной нам на сдачу. Больше мелочи нам не давали.

Старик влезал в трамвай и с предупредительной улыбкой протягивал кондуктору сторублевую бумажку. Сдачи, конечно, не было. Но старик ее и не требовал. Он покорно сходил на первой же остановке и дожидался следующего трамвая.

Там повторялась та же история.

Так, пересаживаясь из вагона в вагон, старик бесплатно ездил на службу изо дня в день и из месяца в месяц. Придаться к нему было нельзя.

Сторублевая бумажка была всегда одна и та же. Мы, кондукторы линии 8, давно знали на память ее номер – 123715. Мы мстили старику тем, что иногда язвительно говорили:

– Предъявите вашу «катеринку» номер 123715 и выметайтесь из вагона.

Старик никогда не обижался. Он охотно протягивал нам пресловутую ассигнацию и так же охотно и даже торопливо, стараясь никого не затруднить, выходил из вагона.

Это был неслыханно упорный безбилетный пассажир. Против него были бессильны самые свирепые контролеры.

Но мы не любили старика не за эту ассигнацию 123715, а за то, что он, как утверждали старые кондукторы, знавшие его несколько лет, всегда приносил неприятности.

У меня за трамвайную службу было четыре неприятности.

Вначале я работал вожатым. Я водил вагоны по внутреннему кольцу «Б». Это была дьявольская работа. Вагоны ходили с прицепами. Сцепления были разболтаны, и потому было почти невозможно стронуть вагон с места без того, чтобы не дернуть прицеп и не услышать в ответ крикливые проклятья пассажиров.

Однажды у Смоленского бульвара на рельсы въехал белый автомобиль с молоком фирмы Чичкина. Шофер едва плелся. Он боялся, очевидно, расплескать свое молоко. Я поневоле плелся за ним и опаздывал. На остановках мой вагон встречали густые и раздраженные толпы пассажиров.

Вскоре меня нагнал один вагон линии «Б», потом – второй, потом – третий, наконец – четвертый. Все вагоны оглушительно и нетерпеливо трещали. В то время у моторных вагонов были не звонки, а электрические трещотки.

На линии создавался тяжелый затвор. А шофер все так же трусил по рельсам впереди меня и никуда не сворачивал.

Так мы проехали с ним всю Садовую-Кудринскую, миновали Тверскую, Малую Дмитровку, Каретный ряд. Я неистово трещал, высовывался, ругался, но шофер только попыхивал в ответ табачным дымом из кабины.

Сзади уже, сколько хватал глаз, ползли, оглушая Садовые улицы трещотками, переполненные пассажирами «Букашки». Ругань вожатых сотрясала воздух. Она докатывалась от самого заднего вагона ко мне и снова мощной волной катилась назад.

Я пришел в отчаяние и решил действовать. На спуске к Самотеке я выключил мотор и с оглушительным треском, делая вид, что у меня отказали тормоза, ударил сзади чичкинский автомобиль с его нахалом-шофером.

Что-то выстрелило. Автомобиль осел на один бок. Из него повалил белый дым. Усатый шофер выскочил на мостовую, вытащил из кармана полицейский свисток и залиvistо засвистел. Это было для меня полной неожиданностью. Я увидел, как с Самотечной площади бегут к вагону, придерживая шашки, околоточный надзиратель и городской.

В общем, на следующий день меня разжаловали из вожатых в кондукторы.

Но на этом мои злоключения не кончились. Вскоре меня оштрафовали за то, что я сидел на задней площадке, когда мой вагон проходил по Театральной площади. На Театральной площади кондукторам полагалось стоять, так как это было самое оживленное место в Москве, где пассажиры беспрерывно вскакивали и выскакивали на ходу.

Потом мы, молодые кондукторы, придумали очень удачный, как нам сгоряча показалось, способ, чтобы немного передохнуть среди суматошного дня. Мы сговаривались с вожатым и уходили с конечной станции минуты на две, на три раньше, чем полагалось по расписанию, или, как говорили трамвайщики, «не выдерживали интервала».

Вожатый давал полный ход, мы быстро догоняли передний вагон той же линии и веселились. Передний вагон подбирал всех пассажиров, а мы шли порожняком. В вагоне было пусто и тихо, можно было даже почитать газету.

Способ этот казался нам безукоризненным. Но мы, конечно, как это часто бывает, «поскользнулись на апельсиновой корке», начали пересаливать и носиться порожняком по Москве по три-четыре рейса подряд. Выручка у нас стала меньше, чем у остальных кондукторов. Начальство тотчас заподозрило неладное. В конце концов нас накрыли на этой хитрости и жестоко оштрафовали.

Эти неприятности обошлись без вмешательства старика со сторублевым билетом. Но однажды старик сел в мой вагон, и самый вид его показался мне более подозрительным и зловещим, чем всегда, – старик весь сиял от расположения ко мне, кондуктору. Может быть, потому, что я проглядел и старику удалось проехать бесплатно не одну, а две остановки. Когда старик сошел, вожатый – человек молчаливый и мрачный – с треском отодвинул переднюю дверь и крикнул мне через весь вагон:

– Теперь гляди, кондуктор! Как бы не случилось беды!

И он с таким же треском захлопнул дверь.

Я ждал неприятностей весь день, но их не было. Я успокоился. В полночь мы отошли от Ярославского вокзала последним рейсом.

В вагоне было несколько пассажиров, и ничто не предвещало беды. Я даже беспечно напевал про себя очень распространенную в то время песенку:

Ах вы, пташки-канашки мои!  
Разменяйте бумажки мои...

У Орликова переулка в вагон вошел плотный господин в пальто с воротником «шалью» и элегантном котелке. Все в нем изобличало барство – слегка припухшие веки, запах сигары, белое заграничное кашне и трость с серебряным набалдашником.

Он прошел через весь вагон походкой подагрика, опираясь на трость, и тяжело сел у выхода. Я подошел к нему.

– Бесплатный! – отрывисто сказал господин, глядя не на меня, а за окно, где бежали, отражаясь в стеклах вагона, ночные огни.

– Предъявите! – так же отрывисто сказал я.

Господин поднял набрякшие веки и с тяжелым пренебрежением посмотрел на меня.

– Надо бы знать меня, милейший, – сказал он раздраженно. – Я городской голова Брянский.

– У вас, к сожалению, на лбу не написано, – ответил я резко, – что вы городской голова. Предъявите билет!

Городской голова вскипел. Он наотрез отказался показать свой бесплатный билет. Я остановил вагон и попросил его выйти. Городской голова упирался. Тогда, как водится, дружно вмешались пассажиры.

– Какой он городской голова! – сказал из глубины вагона насмешливый голос. – Городскому голове полагается на своих рысках ездить. Уж что-что, а это мы хорошо знаем. Видали мы таких голов!

– Не ваше дело! – крикнул господин в котелке.

– Батюшки! – испугалась старуха с кошелкой яблок. – Зычный какой! Богатые, они всегда скупаются. Пять копеек на билет им жалко. Так вот и капиталы себе набивают – по полушке да по копейке.

– А может, у него в кармане шиш с маслом, – засмеялся парень в картузе. – Тогда я за него заплачу. Бери, кондуктор! Сдачу отдай ему на пропитание.

Кончилось все это тем, что взбешенный городской голова вышел из вагона и так хлопнул дверью, что зазвенели все стекла. За это он получил от вожатого несколько замечаний в спину по поводу его нахальства, котелка и сытой рожи.

Через два дня меня вызвал начальник Миусского парка, очень бородатый, очень рыжий и очень насмешливый человек, и сказал громовым голосом:

– Кондуктор номер двести семнадцать! Получай вторичный выговор с предупреждением. Распишись вот здесь! Так! И поставь свечку Иверской Божьей Матери, что все так обошлось. Виданное ли дело – выкинуть из вагона городского голову, да еще ночью, да еще на Третьей Мещанской, где и днем-то тебя каждый облает да толкнет.

Начальник парка потребовал, чтобы я рассказал ему историю с городским головой во всех подробностях. Я рассказал и упомянул, между прочим, о старике со сторублевым билетом и о том, что, по мнению кондукторов, этот старик приносит несчастье.

– Слышал я об этом старикашке проклятом, – сказал начальник парка. – Как бы его подкузмить, такого артиста?

Кондукторы линии 8 давно мечтали подкузмить этого старика. У каждого был свой план. Был свой план и у меня. Я рассказал о нем начальнику парка. Он только усмехнулся.

Наутро мне были выданы под расписку сто рублей бумажной мелочью.

Я ждал старика три дня. На четвертый день старик наконец попался.

Ничего не подозревая, радушно и спокойно, он влез в вагон и протянул мне свою «катеринку». Я взял ее, повертел, посмотрел на свет и засунул в сумку. У старика от изумления отвалилась челюсть.

Я неторопливо отсчитал девяносто девять рублей девяносто пять копеек, два раза пересчитал сдачу и протянул старику. На него было страшно смотреть. Лицо его почернело. В глазах было столько желтой злости, что я бы не хотел встретиться с этим стариком в пустом переулке.

Старик молча взял сдачу, молча сунул ее, не считая, в карман пальто и пошел к выходу.

– Куда вы? – сказал я ему вежливо. – У вас же есть наконец билет. Можете кататься сколько угодно.

– Зараза! – хриплым голосом произнес старик, открыл дверь на переднюю площадку и сошел на первой же остановке. Сделал он это, должно быть, по застарелой привычке.

Когда вагон тронулся, старик изо всей силы ударил толстой тростью по стенке вагона и еще раз крикнул:

– Зараза! Жулик! Я тебе покажу!

С тех пор я его больше не встречал. Передавали, что кое-кто из кондукторов видел его после этого случая. Старик бодро шагал пешком из дому на службу. В кармане его пальто все так же торчала аккуратно сложенная газета «Русские ведомости».

Сторублевая бумажка 123715 была выставлена, как трофей, в Миусском парке на доске за проволочной сеткой, где вывешивались приказы. Она провисела там несколько дней. Перед ней толпились кондукторы, узнавали ее «в лицо» и смеялись. А я заслужил сомнительную славу находчивого человека. Только это обстоятельство и спасло меня от увольнения, когда я сознательно провез без билетов двадцать вооруженных человек и нарвался на контролера.

Это было ночью. У Ярославского вокзала в вагон сели солдаты, одетые по-походному – с патронными сумками, винтовками, туго затянутые по новеньким шинелям кожаными поясами. Это были запасные – бородатые, обветренные люди, оробевшие в незнакомой и непонятной Москве. Ехали они с Ярославского вокзала на Брестский, а оттуда – в действующую армию. Трех солдат провожали жены, закутанные по самые глаза теплыми платками. Они крепко держали мужей за рукава шинелей и молчали. Молчали и солдаты.

Я совершил два служебных преступления – провез солдат с женами бесплатно и, кроме того, пустил в вагон трамвая вооруженных людей, что строжайше воспрещалось.

На Екатерининской площади в вагон вошел контролер.

– Не трудитесь, – сказал я ему. – Билетов у солдат все равно нету.

– За счет датского короля везете? – спокойно спросил контролер.

– Да. За счет датского короля.

– Веселое дело! – промолвил контролер, записал мой номер и соскочил на ходу из вагона.

Вскоре после этого меня снова вызвал рыжебородый начальник парка. Он долго смотрел на меня, поводил бровями, что-то соображал, потом сказал на «вы»:

– С пассажирами вы работать не можете. Это ясно! У вас уже, слава те господи, три выговора.

– Ну что ж! Увольте меня.

– Уволить недолго. Только зачем? Я переведу вас на ночную работу в санитарных вагонах. Будете развозить раненых с вокзалов по госпиталям. Вы ведь студент?

Я согласился. Эта работа казалась мне гораздо благороднее, чем утомительная возня с пассажирами, билетами, со сдачей.

С облегчением я сдал свою сумку артельщику и пошел домой.

Я шел по Грузинам. Ветер трепал язычки газовых фонарей. Ночной воздух с легким привкусом газа, казалось, сулил мне перемены в жизни, путешествия, новизну.

## Лефортовские ночи

Сверкающий дуговыми фонарями, как бы расплавленный от их мелового шипящего света, Брестский вокзал был в то время главным военным вокзалом Москвы. С него отправлялись эшелоны на фронт. По ночам к полутемным перронам крадучись подходили длинные, пахнущие йодоформом санитарные поезда, и начиналась выгрузка раненых.

Каждую ночь, часам к двум, когда жизнь в городе замирала, мы, трамвайщики, подавали к Брестскому вокзалу белые санитарные вагоны. Внутри вагонов были устроены подвесные пружинные койки.

Ждать приходилось долго. Мы курили около вагонов. Каждый раз к нам подходили женщины в теплых платках и робко спрашивали, скоро ли будут грузить раненых. Самые эти слова – «грузить раненых», – то есть втаскивать в вагоны, как мертвый груз, живых, изодранных осколками людей, были одной из нелепостей, порожденных войной.

– Ждите! – отвечали мы.

Женщины, вздохнув, отходили на тротуар, останавливались в тени и молча следили за тяжелой вокзальной дверью.

Женщины эти приходили к вокзалу на всякий случай: может быть, среди раненых найдется муж, брат, сын или однополчанин родного человека и расскажет об его судьбе.

Все мы, кондукторы, люди разных возрастов, характеров и взглядов, больше всего боялись, чтобы какая-нибудь из этих женщин не нашла при нас родного искалеченного человека.

Когда в вокзальных дверях появлялись санитары с носилками, женщины бросались к ним, иступленно всматривались в почернелые лица раненых и совали им в руки связки баранок, яблоки, пачки дешевых рассыпных папирос. Иные из женщин плакали от жалости. Раненые, сдерживая стоны, успокаивали женщин доходчивыми словами. Эти слова простой русский человек носит в себе про черный день и поверяет только такому же простому своему человеку.

Раненых вносили в вагоны, и начинался томительный рейс через ночную Москву. Вожаемые вели вагоны медленно и осторожно.

Чаще всего мы возили раненых в главный военный госпиталь в Лефортово. С тех пор воспоминание о Лефортове связано у меня с осенними холодными ночами. Прошло уже много лет, а мне все чудится, что в Лефортове всегда стоит такая ночь и в ней светятся скучными рядами окна военного госпиталя. Я не могу отделаться от этого впечатления потому, что с той поры я ни разу не был в Лефортове и не видел военный госпиталь и обширный плац перед ним при дневном свете.

В Лефортове мы помогали санитарам переносить тяжелораненых в палаты и бараки, разбросанные в саду вдалеке от главного корпуса. Там по дну оврага шумел пахнувший хлором ручей. Переносили раненых мы медленно и потому зачастую простаивали в Лефортове до рассвета.

Иногда мы возили раненых австрийцев. В то время Австрию насмешливо называли «лоскутной империей», а австрийскую армию – «цыганским базаром». Разноплеменная эта армия производила на первый взгляд впечатление скопища чернявых и невероятно худых людей в синих шинелях и выгоревших кепи с оловянной кокардой и насквозь пробитыми на ней буквами «Ф» и «И». Это были инициалы впавшего в детство австрийского императора Франца Иосифа.

Мы расспрашивали пленных и удивлялись: кого только не было в этой армии! Там были чехи, немцы, итальянцы, тирольцы, поляки, босняки, сербы, хорваты, черногорцы, венгры, цыгане, герцеговинцы, гуцулы и словаки... О существовании некоторых из этих народов я и не подозревал, хотя окончил гимназию с пятеркой по географии.

Однажды вместе с нашими ранеными ко мне в вагон внесли длинного, как жердь, австрийца в серых обмотках. Он был ранен в горло и лежал, хрипя и поводя желтыми глазами. Когда я проходил мимо, он пошевелил смуглой рукой. Я думал, что он просит пить, нагнулся к его небритому, обтянутому пересохшей кожей лицу и услышал клекочущий шепот. Мне показалось, что австриец говорит по-русски, и я даже отшатнулся. Тогда он с трудом повторил:

– Есмь славянин! Полоненный у велика-велика битва... брат мой.

Он закрыл глаза. Очевидно, он вкладывал в эти слова очень важный для него и непонятный мне смысл. Очевидно, он долго ждал случая, чтобы сказать эти слова. Потом я долго раздумывал над тем, что хотел сказать этот умирающий человек с запекшимся от крови бинтом на горле. Почему он не пожаловался, не попросил пить, не вытащил из-за пазухи за стальную цепочку полковой значок с адресом родных, как это делали все раненые австрийцы? Очевидно, он хотел сказать, что сила ломит и солому и не его вина, что он поднял оружие против братьев. Эта мысль соединилась в горячем его сознании с памятью о кровавом сражении, куда он попал по воле «швабов» прямо из своей деревни. Из той деревни, где растут вековые ореховые деревья, бросая широкую тень, и по праздникам пляшет на базаре под шарманку ручной динарский медведь.

Когда в Лефортове мы начали выносить раненых и подошли к рыжему вологодскому ополченцу, он сказал:

– Берите австрийца. Видите, мается. А мы обождем.

Мы подняли австрийца. Он был тяжелый и по дороге начал тихо стонать. «Ой-ой-ой, – протяжно говорил он, – матка моя Мария! Ой-ой-ой, матка моя Мария!»

В барак, в глубине затоптанного сада, мы принесли его уже мертвым.

Военный фельдшер приказал нам нести австрийца в покойницкую. Это был сарай с широкими, как ворота, открытыми настежь дверями. Мы внесли туда австрийца, сняли с носилок и положили на примятую многими телами соломенную труху. Никого вокруг не было. Под потолком горела пожелтевшая электрическая лампочка.

Стараясь не глядеть по сторонам, я вытащил у австрийца из-под расстегнутого ворота куртки полковой значок – маленькую книжку из двух листков белого оксидированного металла. На ней было выгравировано имя солдата, его номер и адрес родных.

Я прочел его и списал: «Иованн Петрич, 38719, Веселый Дубняк (Босния)».

Дома я написал (почему-то печатными буквами) открытку о смерти Иованна Петрича и послал в Боснию, в селение Веселый Дубняк на имя семьи Петричей.

Когда я писал эту открытку, я видел в своем воображении белый низкий дом, – такой низкий, что окна его были на локоть от земли. Я видел заросли пожухлых лопухов под окнами и ястреба, висевшего над домом в жарком небе. И видел женщину, отнявшую от смуглой груди ребенка и глядевшую сумрачными глазами за околицу, где ветер завивает пыль. Может быть, этот ветер прилетел с поля, где лежит ее Иованн, но ветер не умеет говорить и никогда ничего не расскажет. А писем нет.

«Полоненный у велика-велика битва... брат мой», – вспоминал я тяжелый шепот. Кто виноват, что «швабы» в зеленых тесных мундирах оторвали его, Иованна, от родных садов? Он был покорный и добрый, Иованн, – это было видно по его серым круглым глазам, глазам мальчика на лице пожилого мужчины.

Лефортовские ночи! Ночи войны, страданий и размышлений о путях человека по извилистой жизни. Это были ночи моей возмужалости. С каждым днем ссыхалась и отлетала некогда блестящая мишура моих представлений о действительности. Жизнь входила в сознание как нечто суровое и требующее постоянной работы для того, чтобы очистить ее от грязи, сукровицы и обмана и увидеть во всем ее великолепии и простоте.

## Санитар

В октябре 1914 года я уволился с московского трамвая и поступил санитаром на тыловой военно-санитарный поезд Союза городов.

Сидеть в Москве было невмоготу. Всеми мыслями я был на западе, в сырых полях Польши, где решалась судьба России. Я искал возможности быть ближе к войне и вырваться наконец из уныния давно уже развалившейся семьи.

Почти все санитары тылового поезда были добровольцы-студенты. Мы носили солдатскую форму. Нам только разрешили оставить студенческие фуражки. Это обстоятельство много раз спасало нас от грубости и «цуканья» военных комендантов.

У каждого из нас, санитаров, был свой пассажирский вагон на сорок раненых. Делом чести считалось «надраить» свой вагон до корабельного блеска, до такой чистоты, чтобы старший врач, член Государственной думы Покровский, осматривая поезд перед очередным рейсом, только ухмыльнулся бы в свою русую эспаньолку и ничего не сказал. А Покровский был строг и насмешлив.

Я боялся первого рейса. Я не знал, справлюсь ли с тем, чтобы обслужить сорок человек лежащих раненых. Сестер на поезде было мало. Поэтому мы, простые санитары, должны были не только обмыть, напоить и накормить всех раненых, но и проследить за их температурой, за состоянием перевязок и вовремя дать всем лекарства.

Первый же рейс показал, что самое трудное дело – это кормление раненых. Вагон-кухня был от меня далеко. Приходилось тащить два полных ведра с горячими щами или с кипятком через сорок восемь дверей. Тем санитарам, вагоны которых были около кухни, приходилось отворять и захлопывать за собой всего каких-нибудь десять – пятнадцать дверей. Мы их считали счастливчиками, завидовали им и испытывали некоторое злорадное удовлетворение лишь оттого, что множество раз в день протаскивали через их вагон свои ведра с едой и при этом, конечно, кое-что поневоле расплескивали. А «счастливчик» елозил по полу с тряпкой и, чертыхаясь, непрерывно за нами подтирал.

Первое время эти сорок восемь дверей приводили меня в отчаяние. Были двери обыкновенные, открывавшиеся внутрь, и были двери выдвижные – в вагонных тамбурах. Каждую дверь нужно было открыть и закрыть, а для этого поставить на пол полные ведра и стараться ничего не разлить. Поезд шел быстро. Его качало и заносило на стрелках, и, может быть, поэтому переходы по стрелкам, когда вагоны вдруг шарахаются в сторону, я не люблю до сих пор.

Кроме того, надо было торопиться, чтобы не остыли щи или чай, особенно зимой, когда на обледенелых открытых переходах из вагона в вагон выл, издеваясь над нами, режущий ветер и ничего не стоило поскользнуться и полететь под колеса.

Если к этому прибавить, что ходить в кухню нужно было не меньше двенадцати раз в день (за хлебом и посудой, за чаем, за щами, за кашей, потом с грязной посудой и ведрами и так далее), то станет понятно, как мы проклинали того, давно уже мирно почившего изобретателя, который придумал в каждом вагоне не меньше шести, а то и все восемь дверей.

Мы благодарили небо, когда время кормления раненых совпадало со стоянкой. Тогда мы выскакивали со своими ведрами из вагонов и мчались вдоль поезда по твердой земле, а не по вяляющим вагонным полам.

Многие раненые не могли есть сами. Их приходилось кормить и поить. Утром мы обмывали раненых, а после этого мыли в вагоне полы раствором карболки.

Только вечером, после ужина, можно было немного передохнуть, да и то начиналась вечная возня со свечами в жестяных вагонных фонарях. Свечи или гасли, или кривились, или вдруг начинали пылать пышными факелами. А на площадках свечи у нас постоянно воровал

сцепщик из поездной бригады – носастый и коротконогий дядя Вася, получивший за эту свою особенность прозвище «Свечное рыло».

Пожалуй, никому из нас не удавалось бы справиться целиком со своим делом, если бы в каждом вагоне тотчас не отыскивался добровольный помощник из легкораненых.

Но в конце концов все это было пустяки. Я боялся первого рейса не из-за этих обычных трудностей. Была одна трудность более сложная, – о ней втайне думали все санитары. Тяжело было остаться с глазу на глаз с сорока искалеченными людьми, особенно нам, студентам, освобожденным от солдатской службы. Мы боялись насмешек, справедливого возмущения людей, принявших на свои плечи всю тягость и опасность войны, тогда как мы, молодые и в большинстве здоровые люди, жили в безопасности, не терпя никаких лишений.

Во время первого рейса мне было сначала просто некогда разговаривать с ранеными и прислушиваться к их словам. К ночи наконец все затихло. Я немного посидел у себя в отделении, покурив, поглядел за окно. Там пронеслась, переворачивая по вагону полосы света от фонарей, какая-то станция. Потом снова за окнами под стук колес потянулась ночь и дрожащие огни затерянных деревень.

– Санитар! – крикнул из вагона хриловатый, требовательный голос. – А санитар!

Я вскочил и пошел по вагону. Звал меня раненый с коричневым, одутловатым лицом.

– Спишь, клистирник? – спросил он меня спокойно, без насмешки. – Тебе спать не полагается по должности. Дай попить. А то маешься тут всю ночь с пересохшим горлом.

– Спать всем полагается, – примирительно сказал с соседней койки раненый с реденькой бородкой и сухим лицом. Говорил он высоким мальчишеским голосом. – Иному вечным сном, а иному недолговременным.

– Ты что ж, монашествующий, что ли? – насмешливо спросил его одутловатый.

– Э-э-э, земляк, – усмехнулся сухолицый. – Нет еще такого монастыря, куда бы я пошел монахом. Мне монастырь нужен особый, приличный моему пониманию жизни.

– Фу-ты ну-ты, какой тюльпан! – сердито заметил третий раненый с забинтованным лицом. Среди белых бинтов остро блестели, как у хорька, его маленькие глаза.

– Вот смеемся мы друг над другом, – промолвил сухолицый, – а основы жизни не разумеем. В чем она заключается.

– А ты расскажи, не скупись, – грубо потребовал одутловатый. – Про основу да про уток.

– Это можно, – охотно согласился сухолицый и помолчал. – Жил на русской земле один старичок довольно знаменитый. Граф Толстой. Столько книг написал, что, говорят, даже правая рука у него несколько высохла. Болела у него, значит, рука, и держал он ее всегда засунутой за кушак. Так ему было вроде легче, вроде будто отходила у него рука.

– Это верно, – сказал забинтованный раненый. – Я сам видел на портрете.

– Уж как замлеет что – иль рука, иль нога, так нет хуже, – согласился одутловатый, с трудом подвинулся на койке и сказал мне: – Да ты садись, санитар. Разбудил я тебя, так хоть посиди с нами, послухай.

– Бесперечь будить человека тоже нельзя, – заметил из глубины вагона сонный голос. – От этого кровь киснет.

– А ты помолчи! – прикрикнул одутловатый. – Дай людям поговорить.

– Да-а, – сказал сухолицый и облизнул тонкие губы. – Старик был подсохший, и звали его Лев. И надо быть, правильно звали. Потому сила в нем, передают, была прямо львиная. В мыслях, конечно, в разумении. А в теле у него ничего не было, даже росточку был незаметного. Да, так вот, значит, жил у нас в посадке один маляр по прозвищу Колер. Произошло у него с тем графом Толстым случайное столкновение. Не то чтобы столкновение, а простой разговор. Сидит это однажды Колер на пересадочной станции бог весть где, одним словом, где-то пониже Москвы, сидит целные сутки, дожидается поезда, а кругом лето, пыль и станция безлюдная, вялая. И появляется на той станции граф Толстой и тоже дожидается поезда.



Ну, понятно, разговорились, кто куда едет. Колер говорит: «Я, – говорит, – пробираюсь в южный город Одессу, потому что маляричить в здешних местах мне надоело». – «Это почему же?» – спрашивает его Толстой. «А потому, – отвечает Колер, – что здесь дома в темные колера красят, а там – в светлые. А это не в пример веселей. Там дом покрасишь, скажем, обыкновенным мелом, – крейдой его зовут в тех местах, – только чистым и хорошо протертым, так он стоит, тот дом, промеж неба и моря как белоцветный игристый камень. И такой становится легкий, будто строили его воздушными перстами райские жители». – «Никакого рая нет», – говорит Толстой Колеру и смеется, но смеется этак сердито. «Да я и сам знаю, что нету, – отвечает Колер. – Это я к слову для нашей беседы. А вы куда изволите ехать, ежели не секрет?» – «А ежели это секрет?» – спрашивает его Толстой. «Ежели секрет, тогда прошу прощения. Я человек сиволапый». Обнял его старик за плечи, потрепал и говорит: «Вот то-то и видно, что сиволапый. Ишь, – говорит, – гордыня какая! Да ты, – говорит, – художник жизни, и сам это отлично понимаешь. Вот так, как жил, – говорит, – так и живи для благорасположения людей. В этом правда. А что до меня, то я ищу по России самый что ни на есть тишайший скит, убежище, чтобы там пожить и свою остатнюю книгу написать без уводящих забот». – «Про что же может быть такая ваша книга?» – спрашивает Колер. – Простите мне еще раз мое невежество». – «Про все, что есть хорошего на свете и что мне на этом свете удалось повидать», – отвечает ему старичок. «Затруднительная работа, – замечает в ответ Колер. – Поскольку выбор большой. Одних колеров хороших – и то десятки. Так как же вы про все хорошее в жизни напишете?» – «Что успею, то и напишу. Сначала про то, как живет старик в избе у реки, каждое утро выходит на порожек и видит, как в росе купаются овсянки. И думает: „Схожу-ка я нынче в лес за брусникой, и, может, наберу полное лукошко, а может, и не наберу, а лягу под сосной и упокоюсь вечным сном. По преклонному возрасту своему. И все равно – и так и этак, как бы ни случилось, как ни кинь, а все благо – и жить остаться еще несколько на этой земле, и, с другой стороны, уступить место молодым. Сам я много пожил и порадовался, так теперь пусть и другие вместо меня поживут и порадуются“». – «Ну нет! – говорит Колер. – Этого я не понимаю, такого разговора. Радость бывает, когда щепка из-под фуганка летит или, скажем, краска ложится ровно, как водяная гладь. Я, – говорит, – в работе главную радость ощущаю. И ваши слова, Лев Николаевич, мне ни к чему».

– Верно! – радостно сказал раненый с забинтованным лицом. – Работой весь мир стоит. И человек рабочий – миру основа. Ты вот свое отработай, тогда и любуйся. Росой там или овсянкой. Чем желательнее.

– Толстой свое отработал боле всех, – сказал из глубины вагона сонный голос. – Я его порядочно почитал.

– Правильно! – неожиданно закричал одутловатый. – Я, к примеру, возьму комок земли перед посевом, разотру, понюхаю и понимаю, как семя себя в этой земле будет держать, какая в ней сырость и хватит ли той сырости, чтобы колос сполна напоить.

– Чего шуметь, – снова сказал из глубины вагона тот же сонный голос. – Колер-то твой, может, все набрехал. Маляры – трепачи известные. Одно жалко, что не написал Лев Толстой ту книгу про все хорошее на свете. Мы бы почитали!

– Санитар! – неожиданно прикрикнул прежним требовательным голосом одутловатый. – Сыми занавеску! Утро уже на дворе. Хоть поглядеть, что там за окошком. Скоро наши костромские края.

Раненые замолчали. Я поднял суровую полотняную занавеску и увидел за окном осеннюю северную Россию. Она туманно золотилась до самого горизонта березовыми рощами, пажителями, безыменными извилистыми реками. Поезд мчался, обволакивая паром сторожевые будки.

Я никогда еще не видел такой осени, такой ясности небес, ломкости воздуха, серебристого блеска от волокон паутины, оврагов, поросших красным щавелем, прудов, где просвечи-

вает сквозь воду песчаное дно, сияния мглистых далей, нежной гряды облаков, застывших во влажной поутру небесной голубизне...

Я так засмотрелся, что не сразу почувствовал тяжесть у себя на спине. Одутловатый положил мне на плечо будто налитую чугуном руку, приподнялся и пристально смотрел за окно.

– Эх, браток ты мой мила-а-ай! – сказал он нараспев. – Исходил бы я эту землю босиком, попил бы чайку в каждой избе. Так вот незадача. Не на чем мне нынче ходить.

Я оглянулся и увидел под халатом у одутловатого туго забинтованную культю ампутированной ноги.

Поезд плавно несясь среди росистых холмов. Паровоз вдруг закричал так радостно, будто он был глашатаем счастливой долгожданной вести.

– Эх, – добавил одутловатый. – Мчимся мы прямо к жениным и материнским слезам. Хоть не возвращайся! Так и то нельзя. Никак нельзя, браток!

## Россия в снегах

На тыловом санитарном поезде мы сделали несколько рейсов из Москвы в разные города Средней России. Мы были в Ярославле, Иваново-Вознесенске, Самаре, Арзамасе, Казани, Симбирске, Саратове, Тамбове и в других.

Города эти мне почему-то плохо запомнились. Гораздо лучше я помню небольшие станции вроде какого-нибудь Базарного Сызгана, отдельные деревни, особенно одну занесенную снегом избу на выселках. Я даже толком не знаю, в какой это было губернии – Казанской ли, Тамбовской или Пензенской.

Я до сих пор помню эту избу и высокого старика в нагольном тулупе, накинутом на костлявые плечи. Он вышел из низкой дверцы и, придерживая ее рукой, долго смотрел на длинный поезд с красными крестами на стенках вагонов. Со стрехи на косматую голову старика пылила снегом метель.

Была зима. Россия лежала в снегах.

Когда мы везли раненых, я ничего не замечал вокруг, – было не до этого. Но во время обратного рейса каждый санитар оставался один в своем вымытом и пустом вагоне, и времени для того, чтобы смотреть за окнами, читать и отсыпаться, было сколько угодно.

От этих обратных рейсов осталось воспоминание как о сплошных снегах, их белизне, заливавшей своим светом вагон, и сизом, голубиного цвета, низко нависшем небе. На память все время приходили где-то прочитанные стихи: «Страна, которая молчит, вся в белом-белом, как новобрачная, одетая в покров». И странно вязались с этими снегами и стихами белоснежные косынки и халаты сестер, когда они по утрам обходили поезд.

Базарный Сызган. Я запомнил эту станцию из-за одного пустого случая. Мы простояли на запасных путях в Сызгане всю ночь. Была вьюга. К утру поезд сплошь залепило снегом. Я пошел со своим соседом по вагону, добродушным увальнем Николашей Рудневым, студентом Петровской сельскохозяйственной академии, в вокзальный буфет купить баранок.

Как всегда после вьюги, воздух был пронзительно чист и крепок. В буфете было пусто. Пожелтевшие от холода цветы гортензии стояли на длинном столе, покрытом клеенкой. Около двери висел плакат, изображавший горного козла на снеговых вершинах Кавказа. Под козлом было написано: «Пейте коньяк Сараджева». Пахло горелым луком и кофе.

Курносая девушка в фартуке поверх кацавейки сидела, пригорюнившись, за столиком и смотрела на мальчика с землистым лицом. Шея у мальчика была длинная, прозрачная и истертая до крови воротом армяка. Редкие льняные волосы падали на лоб.

Мальчик, поджав под стол ноги в оттаявших опорках, пил чай из глиняной кружки. Он отламывал от ломтя ржаного хлеба большие куски, потом собирал со стола крошки и высыпал их себе в рот.

Мы купили баранок, сели к столику и заказали чай. За дощатой перегородкой булькал закипающий самовар.

Курносая девушка принесла нам чай с вялыми ломтиками лимона, кивнула на мальчика в армяке и сказала:

– Я его всегда кормлю. От себя, а не от буфета. Он милостыней питается. По поездкам, по вагонам.

Мальчик выпил чай, перевернул кружку, встал, перекрестился на рекламу сараджевского коньяка, неестественно вытянулся и, глядя остановившимися глазами за широкое вокзальное окно, запел. Пел он, очевидно, чтобы отблагодарить сердобольную девушку. Пел высоким, скорбным голосом, и в ту пору песня этого мальчика показалась мне лучшим выражением сирой деревенской России. Из слов его песни я запомнил очень немного.

...Схоронил ее во сыром бору,  
во сыром бору  
под колодою,  
под колодою,  
под дубовою...

Я невольно перевел взгляд туда, куда смотрел мальчик. Снеговая дорога сбегала в овраг между заиндевевшими кустами орешника. За оврагом, за соломенными крышами овинов вился струйками к серенькому, застенчивому небу дым из печей. Тоска была в глазах у мальчика, – тоска по такой вот косой избе, которой у него нет, по широким лавкам вдоль стен, по треснувшему и склеенному бумагой окошку, по запаху горячего ржаного хлеба с пригоревшими к донцу угольками.

## **Конец ознакомительного фрагмента.**

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.